



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

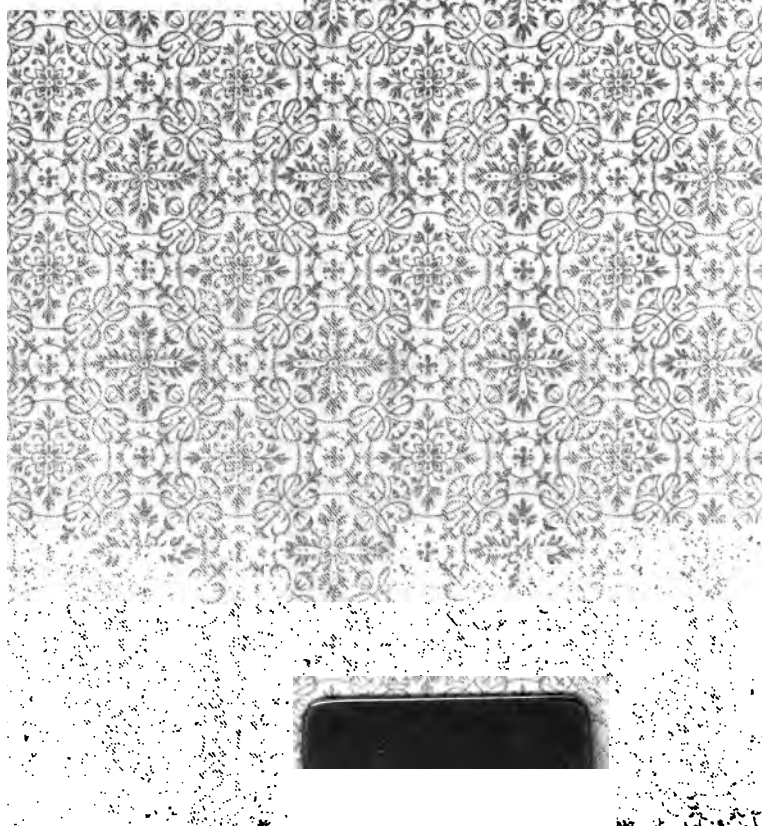
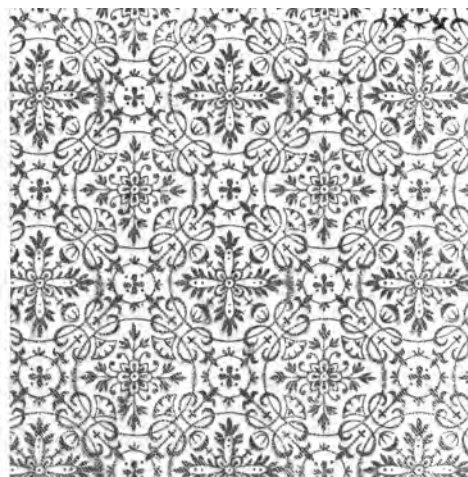
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

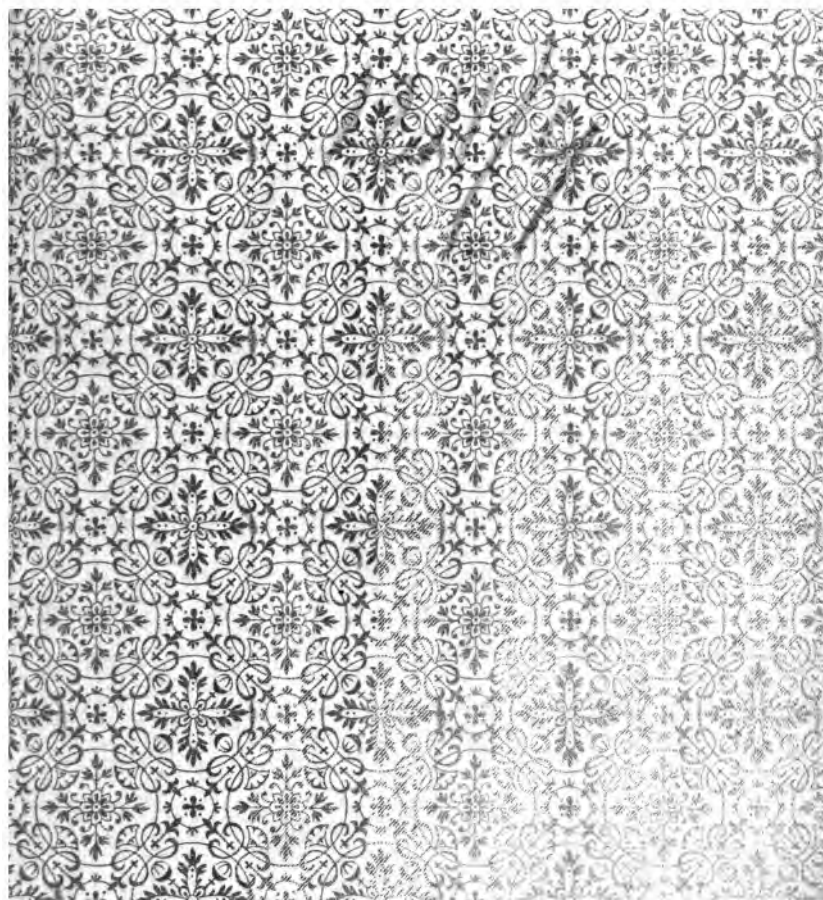
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A 470418 DUPL

PRINTED IN RUSSIA.





PRINTED IN RUSSIA

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

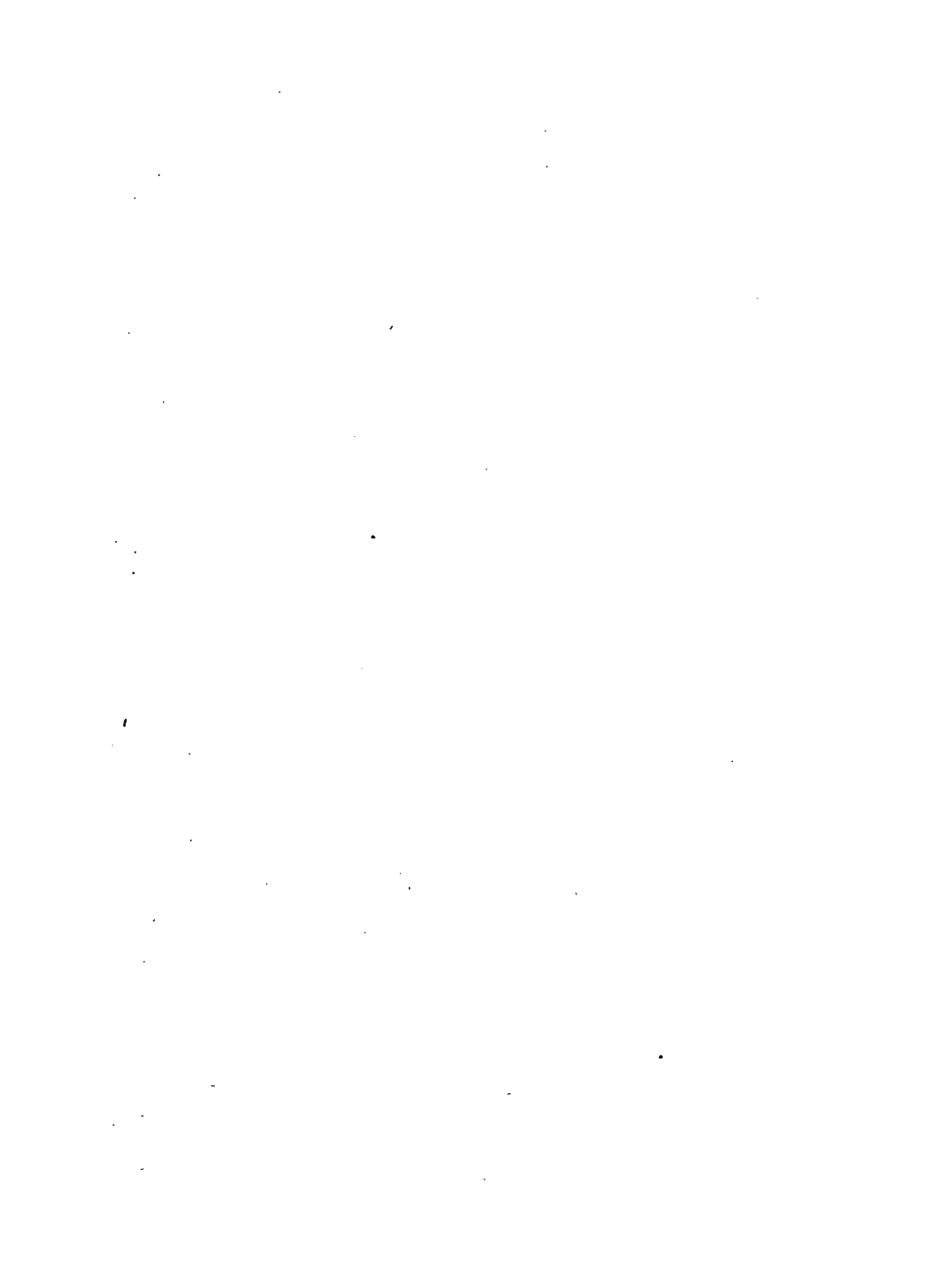
СОБРАНИЕ ВОЛЬФА.

РУССКІЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ.

СОЧИНЕНІЯ

В. И. ДАЛ Я.

ТОМЪ IV.



61.26795

СОЧИНЕНІЯ
В. И. ДАЛЯ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ IV.

Посмертное полное изданіе.



ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

МОСКВА,

Гостинный дворъ, № № 17 и 18 Петровка, домъ Михалкова, № 3

1883.

891.78

3126

1883

v. 4

I.

РАКИТА.

Въ Глуховскомъ уѣздѣ, на самой границѣ Орловской и Черниговской губерній, стоитъ, надъ большою дорогою, одинокая ракита.... Проѣзжіе крестьяне смотрятъ на нее съ умилениемъ и страхомъ, иной даже мимоходомъ снимаетъ шапку и крестится. «Ракита эта полита невинною кровью, оттого она и шумитъ такъ, — сказалъ ямщикъ, котораго я спросилъ, отчего онъ, глядя на нее, перекрестился: — эта ракита выдала душегубца, услышавъ плачь праведнаго, и сотворила безсловесный судъ!»

Наши орловскіе мужики, продолжалъ ямщикъ: — ходятъ подъ Глуховъ на работу: жнутъ, молотятъ, косятъ. Времени бываютъ у нихъ заработки хорошіе; а какъ иному не задастся, либо кто больно обрадуется вольному вину, которое тамъ дешево, тотъ придетъ ни съ чѣмъ. А ни съ чѣмъ-то придти досадно. Вотъ инаго зависть-то и мучить; а одного, вишь, и грѣхъ попуталъ.

На селѣ у насъ были два парня, оба хорошіе ребята, а ужъ одинъ, Андрей, душа-человѣкъ. И работающій, и смышленный, не то чтобы развѣсивъ уши ходилъ, и работа у него подъ руками горитъ; подушныя уплачивалъ всѣ сполна, хоть и было ему тяжеленько: три души на нихъ, а все малый да старый, и работникъ онъ одинъ. Другой, Филиппъ — такъ бы ничего себѣ, парень здоровый, и коса изъ рукъ не валилась, да мотовать маленько, и ужъ мы всѣ его знали, что куда охочъ былъ погулять: ничего не пожалѣетъ, а и пуще того, коли гдѣ замѣшаются дѣвки.

Вотъ Филиппъ-то и ходилъ одно лѣто на заработки къ сосѣдямъ нашимъ, къ хохламъ, да и воротился, какъ пошелъ, въ лаптяхъ да зипунишкѣ, а за пазухой ничего. Вотъ ужъ онъ тутъ какъ ни придумывалъ, какъ ни отворачался дома, а ужъ извѣстно, этихъ концовъ не схоронишь: знать было по всему, да и слухи прошли послѣ объ этомъ, что просто гулялъ да и прогулялъ все. Старикъ стало не подсилу, его за подушное потянули на расправу, а сынъ-то гляди да казнись.

На другое лѣто Филиппъ опять пошелъ на работу съ косой, а отецъ крѣпко ему наказывалъ, чтобъ приносилъ деньги сполна, не то бѣда ему будетъ. — «Не стану, говорить, больше за тебя отвѣчать, самъ тогда ступай въ волю и раздѣляйся. Теперь я послѣднюю корову продалъ — на меня не надѣйся; а ты учись да казнись, глядя на Андрея: тотъ всю семью кормитъ и оплачиваетъ; а ты что? Иди же съ Богомъ съ нимъ вмѣстѣ, да смотри, чтобъ принесъ ты не меньше его!»

Не въ первый разъ упрекали Филиппа Андреемъ, и ему это было досадно. Собрались они вдвоемъ и пошли вмѣстѣ, и отецъ Филиппа еще таки просить Андрея и въ поясъ ему кланяется: «сдѣлай милость, братецъ, побереги у меня сына да не давай ему гулять; вотъ тебѣ при добрыхъ, стороннихъ людяхъ всю отцовскую власть надъ нимъ отдаю въ руки: бей его, учи его да, пожалуста, держи въ рукахъ, чтобъ не моталъ.»

Пошли. Извѣстное дѣло, что жъ одинъ молодой парень сдѣлаетъ надъ другимъ, хотъ бы вотъ и въ глазахъ его сталъ дурить? Ну, скажетъ ему разъ, другой — добро послушается, а нѣтъ, такъ что онъ надъ нимъ сдѣлаетъ?

Андрей скоро нашелъ себѣ работу, да тутъ и остался; его ужъ знали въ околоткѣ тамъ, что этакого косца поискать. Филипъ пошелъ дальше въ сторону, какъ говорилъ, къ знакомому хозяину, а по пути думалъ еще собрать кой-какіе долгишки: а онъ, какъ лѣтось загулялъ да растрясъ всѣ денежки, такъ и въ займы давалъ, а о томъ не думалъ, каково будетъ собирать ихъ: берутъ руками, отдають ногами.

Прошло лѣто, кончились покосы, пора и домой. Вотъ Андрей только-что сталъ собираться, глядь, и Филиппъ тутъ.

— Здравствуй, братъ!

— Здорово.

— Что, какъ живешь?

— Ничего, слава Богу; ну, а ты?

— Да и я тоже, — и замолчалъ.

А у него такое тоже, что нѣтъ опять ни гроша. Заработалъ ли, нѣтъ ли, а за воротъ спустилъ довольно; а тамъ полъ-лѣта прошатался по жидамъ, долги собиралъ — одного не собралъ, другое растерялъ, и остался ни съ чѣмъ.

На прощанье хозяинъ Андрея накормилъ ихъ обоихъ, по тамошнему, и вина поставилъ. Одинъ не пьетъ, такъ другой не пролетѣтъ. Поѣли, встали, помолились, поблагодарили хозяевъ и пошли въ путь.

Вотъ Андрей и сталъ говорить, что-де домой придемъ, денегъ принесемъ, подушное уплатимъ, да съ Богомъ и женимся: пора. И взяла тутъ кручина Филиппа, и сталъ онъ спрашивать Андрея, по правдѣ, сколько денегъ онъ принесетъ домой.

— Сотенку принесу.

— Вправду такъ?

— Да какже не вправду, коли она вотъ у меня, тутъ бумажникъ на гайтанѣ; а у тебя много ли?

— Чего, братъ, много ли, и всего-то цѣлковыхъ съ два остались; да и тѣ, видно, на грѣхъ уцѣлѣли.

— Какъ такъ, Филиппъ?

— Да такъ; больше нѣтъ, а этихъ, видно, беречь некуда; ими дѣла не управишь. Жиды обманули, должка не заплатили; и хозяинъ, говорить, не отдалъ денегъ, велѣлъ на тотъ годъ опять приходить; а тамъ работы не нашелъ, да еще нездоровилось что-то....

— Эхъ, братъ Филя, видно, самъ ты себя обманываешь, а не жиды. Плохо же, братъ, дѣло наше. Что теперь отецъ

твой скажетъ, а что скажутъ въ волости, и что всѣ добрые люди? А подушное-то кто заплатитъ? Опять за тебя отца на расправу потянуть.... плохо, братъ!

— Ужь не зимовать же мнѣ тутъ, сказалъ Филиппъ:— не миновать того, что домой идти. Что будетъ, то будетъ.

А лукавый и сталъ мучить Филиппа: молчить все да думу думаетъ; что ближе подходятъ, то страшнѣе ему домой показаться, а и пуще вмѣстѣ съ Андреемъ, который несесть домой бумажникъ. Вотъ и сталъ онъ приставать къ нему: подѣлись, говорить, дай взаймы половину — я отдамъ!

— Дурака ты нашелъ, говорить ему Андрей:—чтобъ я тебѣ трудовыя денежки свои взаймы отдалъ. Тутъ плясовыхъ да бражныхъ нѣтъ ни копѣйки, все трудовыя да потовыя. Братъ-не-братъ, говорится, а въ мой горохъ не лѣзь: что у тебя руки, то и у меня, всякъ на себя работалъ. У меня тоже отецъ дома и семья.

Прошли они еще сутки трои либо четверы вмѣстѣ, подошли уже къ самой границѣ своей губерніи и сѣли вмѣстѣ отдыхать подъ эту самую ракиту, поѣли хлѣбца, запили водицей, помолились и уснули. Филиппъ первый проснулся и глядитъ на товарища: спать. Оглянувся Филиппъ кругомъ: все пусто, глухо, никого не видно; глянуль опять на Андрея, у котораго сто рублей за пазухой, привсталъ на колѣнце, взглянуль на себя, будто чего ищетъ; нѣтъ ничего, нечѣмъ и извести бѣднаго Андрея....

Однако, видно, сатана находчивъ: Филиппъ закинулъ Андрею на шею опояску, наслѣлъ на него и задушилъ....

— Богъ тебѣ судья, прохрипѣлъ Андрей на отходѣ: — нѣтъ тутъ свидѣтеля, а вотъ ракитовый кустъ этотъ видѣть насъ, и онъ заговорить, а злодѣйство твое изобличить....

Прошло года два. Андрей пропалъ безвѣсти, и никто на Филиппа не думалъ, никакого оговора на него не было. Филиппъ не вдругъ выказалъ деньги, а тамъ женился и зажилъ домкомъ. Сталъ онъ торговать по мелочамъ, какъ не охотникъ до крестьянскихъ работъ, и люди знали, что тесть у него человѣкъ съ достаткомъ, изъ другой деревни, такъ никто и не дивился, что сталъ Филиппъ разживаться.

Вотъ на праздникахъ у жениныхъ родныхъ, сватовъ и сватьевъ Филиппа, была какая-то погулка. Принарядившись, онъ сѣлъ съ женою на тележку и поѣхалъ туда. Дорога, до поворота, была та самая, по которой Филиппъ съ Андреемъ хаживали въ Глуховъ. ¶ Увидавъ одинокую ракиту, Филиппъ и вспомнилъ прошлое, бѣдность свою и богатство работающаго Андрея, которое его столько мучило завистью, а теперь, подумалъ онъ, что мнѣ Андрей, а я вотъ мужикъ съ достаткомъ. Подумавъ это, Филиппъ и поглядѣлъ на ракиту, усмѣхнулся, а тамъ у него и сорвалось съ языка: «что молчишь? говори — не боюсь!»

— Кто молчитъ? Чего не боишься? спросила хозяйка.

— Нѣтъ, ничего. Я такъ, про себя.

Однакожь, Филиппъ что-то долго не сводилъ глазъ съ ракиты, покуда не проѣхалъ ее, а тамъ опять усмѣхнулся и махнулъ рукой. Хозяйка смѣтила это и пристала къ нему:

— Скажи да скажи, чего ты глядѣлъ на ракиту? Что у тебя тутъ было? Видно-де одной только женѣ и нельзя этого сказывать? Скажи, сдѣлай милость, голубчикъ! Не скажешь, такъ ей-ей всѣмъ людямъ буду говорить про это дѣло, буду стыдить тебя.... Ну, пристала безотвязно, какъ бабы пристають. Либо Филиппъ, на праздникъ ѣдучи, ужъ хмѣленъ былъ; либо не зналъ еще, что не всякую правду велятъ женѣ сказывать, а хозяйка кончила таки гѣмъ, что свое допыталась.

— Молчи, говорить, дура, экъ загорѣлось! Андрей-то тутъ, подъ ракитой, дѣло прошлое, я его въ тѣ поры тутъ уходилъ, а онъ послался на нее, на ракиту, что она выдастъ меня. Ну, я теперь, глядя на нее, и размѣялся: стоять какъ стояла, а ужъ вотъ четвертый годъ пошелъ тому дѣлу.... Да, смотри, молчи!....

Пріѣхали они вмѣстѣ къ жениной роднѣ на пиръ, гуляли весь день до вечера. Тутъ хозяйка Филиппа, хоть и сама хмѣльная, да еще въ памяти, вспомнила, что пора домой, къ малымъ дѣткамъ; притомъ и хозяинъ ея ужъ крѣпко подгулялъ и нѣсколько разъ принимался буянить, и она, зная его обычай, видѣла, что и его до грѣха надо везти домой. Филиппъ и слышать этого не хочетъ: въ охотку разгулялся. Она пристала къ нему, сперва стала просить, тамъ перебраниваться съ нимъ, а наконецъ подошла и стала тащить его, напустившись бранью, какъ горохомъ. Мужъ не стерпѣлъ такой обиды, что при чужихъ людяхъ жена вздумала имъ такъ помыкать; къ тому жъ, у него въ головѣ дуракъ сидѣлъ: онъ и принялся ее ко-

лотить да сволокъ съ головы платокъ и потащилъ ее за космы. Она, вырвавшись отъ него, простоволосая, со злости ужъ и себя не помнила; принялась кричать и браниться и попрекать мужа всѣмъ, что могла насчитать и припомнить, проговорила: что-де ты, мошенникъ этакой, и меня убить хочешь, какъ Андрея, котораго зарылъ подъ ракитой....

Слово — не воробей: вылетитъ — не поймаешь. Всѣ люди слышали, что Филиппова хозяйка сказала, пошла молва. Пошелъ говоръ на весь мѣръ: вотъ ихъ и потянули къ допросу. Сперва оба, опомнившись, стали зарекаться: знать не знаютъ, вѣдать не вѣдаютъ; а какъ пошли съ понатыми подъ ракиту, да вырыли кости бѣднаго Андрея, и шляпу и кафтанъ его признали, такъ Филиппу некуда дѣваться стало, хоть объ стѣну головой. Филиппа сослали, а ракета стоитъ, говорить, и понынѣ по глуховской дорогѣ, и народъ, проѣзжая мимо, крестится и творить молитву за душу Андрея.

II.

З А Й М Ы.

— А я къ тебѣ, любезный Костроминъ. Послушай, душа моя, сдѣлай милость, дай мнѣ пятьдесятъ рублей до перваго числа; очень-нужно, ей-богу; то есть вотъ нѣ на что овсеца купить верховому своему, да сѣнца; нечѣмъ заплатить проклятому жиду, а онъ не даетъ покоя и ужь два раза жаловался полковнику. Ей-богу, такая бѣда! Пожалуста, не откажи.

Костроминъ стоялъ молча, не зная что отвѣчать; онъ думалъ только про себя: «что я за сума — дай пить и ѣсть, что долженъ раскошелиться каждый разъ, когда кто-нибудь въ полку проиграется или безпутно прокутить жалованье свое и послѣ ходить, грызетъ ногти и ищетъ дурака?...»

— Ну, послушай же, продолжалъ первый; — дай хоть сероку, хоть, наконецъ тридцать пять: ей-богу, до зарѣзу нужно....

— А подумаешь-ли ты о томъ, что ихъ надобно отдать? спросилъ задумавшись Костроминъ.

Товарищъ очень обидѣлся этимъ вопросомъ; спросилъ въ свою очередь, за какого подлена тотъ его принимаетъ; призывалъ въ поруки честь свою, благородное слово; опять упрекнулъ Костромина за крайне обидное, неприличное слово, и опять, надувъ нѣсколько губы и покраснѣвъ въ лицѣ, сталъ божиться и заклиняться и спрашивать настойчиво:

— Да неужто жъ ты мнѣ не вѣришь? Такъ, послѣ этого, ты самъ стоишь того, чтобъ тебя обругать... За кого жъ ты меня принимаешь?

Костроминъ досталъ деньги, отдалъ ихъ молча, и товарищъ отправился; сказавъ нѣсколько сухо и съ разстроеннымъ видомъ:

— Спасибо; непременно отдамъ.

Оставшись одинъ, Костроминъ горько улыбнулся. «Экой я казначей!» сказалъ онъ, покачавъ головой: «и откуда только берется такая судьба человѣка, какъ моя? Доходовъ, кромѣ жалованья, ни одного гроша; коли отъ трети до трети есть остаточки да маленькій запасецъ, накопленный въ нѣсколько лѣтъ, то это не оттого, конечно, чтобъ я получалъ болѣе другихъ, а оттого только, что я не пью, въ карты не играю, безпутно ничего не проживаю... За чтó же мнѣ вѣчно оплачивать глупости другихъ? За что же тотъ, кто безстыднѣе и наглѣе, проживаетъ чужое? У насъ есть, такъ-называемые, богачи, которые получаютъ изъ дому вдвое и втрое противъ жалованья, одинъ даже вдесятеро

богѣ, но никому и въ голову не придетъ идти къ нимъ за деньгами, они отъ этихъ доукъ свободны; напротивъ, они-то первые обираютъ нашего брата-бѣдняка, и у нихъ-то память на это дѣло всегда короче. Попробуйте напомнить имъ о должкѣ, если только это не карточный долгъ, и они готовы стрѣляться съ вами за эту обиду. Взято, такъ взято, а благородство дворянина и особенно честь офицера требуютъ, чтобъ несчастный займодавецъ, дуракъ этотъ, рабѣнно молчалъ, или товарищески прикусилъ языкъ и не поминалъ стараго, а припасалъ, на случай нужды, новое... Въдь не о деньгахъ рѣчь, а объ этой подлости людей, которые хотятъ слыть примѣромъ честности и благородства!»

«Да онъ отдастъ» сказалъ самъ себѣ безсознательно Костроминъ, и оглянувшись, будто это проговорилъ кто другой, и, рѣзко покачавъ головой, самъ же себѣ отвѣчалъ: «Кто? онъ отдастъ? Да если онъ отдастъ въ срокъ, если онъ отдастъ добромъ, безъ ссоры, наконецъ — да, и на это согласенъ — если онъ вообще когда-нибудь самъ вспомнить о долгѣ этомъ и отдастъ его, то я готовъ позволить сдѣлать надъ собою что угодно... И не въ томъ дѣло, впрочемъ, не въ этихъ тридцати-пяти рубляхъ, хотя они, при четырехъ сотняхъ всего содержанія, также не бирюлька, но не въ томъ дѣло, и пожалуй даже не въ томъ, что такихъ расхожихъ рублей, изъ которыхъ составляются десятки и сотни, у меня считается въ бѣгахъ... да сколько... сотни четыре, годовой окладъ — а вотъ въ чемъ дѣло: для чего это такъ на свѣтѣ бываетъ, зачѣмъ все это такъ

устроено, что всегда невинный отвѣчаетъ за виноватаго, всегда наглость и безстыдство берутъ верхъ, а скромный, благонамѣренный и тихій человѣкъ, который не умѣетъ даже сказать такую простую и простительную ложь, какъ напримѣръ: у меня нѣтъ денегъ, что такой человѣкъ долженъ страдать за товарищей своихъ, негодаевъ...

«Кончено!» сказалъ Костроминъ, ударивъ кулакомъ въ столъ и вскочивъ съ мѣста: «дудки! меня больше не подѣнешь! Это было послѣднее мое дурачество. Чтò я, въ самомъ дѣлѣ, за банкиръ? Не дамъ никому ни рубля: и лгать не стану, а скажу прямо, безъ обвиняковъ, что не дамъ. Для чего и для кого же я коплю и сберегаю? Для удовольствія картежника, который, въ чаду своего безпутства, спускаетъ въ одну минуту и на одну карту болѣе, чѣмъ я въ состояніи накопить въ круглый годъ? Для бахвала, который обливаетъ кислымъ донскимъ виномъ столы и стулья и платитъ за него какъ за шампанское, лишь бы этому были свидѣтели и сводили замѣчательный счетъ бутылкамъ? Для распутнаго негодая, который... Словомъ, кланяюсь всѣмъ имъ. Лучше я раздамъ рубли эти бѣднякамъ, или поправлю на ихъ два-три хозяйства разорившихся по несчастію крестьянъ — словомъ, и лгать не стану, да и держать не стану денегъ, ни лишняго гроша: я имъ лучше самъ протру глаза.»

Костроминъ надѣлъ сюртукъ, взялъ фуражку, вышелъ на улицу и отправился прямо къ одному крестьянину, о которомъ онъ на дняхъ слышалъ. Удостоверившись на мѣстѣ, что въ семьѣ, гдѣ числилось семь душъ, былъ одинъ только

работникъ, потому-что одинъ былъ отданъ въ рекруты, другой померъ, третій калѣка и сидѣлъ сиднемъ на печи, четвертому минуло семьдесятъ лѣтъ, а пятому и шестому было по пяти и по шести лѣтъ отъ-роду; удостовѣрившись также, что единственный работникъ и хозяинъ двора этого былъ мужикъ довольно-порядочный, потерявшійся только отъ удручавшихъ его несчастныхъ обстоятельствъ, Костроминъ тотчасъ же распорядился: заплатилъ за него по мелочамъ цѣлковыхъ десять долгу, внесъ за него столько же подушныхъ и недоимочныхъ по земскимъ повинностямъ, выкупилъ недавно проданную имъ послѣднюю коровку и купилъ ему еще дешевенькую крестьянскую лошадку... «Я знаю,» говорилъ онъ, «что, по мнѣнію опытныхъ хозяевъ, такъ дѣлать не должно, и что, по мнѣнію ихъ, подобные несоразмѣрные подарки мужику въ прокъ не пойдутъ. Посмотримъ: пропадать деньжонкамъ моимъ, такъ пусть же онъ пропадаютъ такимъ образомъ, а не за безпутными гуляками.» Крестьянинъ при такомъ неожиданномъ переворотѣ, ровно одурѣлъ: онъ плакалъ и смѣялся, ходилъ слѣдомъ за благодѣтелемъ своимъ, кланялся и носилъ шапку свою, какъ пугало, на кулакѣ. Баба его, женщина еще молодая, но изнуренная, не могла доискаться слова: она только крестилась и кланялась каждый разъ, когда нежданный благодѣтель проходилъ мимо нее или приближался. Костромину самому смѣшно было, если онъ среди распоряженій своихъ вспоминалъ, по какому поводу онъ внезапно сдѣлался ревностнымъ покровителемъ несчастныхъ. «Успокойтесь, друзья

мой», думалъ онъ: «это, къ сожалѣнію, не надолго; бумажникъ мой скоро опустѣетъ; а то, что было въ немъ, накопилось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Я думалъ, что оно пригодится мнѣ, еслибъ я вздумалъ съѣздить въ отпускъ, или когда бъ я... когда бъ я вздумалъ жениться; но это все, какъ я вижу, однѣ мечты: годъ за годомъ уходитъ, добрые товарищи меня обираютъ. Не дать, такъ и не жить съ ними; а лучше пусть нечего будетъ раздавать, такъ на сердцѣ станетъ спокойнѣе.

— Не знаешь ли ты, спросилъ онъ мужика: — нѣтъ ли тутъ гдѣ по сосѣдству такого жъ бѣдняка, какъ ты? Да чтобъ непыющій былъ мужикъ и работающій — понимаешь? такого, который обнищалъ отъ бѣды, отъ напасти, а не по своей оплошности?

Крестьянинъ повторилъ: «Понимаю; какъ же?» а между тѣмъ смѣлся сквозь слезы, какъ дурачокъ, и повертывалъ шапку свою на кулакъ. На этотъ разъ хозяйка его скорѣе опомнилась и дала толковый отвѣтъ: «Есть, батюшка, какъ не быть! богатыхъ-то не больно-много, а этакіе есть. Вотъ въ Сосницахъ, за горой, добрый мужикъ есть, Андреемъ зовутъ, такой же горемыка, сердечный, какъ и мы вотъ до тебя были; да еще и лошадку украли у него мошеники — такъ пропалъ совсѣмъ, вотъ хоть живому въ могилу ложиться.»

Костроминъ пошелъ домой, велѣлъ осѣдлатъ коня, поѣхалъ въ Сосницы и отыскалъ Андрея. Разузнавъ и тутъ все, что было ему нужно, онъ вытрясъ запасной бумажникъ свой до самой подкладки. Весело улыбулся онъ, когда

увидѣлъ это и убѣдился, что на этотъ разъ, по-крайней-мѣрѣ, пришелъ конецъ его страданіямъ. Онъ и этого крестьянина также выкупилъ изъ бѣды, купилъ ему тутъ же лошадь, новый сошникъ, тулупъ и сермягу. Затѣмъ онъ легко взвился на-лошадь и безъ оглядки пустился крупной рысью изъ сельца, объѣхалъ вокругъ лѣса, посмотрѣлъ на озеро, гдѣ бабы бродили бреднемъ и прятались отъ нежданого и незваного зрителя въ тростникъ, потомъ поворотилъ домой и въ самомъ веселомъ и безпамятномъ расположеніи сѣлъ у окна, съ трубкою и со стаканомъ чаю.

Не прошло двухъ недѣль, какъ офицеры собрались у одного изъ товарищей, гдѣ былъ и Костроминъ. Занимались, по обыкновенію, напущеніемъ другъ на друга пятидесяти-двухъ разбойниковъ; у одного изъ нихъ (не изъ разбойниковъ, то-есть, а изъ числа хозяевъ ихъ) былъ сдѣланъ самый вѣрный расчетъ и слѣдовало убить семерку; но она обманула, не далась, и проигравшій съ отчаяннымъ изступленіемъ ударилъ себя въ лобъ...

— Быть не можетъ! нѣтъ, не можетъ быть! закричалъ онъ, подумавъ немного и повѣривъ въ безуміи своемъ какой-то бессмысленный расчетъ, по которому онъ билъ навѣрняка: — быть не можетъ, семерка должна мнѣ воротить все. Ата́нде, господа!

Онъ вскочилъ и оглядывался, у кого бы занять рублей двадцать-пять для ставки навѣрняка. — Костроминъ, дай ради Бога! не откажи. Клянусь...

— У меня, братъ, нѣтъ, ниже зелененькой; я и самъ до жалованья сажу безъ оныхъ.

— Да дай же, братецъ, пожалуйста! продолжалъ тотъ съ такимъ негодованіемъ, будто самъ отбивался силою отъ какого-нибудь докучливаго нахала: — дай, пожалуйста; ты видишь, что тутъ было вѣрное: семерка дастъ сѣнника — не бось, твое не пропадетъ — я отвѣчаю!

— Послушай, сказалъ Костроминъ: — вѣдь, вотъ ты же требуешь, чтобъ я твоему слову вѣрилъ; вѣрь же и мнѣ: я никогда и никого изъ товарищей не обманывалъ; у меня нѣтъ денегъ, и именно нѣтъ за душой ни пяти рублей.

— Помилуй, братецъ! началъ тотъ: — у тебя нѣтъ денегъ! да это курамъ смѣхъ; да куда же ты ихъ дѣвалъ?

— Куда дѣвалъ — это мое дѣло; довольно того, что ихъ нѣтъ.

— Вѣрно на какой-нибудь вздоръ издержалъ, сказалъ тотъ, съ горькимъ упрекомъ — а вотъ когда добрые товарищи въ нуждѣ, въ крайности, когда иному до зарѣзу нужно, такъ и нѣтъ...

Костромину, который былъ въ самомъ спокойномъ расположеніи и нисколько не сочувствовалъ рьяному порыву горячаго товарища, выходка эта показалась очень-забавною; онъ улыбнулся молча; кой-кто изъ прочихъ собесѣдниковъ также разсмѣялся; но на этотъ разъ дѣло этимъ кончилось, и семерка не дала ничего. Черезъ нѣсколько дней, однакожь, опять кто-то навѣдался къ полковому... банкиру, что ли: иначе я его и назвать не умѣю, хотя и банкиры не даютъ обыкновенно займы безъ отдачи, и навѣдался по крайней надобности въ деньгахъ. Костроминъ воздерживалъ себя отъ души, что отъ чистаго сердца и съ

спокойною совѣстью можетъ сказать: «нѣтъ ни копѣйки,» и, разумѣется, остался при этомъ отвѣтѣ. На вопросы: «отчего же нѣтъ и какъ нѣтъ?» онъ отвѣчалъ, пожимая плечами; но видно было по всему, что ему не вѣрили. «Костроминъ прижался, братцы», стали поговаривать: «обратился въ жидовскую вѣру, сталъ копить не на шутку...» Отчего же никто не выдумалъ упрекать тѣхъ, которые получали втрое болѣе Костромина, а проживали по-крайней-мѣрѣ вшестеро болѣе и, конечно, также никому не давали займы ни мѣднаго гроша?

Прошло еще недѣли двѣ-три, и внезапно сказанъ былъ походъ. Суматохи было много, потому-что вѣсть эта многихъ застала врасплохъ. Доселѣ везла и не везла семерка, а теперь надо было устроиться такъ, чтобъ повезли верховыя и вычныя лошади, надо было подняться и идти.... И опять прибѣгаетъ вечеромъ къ Костромину одинъ изъ такъ-называемыхъ товарищей, человѣкъ женатый, семейный, но человѣкъ, любившій кутнуть по-походному и по-военному, человѣкъ, который, не взирая на свои 35 лѣтъ на четверочку ребятишекъ, неминуемо пускалъ каждый игронъ ребромъ и копѣйку козыремъ... человѣкъ, который выходилъ на цѣлый день со двора, когда дома нечего было ѣсть, безъ труда прикидывался веселымъ холостякомъ и добродушно забывалъ о живой женѣ и дѣтяхъ... «Ну, Костроминъ,» сказалъ онъ: «какъ хочешь, а дай мнѣ сто рублей. Воля твоя, а я безъ этого отъ тебя не выйду; я въ такомъ отчаяніи, что готовъ не знаю что надъ собою сдѣлать. Вообрази: тутъ выступать, а тутъ семья на шеѣ,

а денегъ — вотъ хоть шаромъ покати, ни гроша. Я былъ у всѣхъ, обошелъ кругомъ... Я знаю, что ты зарекся теперь и не даешь никому, да ужъ какъ хочешь, братъ, а не даютъ и другіе: нѣтъ ни у кого, вотъ таки будто самъ сатана въ мѣшкѣ вынесъ всѣ деньги изъ цѣлой округи — нигдѣ нѣтъ; хочешь-не-хочешь, а дай. Вотъ божусь тебѣ, клянусь тебѣ всѣмъ, и женой и дѣтьми, какъ-только получу первыя деньжонки — ѣсть, пить не стану, а тебѣ принесу, отдамъ... А тутъ еще назначили меня, Богъ-вѣсть съ чего, квартирьеромъ: я завтра со свѣтомъ выступаю, а семья моя сидитъ, и хоть лобъ взрѣжь, не знаю какъ имъ поднаться...

Можно себѣ вообразить, какъ пріятна была для квартирера вѣсть, что онъ не получить ни пятидесяти копѣекъ, что и самъ банкиръ въ нуждѣ, не приготовясь къ этому нечаянному походу, и что запасъ его давно истощился. Несмотря ни на какія просьбы и убѣжденія, которыми разсчитливый хозяинъ и добрый отецъ семейства истомилъ бѣднаго Костромина, зтотъ не могъ дать ничего, потому что у него не было даже необходимаго для похода и онъ самъ нуждался. Посѣтитель ушелъ въ раздумѣ и на крыльцѣ сказалъ вполголоса: «Подлецъ! вотъ подлецъ! а туда же хочеть слыть порядочнымъ человѣкомъ!»

На другой день, вечеромъ, денщикъ квартирера пришелъ къ Костромину съ просьбой, чтобъ онъ пожаловалъ къ барынѣ.

— Что жъ тамъ у васъ?

— Не могу знать. Баринъ со свѣтомъ сегодня уѣхалъ;

барыня собираются завтра съ полкомъ, а сегодня, видно, васъ поджидали...

— Да зачѣмъ же меня?

— Не могу знать-съ.

Костроминъ подумалъ, что, въ отсутствіе мужа, Марья Ивановнѣ легко могла встрѣтиться какая-нибудь надобность въ помощи, взялъ фуражку и отправился.

Походное семейство квартирьера готовилось въ походъ. Вездѣ укладывались мѣшки, сундуки и чемоданы; фургонъ былъ выдвинутъ на средину двора, деньщикъ похаживалъ вокругъ него и поколачивалъ; дѣти бѣгали въ походныхъ плащецахъ; дорожная старая шляпка, мѣшокъ, ключи и другія принадлежности лежали на столѣ, а Марья Ивановна, молодая, благовидная женщина кроткой наружности, сидѣла сложа руки на диванѣ и смотрѣла на все это съ выраженіемъ какой-то грусти. Она поклонилась Костромину съ улыбкой, и какъ-будто затруднилась нѣсколько въ отвѣтъ, когда онъ спросилъ, что ей угодно. Она посмотрѣла на него въ какомъ-то недоумѣніи и, привѣтливо улыбаясь, сказала: «Вѣдь, я ждала васъ весь день сегодня. Извините, что я рѣшилась, наконецъ, послать просить васъ; вѣроятно, у васъ также свои заботы: теперь мы всѣ въ тревогѣ.»

Слова эти, однакожь, нисколько не объяснили Костромину, зачѣмъ его позвали; онъ старался объяснить вѣжливымъ образомъ, что хотя и радъ служить Марья Ивановнѣ чѣмъ можетъ, но что онъ не знаетъ, почему именно его весь день ждали, и потому просить объясниться. На лицѣ бѣдной женщины появилась какая-то бо-

лѣзненная, скорбная черта и выразились опасеніе и ужасная догадка.

— Какъ, сказала она тихо: — развѣ мужъ мой ничего вамъ не говорилъ?

— Ничего.... то-есть онъ говорилъ со мною, но не приглашалъ меня въ отсутствіе свое къ вамъ и вообще ничего не говорилъ, изъ чего бы я могъ понять теперь, въ чемъ у васъ дѣло.

Марья Ивановна вздохнула, опустила глаза на колѣни свои, стала пальцами перебирать снурокъ дорожнаго мѣшка и видимо поблѣднѣла. Одинъ изъ дѣтей сталъ спрашивать надувшись: «скоро ли сегодня обѣдать?» и она отвѣчала спокойно: «скоро, другъ мой, подожди». Костроминъ взглянулъ съ изумленіемъ на ребенка, потомъ на молодую мать. Уже начинало смеркаться, а военные люди обѣдаютъ въ полдень. Онъ пристѣлъ и убѣдительно просилъ хозяйку объясниться.

— Что жъ я вамъ скажу? отвѣчала она также спокойно: — вы видите сами и, вѣроятно, догадываетесь. Я не въ такомъ положеніи, чтобъ могла что-нибудь отъ васъ скрывать. Намъ нельзя подняться; нѣтъ лошадей, нѣтъ еще много кой-чего, и между прочимъ, хлѣба, есть только нѣсколько долговъ, хотя и небольшихъ, которые также надобно уплатить. Уѣзжая, мужъ успокоилъ меня тѣмъ, что былъ у васъ, и что вы, по добротѣ своей, обѣщали намъ помочь. Онъ сказалъ мнѣ, что оставляетъ меня съ дѣтьми на вашемъ попеченіи, и, признаюсь, меня это вполне успокоило. Что жъ! будемъ сидѣть и ждать: что Богъ дастъ, то и будетъ,— прибавила она.

— Мужъ вашъ обманулъ васъ, сказалъ Костроминъ: — онъ просилъ у меня денегъ, я отказалъ ему, потому что у меня теперь ихъ нѣтъ, нѣтъ даже необходимаго; затѣмъ онъ ушелъ, и болѣе я его не видалъ. Что жъ вы будете дѣлать теперь?

— Я не знаю, отвѣчала она, все съ тѣмъ же спокойствіемъ. — Вы слышали, что дѣти надѣются еще сегодня на обѣдъ; если подкѣ уйдетъ завтра, то мы проводимъ васъ глазами, а что дальше съ нами будетъ — не знаю.

Костроминъ всталъ и просилъ ее успокоиться и обождать. Онъ пошелъ прямо къ тому человѣку, который занялъ у него, за нѣсколько мѣсяцевъ, тридцать пять рублей, при божбѣ и клятвахъ, что отдастъ черезъ нѣсколько дней. Костроминъ напомнилъ ему очень скромно обѣщаніе его и говорилъ, что деньги очень нужны ему теперь — не для себя, а для другихъ; но тотъ очень обидѣлся этимъ; а денегъ, разумѣется, не отдалъ. Тогда Костроминъ, въ крайности, написалъ до десятка записокъ одного содержанія, а именно: «Любезный такой-то! Одинъ изъ товарищей нашихъ покинулъ семейство свое, которое терпитъ крайнюю нужду, на мое попеченіе, а у меня теперь не достаетъ денегъ, чтобъ имъ пособить. Прошу тебя по этому случаю, и слѣдовательно не для себя, прислать мнѣ старій должокъ, или хоть часть его, сколько у тебя есть». Записки эти разсланы было по принадлежности, но не дали Костромину ни гроша прихода. Иные господа отвѣчали на той же запискѣ письменно: «извини; ей-богу нѣтъ»; болѣ-

шая часть приказывали сказать на словахъ: «хорошо; кланяйся; скажи, что я сегодня самъ увижусь».

Костроминъ, правду сказать, и не надѣялся лучшаго успѣха, но не менѣе того ему было это очень прискорбно. Что дѣлать теперь и какъ быть? Безсовѣстный квартирьеръ, конечно, не стоитъ ни заботъ, ни помощи: но чѣмъ же виновато бѣдное семейство его? «Коли не хотятъ отдать долговъ», подумалъ добрякъ мой, «то надобно приступить къ нимъ иначе, а все-таки не миновать имъ складчины». Онъ взялъ фуражку и обошелъ кругомъ всѣхъ наличныхъ въ штабъ офицеровъ, рассказавъ каждому, въ чемъ дѣло, и объявивъ, что самъ онъ болѣе двадцати-пяти рублей дать не можетъ, а надо собрать по-крайней-мѣрѣ двѣсти. Никто, разумѣется, не могъ отказать, и тѣ же самые люди, которые считали большимъ оскорбленіемъ, если кто требовалъ, чтобъ они уплатили долги свои и отдали деньги, взятыя на срокъ и на честное слово, тѣ же самые люди внесли теперь каждый свою долю, хотя и знали, что нѣтъ никакой надежды получить когда-нибудь долгъ этотъ съ квартирьера. Круговая порука!

Костроминъ заплатилъ за приторгованныхъ уже заботливымъ отцомъ семейства клячъ, вручилъ остатокъ бѣдной Марьѣ Ивановнѣ и въ самомъ грустномъ расположеніи воротился домой. Долго раздумывалъ онъ о томъ, какое странное и безтолковое созданіе человѣкъ вообще, а такіе люди, съ какими онъ теперь имѣлъ дѣло, въ особенности. На другое утро всѣ выступили; квартирьеръ встрѣтилъ

полкъ и развелъ всѣхъ по квартирамъ, но о происшествіи этомъ между нимъ и Костромнымъ никогда не было рѣчи: словно ничего не случилось. Квартирьеръ былъ веселъ и доволенъ, какъ обыкновенно.



III.

СВѢТЛЫЙ ПРАЗДНИКЪ.

Богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо; только въ сказкахъ убогому бываетъ лучше, чѣмъ богатому. Что жь? коли самому бѣдняку помощи не дадутъ, такъ спасибо хоть за то добрымъ людямъ, что хорошія побасенки о немъ слагаютъ. Послушайте жь у меня одну такую сказку.

На Украинѣ есть много своихъ христіанскихъ обычаевъ, съ которыми люди живутъ, старѣются и умираютъ. Одинъ такой обычай—коли не знаете, такъ, вѣдь, надо вамъ разсказать это напередъ, а коли знаете, такъ не взыщите — на Украинѣ есть такой обычай, что противъ свѣтлаго праздника не заливаютъ и не тушатъ огня, а каждый хозяинъ держать богатые *) во всю ночь, чтобъ было гдѣ

*) На Украинѣ для огня есть три названія: *огонь*, или *угонь*, *світло* и *багатые*. Світломъ называютъ его, когда рѣчь идетъ о свѣтѣ или каганцѣ; багатѣемъ, когда надобно зажечь что-нибудь, наприкладъ, свѣчу, разложить огня или закурить трубку; во всѣхъ прочихъ случаяхъ употребляютъ слово „огонь“.

засвѣтитъ передъ образомъ свѣчку, какъ воротится народъ отъ заутрени. Вотъ дождались свѣтлаго праздника; всѣ хозяйки въ страстную субботу пекутъ, варятъ, готовятъ, чтобъ было чѣмъ разговѣться и своимъ и добрымъ захожимъ людямъ; вотъ понесли пасхи (то-есть куличи) и жареныхъ поросятъ да ндюпекъ, и устали ими въ два ряда весь погостъ, отъ паперти до самыхъ воротъ; а народъ весь въ праздничныхъ платьяхъ: всѣ радостно ждутъ и встрѣчаютъ свѣтлый праздникъ.

На селѣ этомъ жилъ бѣднякъ, которому, Богъ-вѣсть отчего, не было счастья на хозяйство. Былъ онъ не гуляка, не пьяница, а добрый, работающій человекъ, да не было ему счастья ни въ чемъ. Мало того, что пропала да перевелась вся скотина, что два раза погорѣлъ, такъ еще и хозяйка бѣдная померла, покинувъ ему полную хату дѣтей; остался онъ вдовцомъ да при томъ и нищимъ; ни одна дѣвка, ни вдова не идутъ за него, дѣти безъ призора, хозяйки въ дому нѣтъ, такъ бѣда и одолѣла вовсе. Какой мужикъ управится одинъ, безъ хозяйки, и какое ему житье? Не то дома, не то въ полѣ, а дѣти хоть пропадай. Такъ онъ и обнищалъ вовсе, и былъ ему праздникъ не въ праздникъ. У него не готовили ничего, ни пасхи, ни жаренаго поросенка, да что бы ему и готовить, когда во весь великій постъ и огня въ печи не разводили: ни топлива нѣтъ, ни варева. Промолился онъ усердно всю ночь, да, выстоявъ заутреню, похристосовался со всѣми: ему и надавали, кто ломтикъ пасочки, кто красное яичко; вотъ онъ и обрадовался, что дѣткамъ будетъ чѣмъ разговѣться, пошелъ до-

мой, положилъ все на столъ, досталъ изъ-за образовъ свѣчку и хотѣлъ затеплить ее да положить три поклона и будить дѣтей. Спыхватился — огня нѣтъ; на дворѣ было еще темно, ночь. Вспомнивъ, что у добрыхъ людей къ этому дню загребаются жаръ къ сторонкѣ, да и свѣча либо каганецъ не тушится, онъ вспомнилъ и былую пору, когда и онъ живалъ не хуже людей и водилось у него свое богатъе въ дому. Что дѣлать! такъ Богу угодно. Пошелъ онъ къ сосѣду. «Христосъ воскресъ!» — «Воистину воскресъ.» — «Дайте, люди добрые, богатъя, засвѣтить свѣчку!» — «Вотъ человекъ: и свѣтлый праздникъ забылъ, въ люди за богатъемъ ходитъ! Иди съ Богомъ домой; ноньче всякъ дома про себя богатъе держать, а тутъ не до тебя; неужь-то не принасъ своего?»

Пошелъ онъ, сердечный, къ другому мужику: тамъ его бабы и дѣвки засмѣяли, что въ такой день по дворамъ ходить за огнемъ, и прогнали. Онъ въ третій дворъ, въ четвертый — вездѣ тоже: вездѣ готовятъ столъ, всякому до себя, никому нѣтъ нужды до бѣдняка; гдѣ засмѣютъ, а гдѣ еще и выбранятъ, да и прогонятъ: «поди, говорятъ, не до тебя теперь, а за богатъемъ ступай въ поле, къ чумакамъ — тамъ дадутъ.»

Заплакалъ бѣднякъ мой, обошедши почти все село, и подумалъ: «Господи Боже мой! за что же меня еще и люди обижаютъ? Они жъ меня знаютъ: не воръ я, не пьяница; навалилась на меня бѣда и нищета и самъ не знаю за что и откуда, а они еще горько насмѣхаются издо мной.... видно, сами они не знали нищеты.... Богъ ихъ простить.

Того не спросятъ, что отъ самой масляны ни крупинки въ домѣ не было, и не готовили ни разу, а пеняютъ за грѣхъ, что своего огня нѣтъ.»

Подумавъ такъ, убогій стоялъ среди улицы, въ концѣ села, и уже не зналъ, куда идти и что дѣлать; взглянулъ онъ въ чистое поле, анъ за селомъ свѣтится огонекъ, «Вотъ», подумалъ онъ, «и вправду, что пойду изъ села къ чумакамъ за огнемъ, больше некуда дѣваться; авось хоть чумаки не откажутъ; а ужъ это не кто больше, какъ чумаки. Пойду; не оставаться же въ эту ночь образамъ моимъ безъ свѣчки, а хатѣ моей безъ свѣта; больно за дѣтокъ. Вотъ какъ свѣтло во всѣхъ хатахъ, какъ весело смотрѣть вдоль улицы!»

Попелъ онъ за село и пришелъ прямо къ огню. Точно, это стояли чумаки; помнятъ святой праздникъ и они, хоть и засталъ онъ ихъ въ полѣ: сидятъ вокругъ огня, въ праздничныхъ кобенякахъ и свиткахъ; видно, также недавно воротились отъ заутрени, «Христосъ воскресъ!» — «Воистину воскресъ.» — «Дайте богатя, люди добрые!» — «Изволь; да во что жъ ты возьмешь?» — «Да вотъ дайте хоть свѣчку затеплить!» — «Не донесешь ты свѣчи до села: тутъ въ полѣ ветерокъ ходитъ, задуетъ. Подставь-ка полу свитки, мы тебѣ богатя въ полу насыплемъ.» Онъ подставилъ полу, недолго думавъ, а они сгребли жару, просто руками, да и насыпали ему въ свитку. «Ступай съ Богомъ, не бойсь ничего, донесешь.»

Что думалъ онъ, когда бралъ жаръ въ полу — не знаю; но какъ человѣкъ простой и вѣрующій, никогда не обма-

нывавшій другихъ, онъ положилъ свѣчечку свою за пазуху, собралъ хорошенько конецъ полы и пришелъ домой. «Коли люди гребли да насыпали руками, такъ почему жь де мнѣ не донести въ полъ?». Войдя въ избу онъ затеплилъ напередъ всего свѣчу, поставилъ ее къ образамъ, положилъ три поклона, всталъ, чтобъ убрать столъ подаемъ и будить дѣтей, взглянулъ на припечекъ, куда высыпалъ изъ полы жаръ, а тамъ, вмѣсто жара, лежитъ куча золота, все червонцы. Обрадовался убогій, понялъ, что ему это Богъ далъ, еще разъ помолился, положилъ на столъ ломти пасхи и яички, которые собралъ, когда христосовался съ міромъ, и сталъ будить дѣтей, приказывая имъ скорѣе умыться, помолиться, похристосоваться съ отцомъ и между собою, да садиться за столъ и разговляться.

Сосѣдъ убогаго, который не далъ ему огня, увидѣвъ, однако, что въ хатѣ его свѣтло, подошелъ взглянуть въ окно, что тамъ дѣлается, да и увидѣлъ на загнетѣ кучу червонцевъ. Удивившись этому, онъ вошелъ и сталъ спрашивать бѣдняка, а этотъ, не таясь ни въ чемъ, рассказалъ ему все, какъ было. Сосѣдъ вышелъ на улицу, глянулъ въ ту сторону, куда ходилъ убогій, и также увидѣлъ огонекъ. «Постой же», подумалъ онъ: «пойду и я за червонцами» и пошелъ.

Тѣмъ часомъ баба выбѣжала за чѣмъ-то изъ другой избы и также подошла къ окну убогаго, всплеснула руками, вошла въ хату, чтобъ полюбоваться червонцами, разспросить сосѣда обо всемъ и позавидовать ему; а узнавъ, какъ это все случилось, побѣжала домой и погнала

мужа, едва только давъ ему шапку ухватить, чтобъ шель скорѣе за село къ чумакамъ: тамъ-де, для свѣтлаго праздника, раздають пригоршнями червонцы. «Да смотри, больше нагребай», кричала она ему слѣдомъ: «чтобъ не пришлось мнѣ ругать тебя для праздника, какъ воротишься.»

Выпроводивъ мужа, сосѣдка опять побѣжала къ окну убогаго, тамъ опять домой, тамъ на улицу, посмотрѣть, свѣтится ли еще у чумаковъ огонекъ; другія сосѣдки увидѣли ее, стали спрашивать; она хотѣла было промолчать, чтобъ другимъ никому червонцы не доставались, чтобъ ей все одной захватить, да не утерпѣла, рассказала все, и пошла еще по всему селу и стала всѣхъ подводить къ окну убогаго, показывать червонцы и рассказывать, какое Богъ послалъ счастье этому человѣку и гдѣ ихъ достать можно. И всѣ бабы погнали гономъ мужиковъ своихъ за село, къ чумакамъ, чтобъ нагрести побольше золота да принести въ полѣ домой. Вотъ приходятъ они толпой и встрѣчаютъ того, перваго, который пошелъ напередъ. «Что, дали?» — «Какже, насыпали двѣ пригоршни». — «Такъ стой же, братецъ, не уходи, вотъ и мы заберемъ, да чуръ все вмѣстѣ сыпать, да и подѣлить, чтобъ никому не было обидно: такъ мы положили міромъ, а ты отъ міру не прочь.» — «Ладно,» говорятъ, «пусть по-вашему.»

Подошли они къ чумакамъ, которые все еще чинно сидѣли вокругъ огня, сняли шапки, похристосовались и стали просить багатыя. Тѣ поглядѣли на нихъ, но не сказали ничего, кромѣ только что велѣли каждому поставить по очереди полу и насыпали каждому по пригоршнѣ: «Будетъ

по одной», сказали они, когда тѣ все еще стояли, будто чего дожидаясь: «все мало! Вѣдь насъ много пришло, надо раздѣлить на всѣхъ.» Ну, поблагодарили мужики мои и за это, и, видя, что жаръ лежитъ въ подѣ какъ галька и не горитъ, обрадовались и бойко пошли къ селу, домой.

Обрадовались мужики мои, да не надолго. «А что это», сказалъ одинъ, когда они только-что отошли отъ чумаковъ: «пахнетъ будто паленымъ? Помюхай, будто кто къ празднику свинью опалилъ.» — «Правда, что пахнетъ», сказалъ другой, да какъ закричитъ, потому что подставилъ-было подѣ полу руку, да обжегъ ее, да какъ выкинетъ изъ полы жаръ, а свитку скорѣе съ плечъ, да и давай гасить ее, топтать ногами... и другой тоже, и третій, и четвертый... крикъ, шумъ, брань, другъ на друга вскидываются, другъ друга ругаютъ; всѣ прожгли новыя свитки и кобеняки свои, а кто и руки пожегъ; дымъ, смрадъ, а чумаковъ нѣтъ: пропали, какъ въ землю провалились, и волы, и козы, и чумаки, и огонь — нѣтъ ничего.

«Правду жъ я говорила», сказала сосѣдка убогаго, которая первая послала мужа за богатѣемъ: «правду жъ я говорила, что придется мнѣ тебя, дурака, для праздника бранить... вотъ и прожегъ новую свитку: теперь что станешь дѣлать?»

А убогій разжился своими червонцами и взялъ за себя хорошую дѣвку и далъ дѣткамъ своимъ хорошую матку. Какіе жъ это были чумаки?



IV.

БЕЗЧЕСТЬЕ.

Въ деревнѣ Журелейкѣ (названіе мордовское, по урочищу, а населеніе русское, какъ и въ сосѣдней Кармелейкѣ) живетъ мужикъ Михайло съ младшимъ и холостымъ еще братомъ Матвеемъ. Михайло одинъ изъ тѣхъ разсудливыхъ мужиковъ, у которыхъ достаетъ только смыслу на то, чтобъ всякое дѣло не обсудить, а окричать, огорланить въ свою пользу, и стоять на этомъ; никакое здоровое, очевидное, прямое разсужденіе не убѣждаетъ ихъ въ томъ, чего они понять и знать не хотятъ. Попробуйте, доведите такого мужика до разумнаго сознанія, что онъ не правъ: никакой очевидности и никакого терпѣнія для этого не достанетъ. Онъ выслушаетъ, что угодно, сто разъ, съ-ряду; и сто разъ повторить опять свое же, тѣми же словами, съ тѣми же ужимками и съ тою же самоувѣренностью. Однажды пришли ко мнѣ мужъ съ женою, по своему дѣлу, какъ они выражались. Баба затарантила, объясняя дѣло

это, и, не слушая меня, ни возражений моихъ, несла все свое. Я тотчасъ увидѣлъ, что это была баба того разбора, какъ кармалейскій Михайло, да сверхъ того еще и баба, съ которою ужь и вовсе нельзя толковать. Угомонивъ ее и спросивъ, за однимъ ли они дѣломъ пришли; я велѣлъ ей молчать вовсе, а говорить мужику. Этотъ оказался толковымъ, рассказалъ все въ порядкѣ и, выслушавъ, почему никакъ нельзя было сдѣлать того, чего они просили, понялъ дѣло и убѣдился, что я ихъ разсудилъ по правдѣ. «Понялъ?» спросилъ я. — «Понялъ, батюшка.» — «Ну, такъ поди же, растолкуй при мнѣ и бабѣ своей, чтобъ и она поняла.» Онъ принялся толковать по-своему, а я слушалъ съ любопытствомъ, отвернувшись и не показывая виду, что слушаю. «Какъ-то онъ ее убѣдитъ?» Не успѣвъ я подумать это, какъ по-неволѣ оглянулся, потому что убѣждение дошло до руконашной: мужикъ ткнулъ хозяйку свою въ шею, вышелъ изъ терѣнны, и они, молча раскланявшись, вышли. Этотъ отчаянный, послѣдній доводъ, къ-сожалѣнью, одинъ только и убѣждаетъ такого мужика, какова была эта баба; послѣ такого доказательства, онъ, еще, пожалуй, поклонится и поблагодарить за науку.

Михайло задумалъ женить брата Матвея, которому онъ былъ замѣсть отца. Оглядываясь туда-сюда за невѣстой, Матвей назвалъ брату Дуньку Егорову, изъ сосѣдней Кармалейки. «Ну что жь? Егорову, такъ Егорову», молвилъ тотъ, и затѣмъ считалъ дѣло конченнымъ; надо было только съѣздить въ Кармалейку къ Онисиму Егорову и засватать дѣвку. Михайло былъ гораздо позажиточнѣе Онисима, а

потому ему и на умъ не шло, чтобъ тутъ волѣ его могла быть какая помѣха. Покуда онъ еще собирался въ Кармалейку, ему случилось встрѣтить Онисима въ Ардатовѣ, на базарѣ. Перемолвивъ съ нимъ тутъ объ этомъ дѣлѣ, онъ поладилъ: 38 руб. асс. столовыхъ или на столъ, да четверть ржи; на пропой: ведро браги, четверть ведра вина, ржанныхъ и пшеничныхъ пироговъ на полтинникъ; вѣнчать въ селѣ Куоендеевѣ, а брачному столу быть у жениха же, рублей на 50 асс. За все это Егоровъ отдаетъ дочь, съ приданымъ по-мѣрѣ отцовской любви своей, но обязанъ, при сѣздѣ на базарѣ въ Ардатовѣ, угостить виномъ родственниковъ Михайлы, всего на восемь косушекъ, и купить всѣмъ по калачу; а невѣста должна обшить жениха бѣльемъ и принести три пары. Рукобитье кончилось тутъ же, а сговору быть въ то воскресенье. Въ задатокъ столовыхъ Онисимъ получилъ отъ свата Михайлы цѣлковый.

— Ну, доцынька, сказалъ Онисимъ, воротившись домой съ базару: — ну, доцынька, рядись; женишокъ есть; я тя просваталъ; въ воскресенье сговоръ, а по рукамъ мы ужъ ударили; ладно, что ли?

— Цаво ладно, отвѣчала она: — по рукамъ бито, да ладно ли! цаво я знаю, ладно ль, коли не сказываешь зенпшка-то!

Замѣтимъ, что въ этой мѣстности, гдѣ восточное оканье сталкивается съ тамбовскимъ аканьемъ, народъ цокаетъ. Непонятно откуда говоръ этотъ зашелъ въ эту межеумочную полосу; кажется, это устроилось, чтобъ сгладить хотя нѣсколько рѣзкость такого перехода. И народъ здѣсь ка-

кой-то переходный: промысловъ нѣтъ, пахаря посредственные, охотно занимаются тряпичнымъ и тому подобными промыслами; упрямы, но не на тотъ ладъ, какъ чисто-русскій мужикъ, который боится новыхъ порядковъ, опасаясь притомъ и новыхъ поборовъ; здѣсь же теряется вовсе наклонность къ сѣвернымъ расколамъ, основаннымъ, хотя по наружному виду, на привязанности ко мнимой старинѣ, а появляется новая стихія суевѣрства, переходящая дагѣ на югъ, въ Тамбовской губерніи, въ противоположные сѣверному расколу толки молоканъ и хлыстовъ. Но въ Ардамовскомъ уѣздѣ созерцательная наклонность эта еще умѣренная и ведетъ покуда только къ весьма часто-встрѣчаемому между дѣвками обѣту безбрачія, почему и устроились здѣсь дѣвичьи общины, и почти при каждомъ большомъ селѣ есть *келейныя* избѣнки, гдѣ живутъ отдѣлившіяся по обѣту отъ родительскаго дома и семейнаго быта дѣвки, которыя, впрочемъ, также въ противоположность сѣвернымъ раскольничьимъ отшельницамъ, бблыпю частью ведутъ жизнь строгую и честную. Давъ однажды такой обѣтъ, дѣвки эти такъ упорны, что ихъ ничѣмъ нельзя отклонить отъ ихъ заблужденія. Онѣ молчатъ, накинувъ темный платокъ на голову и потупивъ глаза, и никакая попытка благомыслящаго человѣка не приноситъ ни малѣйшей пользы.

Итакъ, Авдотья замѣтила отцу, что мудроено ей знать, ладно ли, коли онъ жениха не называетъ, не говоря о томъ, что спрашиваетъ объ этомъ ужъ послѣ рукобитья. Она не давала обѣта дѣвства; но обычай этотъ, какъ послѣднее убѣжище отъ нелюбимаго жениха, даетъ въ этомъ краѣ дѣв-

камъ гораздо болѣе свободы въ выборѣ. Первымъ дѣломъ, если ихъ неволятъ замужествомъ, это постращать отца и мать, что дадутъ зарокъ и тогда останутся въ дѣвкахъ навѣкъ. Отецъ называлъ Матвея Егорова. Авдотья отвернулась молча и проворчала что-то. Отецъ хорошо не разслышалъ: вѣроятно, догадался; но какъ дѣло ужъ было сдѣлано, то и не хотѣлъ ее болѣе спрашивать, въ надеждѣ, что дѣвка уймется, пойдетъ.

Настало воскресенье, день сговора. Пріѣхалъ Михайло съ братомъ и еще кой съ кѣмъ изъ родныхъ; безъ бабъ въ такомъ случаѣ обойтись нельзя. Для почету и приличія повторилъ рукобиты въ домѣ отца, будто не было ничего на ардатовскомъ базарѣ. При этомъ дочери не было; но когда потребовали ее къ сговору и мать было за нею отправилась, то воротилась одна и объявила, что дочь стыдится и нейдетъ. На мать прикрикнули и, придавъ ей помощницу, отправили снова; но обѣ воротились безъ успѣха, послѣ того, какъ Дуня не далась имъ даже силою, а начала ревѣть благимъ матомъ, какъ-только брали ее за руки. Пошелъ отецъ, но, также не рѣшившись втащить ее силою, ради позора, долженъ былъ объявить, что невѣста нейдетъ.

Пошли толки и пересуды, наставленія и совѣты, а дѣло не подвигалось. Женихова женская родня отправилась въ ту половину, гдѣ забилась куда-то Дуня, и истощила всѣ ласки свои, просьбы, обѣщанія, наконецъ усовѣщиванія и угрозы — ничего не помогло. Дуня молчала, либо говорила тому, кто убѣждалъ ее тихо и кротко, глазъ-на-глазъ, что отецъ «бѣмсы (то-есть бывши, ударивъ) по рукамъ», задү-

малъ спросить ее: «ладно-ли», что это вовсе не ладно, и она за этого жениха нейдетъ; а коли не дадутъ ей покою, то приметъ обѣтъ и уйдетъ въ келью или въ одну изъ общинъ.

«Что, сватушка», сказалъ Онисимъ, побывавъ еще въ послѣдній разъ у дочери и попытавшись убѣдить ее все тѣми же безуспѣшными доводами, то есть, что она ужъ просватана и что ужъ бито по рукамъ: «что, сватушка, пришла бѣда, растворяй ворота, а не минуешь: знать, не быть намъ сватами.» Но Михайлъ такой отказъ и на умъ не шелъ; онъ принялъ его за шутку. «Какъ не быть сватами? Гляди-ка, а вино мое что, а брага, а пироги, а божанна? Полно бредить, сватъ; кто дѣвку спрашиваетъ — ну, стыдится, такъ Богъ съ нею, пусть уходится, надумается; а мы за свое: мы запьемъ, заѣдимъ — и дѣло крѣпко будетъ. На-ко-сь, вотъ, поди сюда, сватъ; вотъ тебѣ напередъ и денежки на столъ, по уговору...» — «Нѣтъ, сватушка, молвилъ тотъ, не возьму, и не клади, и не кажи....» — «Ну, инъ, послѣ возьмешь, отвѣчалъ Михайло; твоя воля; вотъ, благо отдавалъ тебѣ при честныхъ людяхъ; не за мною дѣло стало; такъ садись, давай бражничать....» — «И этого не хочу, Михайло Митричъ, ей-право не хочу, боюсь....» — «Экой же ты какой, сватъ Онисимъ! да не домой же мнѣ везти угощенье — образумься. Что вы это съ дочкой за порядки урядили? Ну, плюнь на нее, брось. Что дѣвка смыслить? попъ свяжетъ, не то скажетъ, теперь пора, тогда будетъ иная. Садись, пей.»

Такимъ образомъ сговоръ этотъ былъ отпразднованъ по-

рядкомъ небывалымъ — безъ невѣсты. Когда гости поразгулялись, то сдѣлано было еще нѣсколько попытокъ вызвать ее; но послѣдняя попытка кончилась тѣмъ, что Дуни ужъ не нашли: она ушла къ кому-то на деревнѣ и скрылась. Пирушка кончилась своимъ порядкомъ; говоръ мужиковъ заглушался крикомъ и визгомъ бабъ, пѣсни въ разнорядъ покрывали и то и другое; смерклось; цѣловались, обнимались, о деньгахъ на столъ позабыли, а поздно вечеромъ разошлись и разѣхались по домамъ.

Проспавшись, Михайло назвалъ брата Матвея дурачкомъ, тетеркой, когда тотъ усомнился нѣсколько въ томъ, полно женихъ ли онъ Дуни, а она ему невѣста ли. Михайло не видѣлъ во всемъ дѣлѣ этомъ никакихъ помѣхъ и никакихъ сомнѣній: «рукобитье было, еще и дважды; сговоръ былъ; невѣста, правда, не вышла, застыдилась, да это ужъ не отъ насъ, а отъ нихъ,» говорилъ онъ: «а всѣ станутъ стыдиться, такъ намъ и невѣсть не видать. Деньги на столъ надо еще отдать ему, а не хочеть, и на то его воля. Свадьба черезъ воскресенье — такъ попъ велѣлъ.»

Въ Кармалейкѣ, между-тѣмъ, Онисимъ съ хозяйкою своею повременамъ толковали о томъ, какъ теперь быть и что будетъ, и обращались къ Дунѣ не то съ просьбой, не то съ приказаніемъ: «Доцынька матушка, иды!» — «Не пойду», отвѣчала она. — «А пошто не пойдешь?» — «А по то не пойду, что съ Матвеемъ жить не хоцу.» — «А по што съ Матвеемъ жить не хошь?» — «Не хоцу.» — «А по што не хошь?» — «Уйду въ обцину (общину.)» Эта острастка за

жимала ротъ родителямъ; дѣло ни туда, ни сюда, а время шло впередъ.

Въ первое за тѣмъ воскресенье, разносваты мои опять столкнулись на базарѣ въ Ардатовѣ, и Михайло тотчасъ сталъ сзывать, кто изъ своихъ былъ тутъ, заставляя Онисима, по уговору, поднести восемь косушекъ вина да купить калачей. Онисимъ было на попятный; объявивъ еще разъ, что доцынька нейдетъ, ни за што нейдетъ, и, доставъ задаточный цѣлковый, стоялъ и кланялся передъ Михайломъ, чтобъ его принялъ и дѣло бросилъ. Но Михайло такого шума надѣлалъ, что весь базаръ сбѣжался; обращаясь къ толпѣ и чествуя ее добрыми людьми, онъ рассказывалъ въ нѣсколько пріемовъ, что вотъ онъ у Онисима дочь засваталъ за меньшаго брата, что ужъ и пито и по рукамъ бито, и сговоръ былъ въ то воскресенье, и задатокъ на столъ отданъ, и на сговорѣ онъ истратился да исхарчился, а теперь Онисимъ пятится. Общій голосъ укора обратился на Онисима; всѣ стали говорить, что такъ дѣлать не годится, что добрыхъ людей безчестить нельзя, и прочее. Оправданія его, что онъ не отказывается, да доцынька нейдетъ, никто не слушалъ, и Михайло, продолжая громко и звучно повторять одно и то же, приступалъ настоятельно къ разносвату, чтобъ угощалъ. Тотъ растерялся, не зная, какъ отдѣлаться, купилъ вина и калачей. Михайло досталъ кошель и сталъ додавать ему столовые; но отъ нихъ Онисимъ опять отказался на-отрѣзъ, замахалъ руками и убѣждалъ его принять обратно задатокъ, чего Михайло не хотѣлъ и слышать, а повторялъ, что свадьба

въ то воскресенье, что такъ попъ велѣлъ, что они приѣдутъ поѣздомъ за невѣстой для отвоза молодыхъ въ приходскую церковь, въ Куфендеево, а имъ, отцу и матери, между-тѣмъ, ѣхать прямо въ Журелейку и тамъ ожидать молодыхъ и столъ. «Не пойдетъ она, доцынька!» повторялъ робко Онисимъ, обнялся и простился со сватомъ, и разъѣхались по домамъ. На недѣлѣ Михайло еще-таки, для приличія, послалъ отъ себя боярина въ Кармалейку, заявить Онисиму весь порядокъ этотъ; бояринъ воротился съ тою же вѣстью, что нейдетъ-де невѣста, но Михайло только кивнулъ головою и принялся готовить угощеніе. Четыре пуда солоду переварено было на брагу; куплено шесть пудовъ говядины, за которою нарочно ѣздили въ Ардатовъ; заготовлено пироговъ разныхъ родовъ, вина — всего, по условію, слишкомъ на 50 руб. асс.

Не заставило себя ждать и воскресенье; шумный поѣздъ жениха поднялся въ Журелейкѣ, въ праздничныхъ кафтанѣхъ и сарафанахъ, въ лентахъ, съ индюшечьими перьями на шляпахъ; двое верховыхъ очищали дорогу; все это произошло ранымъ-рано въ Кармалейку, гдѣ незамѣтно было ничего праздничнаго. Онисимъ, послышавъ шумъ, гамъ и звонъ глухарей и гармотунчиковъ, высунулся, въ испугѣ, въ окно и, увидавъ поѣздъ, завопилъ: «топерица пропала моя головушка!» Хозяйка металась туда и сюда, не зная, что дѣлать, а Дуня забилась на подволоку. Старъ и малъ высыпали на улицу и со всѣхъ сторонъ направились къ избѣ Онисима.

Дружки соскочили съ лошадей и стали громко стучать

кнутовищами въ ворота, приговаривая, что охотники слѣдили кунницу и выслѣдили ее до подворотни этого дома, и проч. Ни отвѣта, ни привѣта! Поглядѣвъ другъ на друга и на поѣзжанъ, дружки вошли, не дожидаясь обзыву, и застали хозяина, неодѣтаго, въ дверяхъ избы; тутъ стоялъ онъ въ раздумѣ, не зная, что начать. «Нешто такъ принимаешь ты званыхъ гостей?» спросили тѣ, также оставившись въ недоумѣніи. — «Простите, не взыщите» началъ тотъ покаая: «доцынька нейдетъ; что хотите, то и дѣлайте, власть ваша — нейдетъ.»

Дружки вышли, говоръ пошелъ по всему поѣзду, и Михайло расходился. Онъ самъ вошелъ въ избу, но, не могли добиться ничего отъ Оннима, сталъ-было вызывать поѣзжанъ, чтобы идти въ домъ, отыскать и взять невѣсту и обвинчаться, потому-де, что дѣло это кончено и что убытки позади, а безчестье впереди. Но тутъ вступились всѣ кармалейцы и напередъ всего бабы: всѣ объявили, что этого не водится и что силою не дадутъ они взять невѣсты. Долго еще стоялъ на улицѣ поѣздъ, долго еще кричали и шумѣли; Михайло выходилъ изъ себя, оралъ громче всѣхъ, не хотѣлъ слышать никакихъ причинъ и доводовъ, но долженъ былъ наконецъ поворотить оглобли и въѣхать въ Журалейку тихо и скромно, для чего весь поѣздъ разбился врознь и каждый въѣзжалъ по-себѣ, стараясь укрыться отъ общаго вниманія поселянъ. Само-собою разумѣется, что глухари и балабончики дорогою были сняты.

На другой день Михайло отправился въ приказъ, взявъ съ собою кого нужно было въ свидѣтели, и принесъ жа-

лобу на убытки и на безчестье. Еслибъ онъ разсказалъ дѣло въ двухъ словахъ, какъ оно было, то есть, что дѣвка отказала и неидетъ, то, вѣроятно, и старшины разсудили бы по правдѣ, какъ прочіе міряне, что неволить нельзя, коли добромъ не сладятъ и коли дѣвка больно упряма, потому-де что и попъ неволей вѣнчать не станетъ; а въ убыткахъ, кромѣ задаточныхъ, которыя воротить, Михайло самъ виноватъ, по своему упорству; онъ загодя зналъ, что невѣста отказала на-отрѣзъ, а настаивалъ упрямо и дѣлалъ всѣ приготовленія. Но здѣсь вышло не такъ: головы не было, а изъ двухъ наличныхъ старшинъ одинъ былъ журелейскій и въ родствѣ съ Михайломъ; этотъ же разсказалъ дѣло по своему и тѣмъ ввелъ и старшинъ въ кривой толкъ и въ грѣхъ; онъ всю жалобу свою приносилъ на Онисима, который-де просваталъ, записъ и сговорилъ дочь, а теперъ не отдаетъ ее, чѣмъ изубыточилъ и обезчестилъ его.

Послали за всей семьей въ Кармалейку, и когда она явилась въ приказъ, то приказывали Онисиму настоятельно отдать дочь. Никакія объясненія его, что онъ и не отрывается, да доцынька неидетъ — не помогали. «Коли не отдаешь дочь, то уплати сейчасъ всѣ убытки Михайлы, да заплати двадцать рублей ассигнаціями безчестья.» — «И этого не хочу!» кричалъ расхोившійся Михайло: «а отдай онъ дочь, дочь запитую, сговоренную, отдай!» Онисимъ съ женою кланялись, предоставляя Михайлѣ брать дочь, коли она поидетъ. А она стояла спокойно и только на вопросы старшинъ отвѣчала: «н е пойдѹ». Онисимъ выложилъ на

руку задаточный цѣлковый; да прибавилъ еще къ нему цетвертачокъ, и упрашивалъ Михайлу принять это и отпустить его; Михайло плевалъ и отворачивался. Наконецъ, самоуправные старшины присудили постѣчъ Онисима и тѣмъ заставить упрямую дочь согласиться. Но и эта попытка не удалась: «Матушка дощынъка, иди!» кричалъ бѣдный Онисимъ. — «Батюшка, потерпи!» отвѣчала она: «тебѣ мало терпѣть, а мнѣ вѣкъ маяться.» Пробившись попусту, старшины кончили тѣмъ, что велѣли Онисиму все-таки отдать дочь за Матвея, потому-что она ужъ заплата, и сговоръ былъ, а попъ велѣлъ вѣнчаться; если же не отдастъ, да въ три дня не уплатитъ всѣхъ убытковъ и безчестья, то опять накажутъ въ приказѣ, всей семьей. По окончаніи всего разбирательства и суда, наѣхалъ и голова, мужикъ порядочный, но слабый и состоявшій всегда подъ вліяніемъ другихъ. Онисимъ къ нему. Услышавъ, что дѣло уже кончено безъ него, голова не захотѣлъ прекословить, замаялъ жалобу о томъ, что Онисима наказали самоуправно за то, что дочь его нейдетъ за Матвея, убавилъ только на нѣсколько рублей безчестье, которое правилъ съ него Михайло, а остальное утвердилъ.

Пришедши домой, Онисимъ спросилъ: «Что-жъ мы теперь дѣлать станемъ? Пойдешь, что-ли, Дуня?» — «Не пойду.» — «А по што не пойдешь?» — «А по то, что съ Матвеемъ жить не хочу.» — «А пошто не хошь, Дунька? А я гдѣ возьму эку суйму денегъ, убытки да безчестье платить? этого у меня нѣтъ за душой; цетвертачокъ давалъ — не берутъ; что дѣлать станемъ?» — «Иди къ управляющему

«городъ», сказала Дуня: «вотъ что; не то я сама пойду.» — «Ой-ли?» — «Право, иди; неужто нашего дѣла не разсудятъ? Ну тебѣ, батюшка, пусть и по дѣломъ маленько допалось, вѣдь не больно постыдл, пошто было чужу душу избалить, да *записмы* спрашивать — «ладно ли?» а тамго нѣтъ православнаго закона, чтобъ замужъ неволить.»

Онисимъ взялъ шапку, да четвертачокъ, который сулилъ за безчестье, на дорогу, и пошелъ. Забавенъ былъ разсказъ его, когда онъ приносилъ жалобу, и все снова обращался къ тому, что онъ упрашивалъ: «поди, доцынька», а она отвѣчала: «терпи, батюшка, тебѣ не сколько терпѣть, а мнѣ вѣкъ маяться.»

Рѣшеніе состоялось такое:

Приказный староста Савуновъ и добросовѣстный Якимановъ наказали самовольно и притомъ напрасно крестьянина Онисима Егорова. Голова Мироновъ зналъ объ этомъ, не донесъ начальству и оказалъ самоуправству этому потворство. За это Савуновъ и Якимановъ отставляются отъ должностей своихъ, съ запиской въ штрафную книгу и съ лишеніемъ права голоса на сходкахъ; головѣ дѣлается строгій выговоръ; всѣмъ тремъ уплатить тотчасъ Онисиму за обиду: каждому по полному годовому окладу податей съ одного тягла, то есть по 11 р. 32 к. сер. О случаѣ этомъ объявить въ острастку по всѣмъ сельскимъ приказамъ.

Онисимъ не вѣрилъ своему счастью. «Вотъ, доцынька, какія деньги Богъ далъ, и во снѣ мы съ тобой ихъ не видали! Вѣдь, это, дай Богъ здоровье нацальнику, мы съ тобой заработали!» — «Нѣтъ, не мы», отвѣчала та смѣю-

чись: «вся работа твоя была, батюшка; ты заварилъ кашу и выхлебалъ. Вся моя работа была, что я не послушалась неразумливаго приказанія твоего: не пошла за Мвѣя, да надоумила тебя идти къ управляющему.»

V.

ПЕТРУША СЪ ПАРАНЕЙ.

— Здравствуй, Паранюшка!

— Здравствуй, другъ Петруша. Чтò, не скажешь ли чего добраго?

— А чтò я скажу тебѣ добраго, косатка моя, опричь худаго? Нынѣ на свѣтѣ нѣтъ добраго. Вотъ коли ты еще любишь меня, такъ подойди поближе — людей нѣтъ близко никого, да и темно на дворѣ — и скажи ласковое слово — вотъ и добро будетъ.

— Хорошо тебѣ говорить, Петруша, да вѣдь этакъ вѣку не проживешь. Чу! слышь, опять журавли прилетѣли — вѣдь, ужъ это въ третій разъ съ-тѣхъ-поръ, какъ мы съ тобой слюбилнсь; вотъ и пасха на дворѣ, не сколько осталось; люди засылаютъ сватовъ, коли кто худаго на дѣвку не замышляетъ; а кто только ославить хочетъ ее да покинуть, тотъ себѣ и молчить и стережетъ ее за угломъ.

— Охъ, ужъ не кори меня, другъ Параня! и такъ ужъ

ретивое надрывается. Чтѣ жъ я дѣлать стану, коли отъ стариковъ да молодыхъ просвѣту нѣтъ.... Погодимъ еще, ненаглядная моя, Господь съ ними, за то авось и насъ Онъ не покинетъ; мнѣ тошнѣй тебя: и самого-то себя жаль, и тебя жаль; и на тебя глядя убиваюсь — а дѣлать нечего.

— Хорошо тебѣ говорить, Петруша, на тебѣ все та же шапка.... вѣдь, и у меня также отецъ, мать дома; твои — свое, а мои — свое: не вѣкъ, говорятъ, тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть; пересидишь — ославишься, позору наведешь; на тебѣ сватаются, вотъ такой и такой — чѣмъ не женихи? выходи, не то отдадимъ, не спросимъ. А я чтѣ стану говорить? Тебя я и поминать не смѣю.... Такъ-то; вотъ видишь, Петруша, покуда солнце-то взойдетъ, анъ злая роса глаза выѣстъ....

— Паранюшка-душа, не иди за другаго, на грѣхъ наведешь меня, на такой, что загублю я себя.... Чтѣ больше муки примемъ, то Господь больше наградитъ насъ съ тобой.... Я вотъ нынѣ опять поговорю старикамъ своимъ, какъ домой приду, чтѣ будетъ.... авось не слыются ли; вѣдь, я у нихъ одинъ, какъ пѣрстъ; не на то же они народили меня, вспоили-вскормили, чтобъ дѣ въку, никому на радость и себѣ на горе, меня тупой пилой измочалить.

— Ну иди, Петруша, Господь съ тобой; только — ох-о-хо, горько мнѣ, и не бывать добра, коли этакъ жить намъ, да все ждать-пождать....

— Параня, молись за меня, а я за тебя.... Прощай, моя маковка....

— Прощай, косатикъ мой.... Полно, полно; люди увидятъ.... Прощай!

Пришелъ домой Петруша, сѣлъ у входа на коникъ и вздыхаетъ тяжело; не знаетъ, какъ и начать говорить про такое дѣло, гдѣ не даютъ слова сказать.

— Чтѣ, спросилъ отецъ: — нашатался?

— Не нашатаешься съ вами, отвѣчалъ Петруша: — коли ложкой кормите, а стеблемъ глазъ колете.... Какъ ни придетъ въ избу, все, кажись, рано, все бы бѣжалъ еще на просторъ.

— Ну, чтѣ жъ, вольному воля, а дураку, пожалуй, и дѣлѣ: и своя дурь, и чужой худой разумъ. Поди; мы съ матерью тебя не на приѣздкѣ водимъ.

— Батюшка, и ты, матушка, сказалъ Петруша, вставъ и повалившись имъ въ ноги: — такъ привяжите жъ меня къ дому, какъ у людей водится: вѣдь и ты въ мои годы ужъ женатъ былъ, а я вотъ все еще по-собачьи живу.... Пошлите, ради праздника Христова, ради пресвѣтлаго воскресенія Господня, пошлите свата за Параней....

Отецъ, сидя на лавкѣ у стола, махнулъ рукою и отвернулся, съ трудомъ только удерживаясь отъ вспышки и брани. Мать не утерпѣла, плюнула, встала съ лавки и пошла къ печи.

— Ну, сказалъ Петруша, быстро вскочивъ на ноги и отряхнувъ волосы: — знать, такая судьба моя.... либо утоплюсь, либо.... ужъ и самъ не знаю, на какой грѣхъ вы меня наведете.... Эхъ, батюшка, матушка! напрасно вы меня съ нею разлучаете; не будетъ отъ этого korzyсти ни-

какой, а видимо бѣду неминуемую накликаете.... Подумайте жь вы по себѣ, да вспомните и меня: отчего же вы не велите мнѣ взять за себя Парашу? Вѣдь не вамъ съ нею вѣкъ коротать, а мнѣ: вы ужь прожили свое — кто вамъ перечилъ? а намъ только-что начинать.

Отецъ и мать перебили его съ сердцемъ, сказавъ, что всѣ люди подъ-Богомъ ходятъ, а кому прежде умирать, кому послѣ — этого не угадаешь. Умираетъ-де не старый, а постѣлый, на каждого свой вѣкъ положенъ, а мы ничьего не заѣдаемъ. Ты, поросенокъ, такихъ рѣчей не смѣй говорить.

— А чтó жь я вамъ сказалъ? началъ опять тотъ: — я словомъ своимъ не убилъ васъ, а вы меня словомъ своимъ корените и губите. Мое слово — что собака на вѣтеръ взлаяла; ваше слово — что изъ тучи громъ грянетъ. Ну вы же сами, бывало, говаривали мнѣ, что пора перебѣситься, пора остепениться, пора невѣсту искать; а теперь третій годъ мѣрите, что душа изнываючи мѣста не сыщеть. Скажите жь, какую, по вашему, надо взять?

— Вотъ это дѣло ты заговорилъ, такъ дѣло; отца, мать послушаешь — долготѣнъ будешь. А вотъ посмотри-ка у Ивана Трофимова какая дѣвка во дворѣ, не Парашѣ твоей чета; почему бъ тебѣ ея не взять?

— Хороша она для васъ, и корить ее при васъ не стану, а что по мнѣ, такъ хоть бы ея и не было на свѣтѣ. Нѣтъ, батюшка, матушка, знатъ вы больно состарѣлись, что молодость свою позабыли.... Не хочу я жить безъ Парани; коли вы ее не велите мнѣ взять за себя — такъ и Богъ

съ вами; дай вамъ Богъ стать переживать меня, хоть съ этого часу, какъ я передъ вами стою: не завидна мнѣ жизнь ваша. За хлѣбъ за соль вашу я васъ благодарю, а самъ уйду отъ васъ, словно отъ обиды хозяйской уходитъ изъ дому чужой батракъ, сирота горемычный....

— Дуракъ ты, Петруша! это чему Парашка твоя тебя научила? Куда ты уйдешь, куда дѣнешься? Вѣдь тебя, дурака, найдутъ да къ отцу же приведутъ, наkostenявъ по дорогѣ шею! Ахъ ты и вправду забылъ, что у тебя есть отецъ, мать?

— Забыть не забылъ, а коли вы давно ужъ отъ сына отступились, такъ ему куда жъ дѣваться? И возьму грѣхъ на душу, отрекусь; пострадаю за васъ и на этомъ свѣтѣ, и на томъ.

— Ну, еще я таки я тебя, сынокъ, спрошу: чѣмъ же такъ Параша твоя такъ тебѣ показалась? чай, ребята махвалили, да хорошо пляшетъ?

— Не хвалить же вамъ ее стать, коли меня изъ-за нея проклинаете; да безчестить дѣвку вамъ на старости лѣтъ не приходится. Я не для нахвалу женюсь и не про кого, какъ про себя, и глаза у меня свои и свой царь въ головѣ, каковъ ни есть. Пляска пляской — да съ нею вѣка не проживешь; а съ вами, такъ не знаю кому бы она и на умъ пошла. А хороша Параша тѣмъ, коли хотите знать, что для меня хороша; а кабы всѣмъ одна казалась, такъ, сохрани Богъ, никому бы на свѣтѣ и житья не было. Вотъ она чѣмъ хороша.

— Да кой чортъ она хороша, сказала мать осердясь: —

у нея и складъ-этъ весь свиной; таки вотъ вся въ свою семью уродилась!

— Правда, матушка, потому-что глазъ на глазъ не приходится; а какъ поглядѣлъ я въ воду на свою уроду, такъ и не сталъ другихъ хаять. Такъ бы поглядѣть и всякому на себя, какой кто красивый.

— А были красны смолоду, сказалъ отецъ: — и не то, что сами на себя, а ино и люди со стороны глядѣли, а теперъ и свой да не глядитъ.

— Пожалуй, твоя воля теперъ: тебѣ говорить, а мнѣ слушать; ты наскажешь, что молодъ бывалъ и на крыльяхъ леталъ.

— Вишь ты какой удался, что и отца хантъ, а тебя, дурака, отъ мизинца да вотъ какого выкормилъ, что переросъ и меня.

— Да, кормилъ ты меня! Нѣтъ, батюшка, хлѣбъ твой былъ, а я все самъ ѣлъ. Вотъ матушка такъ правда, что кормила и поила; а ты, батюшка, помнишь ли, какъ я малъ былъ, въ зыбкѣ-то, бывало, бока отлежу, да и стану кричать, а ты сейчасъ шапку подъ-мышку, да и вонъ; надо-ѣлъ, говоришь. А теперъ вотъ такъ коринь, что кормилъ и пѣстовалъ, да хочешь только распоряжаться мною, какъ солдатомъ на ученьи, чтобъ по слову руки и ноги подымалъ, а безъ твоей воли не моргнулъ, не чихнулъ.

— Да, и могу тобою, дуракомъ, распоряжаться, потому-что ты сынъ мой, а я тебѣ отецъ; аль ты, можетъ-статься, еще этого и не слыхалъ? Вотъ, жена, полюбуйся на своего баловня: пой да корми, а выкормишь, такъ вотъ онъ

каковъ наострится! Знать, ужъ нынѣ вѣкъ такой пошелъ, что яйца курицу учать. Правда говорится: не рожденъ — не сынъ, не купленъ — не холопъ; а не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь. Ну, сынокъ, кабы все это добрые люди слышали, такъ подѣломъ бы на насъ стариковъ подивились, да чай и тебѣ бы что-нибудь сказали.

— Извѣстное дѣло, что сказали бѣ, коли бѣ ты привелъ своихъ: ветошь молодую траву глушить идохнуть не даетъ; а спроси-ка молодую, ей-то какво?

— Ну, жена, уродилось у насъ дитя! Хоть дай ему суму съ пирогами, хоть чорта съ рогами — онъ все свое тростить. Вотъ и сказано, что дѣти удатны — отцу, матери вѣнецъ, дѣти неудатны — отцу, матери конецъ. Чужой сынъ дуракъ — смѣхъ; свой сынъ дуракъ — горе. Нѣтъ, насъ отецъ не тому училъ, мы его боялись; бывало...

— Постой, батюшка, я это дѣло и самъ знаю: какъ тебя дѣдушка училъ — нѣчего врать, этого не помню; а вотъ какъ ты его училъ, такъ это было за мою память, хоть я тогда и малъ былъ, а помню, ты меня въ тѣ поры не оберегалъ, чай, все думалъ: глупъ еще — анъ вотъ на памяти дѣло сказалось!

— Я давно говорила, что изъ нашего сына не будетъ проку, перебила мать, между-тѣмъ какъ отецъ замолчалъ, будто воды въ ротъ набралъ. Видно, и ему припомнилось недоброе, хоть оно ужъ очень давно было; ему показалось, будто Богъ его караетъ за прошлое. — Я давно это говорила. Дуракъ ты, а не Петруша; а еще мы хотѣли тебя женить, толкуемъ, словно дѣло какое! Да какая непутная за тебя пойдетъ?

— Вы пойдете искать, такъ, можетъ статья, и не найдете; а мнѣ и искать не надо, я нашелъ давно: и путная она, и идетъ.

— Мало ли что идетъ, да тебѣ этой брать не велимъ.

— Пожалуй, что сыну бы и не велѣли; а чужому батраку, вотъ хоть бы какъ мнѣ теперь, вамъ непошто заказывать. Вы думаете, возьму я у Ивана Трофимова водовозную кобылу-то? Нѣтъ, не прогнѣвайтесь; хоть вы и говорите о красотѣ, что съ лица не воду пить, однако, не на одно же это дѣло люди женятся, чтобъ жена воду возила. Голову грызть и вы горазды, а своего подбору еще же на меня въ домъ сноху возьмете, такъ мнѣ-то ужъ куда отъ васъ дѣваться будетъ? Лучше жъ я загодя утоплюсь. Отъ Парани два года отлучаете; я все терпѣлъ, все чаялъ, что Господь васъ надоумитъ: чему быть, тому быть, а ужъ Ивана Трофимова корова не по шерсти мнѣ, не ко двору приплась. Вотъ и согрѣшишь съ вами, и согласишься до того, что людей хаять станешь изъ-за васъ; а мнѣ что до нея? Богъ съ нею, ходи она въ золотъ, да меня-то обхаживай.

— Ну что жъ? а ты думаешь, только и свѣту, что въ окнѣ? На улицу выйдешь, больше увидишь; не одна твоя Прасковья, не Ивана Трофимова, такъ другая....

— Нѣтъ, батюшка, одна, на одной Богъ указалъ жениться, а не на всѣхъ. Свѣтъ Божій на улицѣ про всѣхъ, а оковце въ избѣ ты про себя вставилъ — вотъ и свѣтъ твой. Подожду я еще, что Богъ дастъ, не поминайте мнѣ только постылыхъ. Коли вѣку мнѣ укоротите — ну, ваша

власть, и живите; не стану тогда досаждать вамъ; а коли кто первый изъ васъ передъ Богомъ будетъ, такъ авось святыхъ его за меня умолитъ и другаго умилостивить.

— Ну, сказалъ старикъ:—такъ ненадо теперь ни о чемъ и хлопотать, а надо повыждать, когда бы вотъ Богъ прибралъ стариковъ; тогда, вишь, Петруша останется большакомъ въ дому, своя воля будетъ.... Давайте-ка лучше ужинать, чѣмъ горохъ изъ мѣшка въ мѣшокъ пересыпать да такими рѣчами Бога гнѣвить. У меня и такъ съ вашихъ разговоровъ разломило голову. Садись, сынъ!

— Благодарю; я не хочу.

— Что такъ?

— Да будетъ съ меня, накормили, спасибо, хорошо.

— А что?

— Да такъ; проглотить-то я проглотилъ, да круто, не подавиться бы....

— То-то вотъ, видишь, ты, дуракъ, чего другому желалъ, то вотъ, того гляди, надъ самимъ сбудется. Вотъ и прикинъ на себя, каково другому.

— Объ этомъ я не тужу; давай Богъ такъ; а другимъ бы мои лѣта прожить. Объ этомъ я и самъ молю Бога, чтобъ поверстаться, чтобъ не корили меня: вспоили, вскормили да сами и сгубили. Это хороша игрушка!

— Поди-ка ты лучше да напой скотину; ты самъ не вспомнишь, словно и времени не знаешь.

— То то и дѣло, что я, знать, на одно это и годенъ вамъ; такъ я и не вру, стало-быть, коли говорю, что бат-

ракъ вамъ, кабалёный работникъ, а не сынъ. Скотину я напоить напою, а самъ къ Парашѣ зайду.

— Иди; давно не видался. А что, Петруша, чай, тебѣ Прасковья твоя милѣй отца, матери?

— И всѣмъ было бѣ мѣсто, коли бѣ не было тѣсно: не тѣснота губить, а лихота.

— Однако, скажи, не стыдись; говорилъ ты много — и это договорить можно: Параша тебѣ отца, матери милѣе?

— Кто добрей до кого, тотъ тому и милѣй. Съ вами вотъ до конца не договорюсь, а много грѣха наберусь; а съ Парашей сойдуся — и плачу да веселюсь.

— Иди жь, иди, чтобъ не простыло. Посмотримъ, когда-то онъ воротится.

— Здравствуй, Папа!

— Здорово, Петруша. Что, знать, нѣтъ проку?

— Не тужи, Параша, терпи, авось Богъ смилуется.

— Нѣтъ, Петруша, ужь полно меня томить, а знать по судьбѣ нашей бороной прошли. Не стала бѣ я тебѣ не-нять, стала бѣ выжидать, да вѣдь и у меня волюшка-то не своя. Умолила я еще отца, мать эту святую пропустить, дать погулять мнѣ на дѣвичей волюшкѣ, да ужь послѣдній срокъ: на Покровъ ты меня не увидишь съ русой косою — расчешутъ ее и покроютъ.

— Нѣтъ, Параша, сохрани тебя Богъ; этого и не говори!

— Да ужь такъ, Петруша, я вижу, что такъ будетъ. Два года прошло, а что проку? Отецъ, мать давно говорятъ: нечего тебѣ на него глядѣть, а надо полюбить другаго.

— А я всёмъ парнямъ скажу, что я тебя любилъ!

— А я побожусь, что неправда: любилъ бы, такъ бы и не покидалъ.

— Нѣтъ, Паша, полно; не хороша пошла у насъ бѣда. Прежде у насъ этого не бывало. Брось все, станемъ жить по-прежнему; Богъ милостивъ.... Что дѣлать, коли такая пора пришла, что другъ друга со свѣта сживаемъ?... Вотъ отецъ попрекнулъ меня нонѣ, самъ сказалъ, что я остаюсь большакомъ въ дому.

— Этого не поминай мнѣ, Петруша. Это что за надежда, чтобъ намъ жить, какъ другихъ со свѣту сгонимъ!

— Никого я не сживаю, Параня, сохрани Богъ! И всёмъ бы, кажись, просторно — а я тебѣ помянулъ только отцовскія слова.... Да что я дѣлать стану, куда притулю головушку звою, коли и тамъ-то выживаютъ, да и ты еще станешь меня гнать?...

— Ну, полно, Петруша, ступай домой. Чу, вонъ ужъ и пѣтухи поютъ, половина ночи прошла.

— Видно, вправду, Параня, разлюбила ты меня, что шлешь домой да стращаешь пѣтухами.... Бывало, мы съ тобою до бѣла свѣта просиживали, другъ другу не надокучивали....

— Поди, Петруша, поди: тогда у насъ не было заботы никакой, не знали мы еще своего горя, а теперя такъ ужъ и сердце не на мѣстѣ. Иди съ Богомъ, утро вечера мудренѣе; можетъ статься, надумаешь что, такъ завтра одному скажемъ.

— Ну, прощай, коли на то твоя воля, а моей-то ужъ

у меня нѣтъ нигдѣ. Помолись за меня, да чтобъ Богъ стариковъ моихъ за ночь надоумилъ.

Пришелъ Петруша домой, стучится подъ окномъ:

— Отоприте ворота, аль сыну хозяйскому черезъ тынъ лѣзть?

— Поди, старикъ, отопри, молвила старуха: — что-то сынъ нашъ больно грустно кричить.... аль нерадостну вѣсть несетъ.

— Какой тутъ быть вѣсти! крикнулъ отецъ, слѣзая съ печи: — кромѣ той, что мы оба ему синь-порохъ въ глазу. Чай, слышала, какія рѣчи онъ давеча говорилъ.... Милости просимъ, дорогой гость. Не учили, пока поперекъ лавочки лежалъ, а во всю вытянулся — не научишь. Гдѣ тебя не-легкая по ночамъ носить?

— Хорошо, отецъ, видно ты радъ сыну, что такъ его встрѣчаешь. Мнѣ бы въ омутъ слаще житье, чѣмъ у тебя съ матушкою. Я, какъ пошелъ, сказался тебѣ, куда иду; тамъ и былъ; я не таюсь....

— Будь же ты проклятъ! молвилъ отецъ: — и не ходи у меня въ избу: ложись, какъ собака, гдѣ свернешься....

— Коли ты этимъ меня порѣшилъ, такъ я по васъ Богу помолюсь, помяну отца, мать, которые когда-то были у меня, а теперь ихъ нѣтъ; остался я на свѣтѣ круглой сиротой. Коли клятва твоя правѣ — Богъ меня накажетъ, не спуститъ; коли молитва моя правѣ — помилуетъ и призритъ.

Рано утромъ Петруша пришелъ къ Паранѣ; она вышла, какъ бывало и прежде, а онъ стоитъ и не знаетъ, что го-

ворить, самъ только тяжело что-то вздыхаетъ. Стала она допытываться, да и сама, глядя на него, перепугалась до смерти. Вотъ она и залилась вдругъ слезами и кинулась къ нему, просить одного: «говори, говори, за одинъ разъ до-рѣзывай, что сталося?»

— А сталося то, что Богъ насъ разсудилъ; не намъ дѣла Его разбирать. Поплакать еще разокъ—не миновать, старое горе провожаячи, послѣдній долгъ отдать, да уже и полно. Отецъ и мать у меня дома оба на лавкѣ лежатъ; я и руки сложилъ имъ и по образу на нихъ положилъ.

— Что ты это говоришь, Петруша? Ты не бредишь, не рехнулся ты?

— Нѣтъ, Параня, хотъ сейчасъ пойдѣмъ вмѣстѣ, по-гляди; надо звать кого-нибудь, хотъ тѣтку да куму: надо обрядъ дать, вѣдь я въ домѣ теперь одинъ — и самъ я, Параня, хозяинъ, такъ Богу угодно было — и хлѣба старику, царство ему небесное, чай теперь жалѣетъ обо мнѣ—хлѣба поставилъ много; гляди, вонъ гумно наше....

— Петруша, да ты не бредишь? Какъ же они оба за ночь умерли?

— Отецъ проклялъ меня, сказалъ: будь ты мнѣ не сынъ; мать услышала, да, высунувъ голову въ окно на дворъ, молвила: «я, говоритъ, тебя не нашивала, не раживала, будь ты недобрый чужой!» Живы — были еще отецъ, мать въ избѣ этой, да ужъ они мнѣ старики чужіе —не отецъ, не мать. Вогъ и сталъ круглой сиротой. Ни отца, ни матери у меня нѣтъ. Остался я на дворѣ одинъ, палъ ницъ, такъ и лежалъ, все молился, а какъ и чему молился — не помню,

а просилъ Бога: не по нашему дѣлаи, а по своему; а какъ утре было мнѣ идти на чужу сторону, куда глаза глядятъ, и какъ сталъ я сиротою, то и помянулъ родителей, которые были у меня, въ царствѣ небесномъ, чтобъ Господь не покаралъ ихъ за мои грѣхи.... Вотъ я и сказалъ: разсуди, Господи, чья крѣпче, чья правѣе; накажи и вразуми меня, коли я виноватъ; просвѣти и помилуй, коли такъ разсудишь. Вотъ, знать, и умолилъ; утромъ просыпаюсь, хочу идти въ люди, хоть и самъ не знаю куда, а къ тебѣ хотѣлъ зайти сказать, что ужь нѣтъ меня больше и не жди меня — пошелъ въ избѣ за одѣжой — гляжу: отецъ одинъ съ краю лежитъ на путникѣ и будто неживой. Я испугался, оцупалъ его — ужь и простылъ; я на печь, къ матери — померла и она. Вотъ я и сталъ; оглянулся на иконы, палъ на земь, все хотѣлось помолиться, да не смогу; такъ вотъ и самъ не знаю, что случилось надо мной, ровно одурѣлъ. Вотъ и мнѣ, какъ теперь тебѣ, все думается, не померещилось ли, не манѣ ли какая нашла; оглянусь — оба лежатъ неживые.... Опять хочу молиться, да и не смогу, не знаю, какую молитву буду читать.... Я перекрестился, сталъ класть поклонъ за поклономъ, всталъ опять, перенесъ покойниковъ на лавку подѣ образа, далъ имъ по иконѣ святой, да вотъ и пришелъ къ тебѣ....

Вскорѣ узнали на всемъ селѣ, что отецъ и мать у Петра въ одну ночь скончались. «Знать, не захотѣлъ Господь допустить ихъ до большаго грѣха», говорили люди. — «Состарѣлись, такъ и померли», говорили тѣ, которые ничего не знали. Пришли кумы да тѣтки, обмыли и обрядили ихъ

какъ слѣдуетъ, а на другой день прилично похоронили. «Для чего же насъ Богъ этакъ разсудилъ», думалъ про себя Петруша, провожая родителей: «неужто бы намъ, живучи по-людски, да по-Божью, тѣсно бѣ стало на бѣломъ свѣтѣ? Его святая воля!»

— Какъ же ты теперь, бѣдный Петруша, станешь хѣзяйство вести, одинъ какъ пѣрстъ? спрашивали добрые люди, и Петруша не обинуясь сказалъ, что одному домъ вести нельзя, а надо выждать святую да взять добрую хозяйку. Надо принимать отцовское тягло.

— Вотъ что, Петруша, молвилъ одинъ сосѣдъ: — ты приходи-ка опосля, да спросись, сиротинка, у меня; вѣдь я, пожалуй, и сватомъ пойду отъ тебя, такъ я тебѣ на ушко шепну, какую я тебѣ высватаю невѣсту.... А не то, коли захочешь, хошь и мою Настю возьми, коли пойдетъ за тебя.... Да отчего жъ бы ей и не пойти? Ты парень больно смирный, хорошій, самъ себѣ хозяинъ теперь, свое добро есть; слава-Богу — почему не пойти, пойдетъ!

— Петруша, сказала тѣткина кума, либо кумина тѣтка: — вѣдь ты теперь, сердечный мой, одиночка, ты, сиротинушка, загорюешься, какъ тебѣ одному въ дому-то быть? А ты бы вотъ что, послушай меня: ты бы избу-гу заперъ до поры, да першелъ бы къ тѣткѣ; она вѣдь тебѣ своя и баба добрая, знаешь какъ тебя любить; она тебѣ рада будетъ. А мы съ нею сосѣди, такъ ты станешь заходить и къ намъ, самъ знаешь, у меня семья, благодаря Бога, людня и веселая и двѣ дѣвки кровь съ молокомъ, нечего Бога гвѣвить, благодарить надо, этимъ не обидѣлъ; ну, и тебѣ,

сиротинушкѣ, все повеселѣй на сердцѣ станетъ, все въ людяхъ душу отведешь, горе размыкаешь....


И Петруша молчитъ, да думаетъ свое. Всякъ себѣ на умѣ, и онъ тожъ. Вотъ какъ пришло время, онъ и подумалъ: «для чего же я стану засылать сватовъ, коли дѣло у насъ давно все слажено, и отецъ, мать Парани давнымъ-давно все знаютъ, и что было и что у насъ положено, потому-что Параня отъ нихъ не таится — и когда они сами отъ этого дѣла не прочь, а ждутъ только, чтобъ мы пришли просить ихъ благословенія?» Вотъ онъ, надумавшись, и пошелъ самъ, надѣвъ новый кафтанъ отповскій, съ краснымъ кушакомъ, и пошелъ не задами да закоулками, какъ бывало прежде, а прямо, большой улицей: пусть люди глядятъ, кому надо.

Пришедши въ избу, перекрестился онъ, поздоровался, сѣлъ по приглашенію и таки-долгонько молчалъ и разглаживалъ усы. Паранѣ, однако, стыдно стало, она и вышла. Вотъ тогда-то онъ, надумавшись, сказалъ: «А что, дядюшка Никита, когда же вы насъ съ Парашей-то благословите?» — Дядя Никита поглядѣлъ на этого гостя и молвилъ: «А когда надумаетесь, да придете, тогда и благословимъ.» Тогда Петруша спохватился, всталъ и, поклонившись, оборотился къ хозяйкѣ, которая шарилъ въ нечи: «А вы, матушка Василиса Степановна?» — Она также разсмѣялась и, отставивъ ухватъ, отвѣчала: «Да ужъ, чай, не порознь же намъ васъ благословлять, а когда отецъ, тогда и мать. Да что жъ?» сказала она, улыбаясь и глядя на отца: «видно, на нихъ-то глядѣть нечего, не знай, скоро ли опять наду-

маются, а жданковъ-то мы много видѣли; верши, что ли дѣло, коли такъ Богу угодно». Дядя Никита взглянулъ на Петра; этотъ сталъ отвѣшивать поклоны и молчалъ. «Ну, что жъ, молвилъ отецъ, съ Богомъ; зови дѣвку-ту.» И ударили по рукамъ, спросивъ напередъ Парашу, что, можетъ статься, она и не хочетъ идти за Петра. «Хочу», сказала она смѣючись и отвернувшись лицомъ къ печи. «А хочешь, такъ сюда гляди», молвилъ отецъ: «къ печи подъ благословеніе не подходятъ. Ну, натерпѣлись вы, дѣтки — памятуйте это, да творите одно добро на вѣку своемъ, кому сможете. Богъ васъ благословить!»

Черезъ недѣлю послѣ этого молодыхъ привезли поѣздомъ въ избу Петруши; молодая хозяйка, вошедши съ нимъ вмѣстѣ напередъ всѣхъ, встрѣчена была его посаженными и обоихъ вмѣстѣ накрыли образомъ; затѣмъ они вмѣстѣ помолились передъ домашними иконами, а тамъ посаженная оборотила молодую хозяйку лицомъ къ поставцу и велѣла проговорить: «чашки, ложки, плошки, всѣ помнѣ; знайте, что я большуха надъ вами, я ваша хозяйка!»

Такъ-то Параша правду напрогочила своему суженому, что Покровъ уже не застанетъ ее въ дѣвичьей кость, а что будетъ у нея коса расплетена и голова покрыта.



VI.

КТО КОГО ОДУРАЧИЛЪ?

— Ахъ, онъ безмоглый хохолъ! говорилъ Андрей Степановичъ, вставъ, въ нетерпѣніи, со стула, закинувъ руки за спину и расхаживая по комнатѣ:—ахъ, онъ баранъ барановичъ! дуракъ! Вотъ затесалась ворона въ высокіе хоромы! Да хоть-бы онъ вотъ тутъ немножко у себя поступчался,—продолжалъ онъ, остановившись передъ барыней въ наборномъ чепцѣ, ударяя себя пальцами въ лобъ; — ну неужто онъ не можетъ разсудить, что ему Маши не видать, какъ ушей своихъ? Ну, ему ли соваться ко мнѣ въ зятя?

— Все слѣпотствующая любовь, страсть необсудительная, отвѣчала чувствительная казначейша, которая сильно начиталась страстей, съѣла зубы на Марлинскомъ и знала наизусть всего Пушкина: — что дѣлать, простиительно-съ, ей-богу, простиительно; первая любовь, сами изволите знать, Андрей Степановичъ....

— Подите вы съ своей любовью! Ни первой, ни послѣдней я знать не хочу.... ха, ха, ха! Да о чемъ же я разгорячился? Мальчишка, больше ничего; пустяки, вздоръ! Ну, сударыня моя, хоть вы и остереглись, правда,—не свахой отъ этого безмозглаго хохла прѣхали, а такъ, будто, то есть сообщили вѣсточку, которая къ слову пришлась, а ужъ не миновать вамъ того, что принять отъ меня порученіе попросить своего запорожца, чтобъ онъ впередъ миновалъ крыльцо мое. Доложите ему, какъ тамъ себѣ хотите, что-де отъ нашихъ воротъ есть поворотъ, любите насъ, а ходите мимо. Такъ, такъ, сударыня, — и полно.

Въ тотъ же день, распростившись съ чувствительною казначейшей, Андрей Степановичъ пошелъ къ дочери и по первому, неожиданному слову заставилъ ее побагровѣть до самыхъ рѣсницъ, опустить глаза на-земь и стоять передъ отцомъ молча, едва переводя духъ, съ крупными двумя слезами на глазахъ. Андрей Степановичъ, впрочемъ, долго не мучилъ ее, а считая все это, какъ самъ выражался, вздоромъ, пустяками, ребячествомъ, ограничился отеческими приличными наставленіями, стараясь возбудить въ Машѣ презрѣніе къ такому жалкому, ничтожному по чину, званію и богатству существу, каковъ былъ бѣдный, заѣзжій хохоль; затѣмъ отецъ поцѣловалъ ее, намекнувъ на жениховъ знатныхъ, съ именемъ, почетомъ и достаткомъ. Маша всему этому молча покорилась, только много плакала одна, когда отецъ ушелъ.

Андрей Степановичъ былъ вдовый, богатый и гордый столбовой дворянинъ, который считался въ этомъ отноше-

ни однимъ изъ первыхъ украшеній губерніи. Кромѣ благородныхъ забавъ, картъ, домашняго волокитства и охоты, онъ не занимался ничѣмъ, но зато жилъ весело и раздольно. Правда, что жизнь такая довольно-заманчива: какъ поглядишь на плотнаго, здороваго барина, который до-сыта пользуется своею независимостью и которому покорствуешь все на пространствѣ тысячи квадратныхъ верстъ (100 т. десят.), то невольно подумаешь про-себя, по-крайней мѣрѣ, глядя со стороны, что это-де несовѣтъ-худо.... Но я хотѣлъ только сказать, что Андрей Степановичъ любилъ охоту, держалъ огромную и знаменитую псарню, изъ которой, подъ страхомъ всяческихъ наказаній, ни одинъ щенокъ не попадалъ въ постороннія руки. Если имѣніе и было заложено, то, по-крайней-мѣрѣ, никто не могъ доказать, чтобъ это сдѣлано было собственно въ пользу собакъ, потому-что и другихъ, неменѣе значительныхъ предметовъ расхода оказывалось великое множество. Явленіе съ чувствительной казначейшей происходило именно дня за три до выѣзда Андрея Степановича, со вѣтмъ охотничимъ поѣздомъ, въ отъѣзжающее поле, недѣли на двѣ или на три, къ чему всегда приглашались всѣ окружные помѣщики, понимавшіе толкъ въ этомъ дѣлѣ, а также нѣсколько знакомыхъ стрѣлковъ изъ сосѣдняго губернскаго города; да кромѣ того еще при увеселеніяхъ этихъ былъ необходимъ вольный или невольный шутъ, дурачокъ, котораго постригали въ званіе это для потѣхи цѣлаго общества. Съ большою ловкостью вся вольница эта умѣла держать бѣдную жертву свою, въ теченіе двухъ недѣль, въ назначенномъ ему положеніи и званіи;

тутъ не помогало этому человѣку ничего — ни глѣвъ, ни добродушіе, ни умъ или ловкость — коли трое говорятъ, что пьянъ, то поди и ложись; здѣсь все устраивалось и подготавливалось съ постоянною цѣлью: дурачить человѣка кругомъ и со всѣхъ сторонъ, день за день и каждый часъ; самая прислуга, которая чрезвычайно рада подобному случаю, была дотога наметана и приучена, что бѣднякъ, попавшись однажды, сидѣлъ въ тенетахъ весь, какъ онъ есть, и никакими способами не могъ избавиться отъ наложенной на него, по приговору общества или одного Андрея Степановича, должности шута. Конечно, для этого вообще избирались люди не слишкомъ взыскательные, которые должны были поставить себя за особенную честь самое приглашеніе и пріемъ въ такое избранное общество, гдѣ, какъ само собою разумѣется, между прочимъ, шампанское постоянно лилось рѣкой.

Когда Андрей Степановичъ успокоился нѣсколько послѣ нанесеннаго ему казначейшей чувствительнаго оскорбленія и сталъ распоряжаться по предстоящему празднеству, то ему показалось какъ нельзя болѣе кстати, опредѣлить на это время въ дураки именно того хохла, который вздумалъ (дерзость неслыханная!) влюбиться первою любовью, какъ изъясняла казначейша, въ дочь его, Андрея Степановича. Онъ такъ восхитился этою мыслью, что, сидя одинъ передъ окномъ и глядя на прачекъ, полоскавшихъ подъ мостомъ, вскочилъ съ мѣста, шелкнулъ пальцами и громко захохоталъ. Человѣкъ, слуга то-есть, полагая, что баринъ ударилъ въ ладоши, вошелъ; но Андрей Степановичъ, оглянувшись и сказавъ: «ничего, дуракъ, не о тебѣ рѣчь идетъ»,

продолжалъ ходить съ трубкой по комнатѣ и радоваться, какъ ребенокъ своей находкѣ. Не говоря уже о томъ, что дуракъ прошлогодняго отъѣзжаго поля былъ слишкомъ вялъ и глупъ, оканчивая притомъ, иногда очень некстати, шутки свои тѣмъ, что съ утра нарѣзывался мертвецки-пьянымъ, почему и оказывался ни къ чему неспособнымъ. Андрей Степановичъ полагалъ также, что это будетъ однимъ изъ лучшихъ уроковъ для хохла, котораго онъ, мимоходомъ сказать, видно, умѣлъ хотя нѣсколько оцѣнить, предполагая, что тотъ не перенесетъ этого равнодушно и, какъ человѣкъ оскорбленный и опозоренный, унесетъ свою бѣдную голову куда-нибудь подальше отъ людей. Андрей Степановичъ свиснулъ, закричалъ: «Эй!» и хлопнулъ въ ладоши. Слуга вошелъ. «Позвать Дергалова!» Первый ловчій вошелъ. «Послушай,» сказалъ Андрей Степановичъ, улыбаясь и разставивъ обѣ ноги пошире, между тѣмъ какъ руки закинута были за спину, подъ сюртукъ: «послушай, знай и отдай потихоньку приказаніе: шуткомъ будетъ у насъ Кумаченко — знаешь; хохолъ этотъ, какъ его? — «Зваю-съ.» — «Ну, ступай, да смотри, одурачить его хорошенько — слышишь? Всѣ продѣлки съ нимъ выдѣлать.»

Кумаченко былъ дѣйствительно, по уму и сердцу, настоящій хохолъ: человѣкъ вовсе неглупый, даже довольно умный и разсудительный, но съ какою-то особою складкою ума, которая иногда клонилась къ чудачеству; ему также Богъ далъ на долю небольшой запасецъ замысловатости, подъ личиною простодушія, безъ чего ни одинъ малороссъ не можетъ жить на свѣтѣ, особенно между москалями; ча-

стицу лѣни, упорства, но притомъ доброе, теплое сердце, сочувствіе къ художествамъ и созерцательную наклонность; если его раздражали, что, по долготерпѣнію его, случалось рѣдко, то онъ не скоро забывалъ обиду и охотно мстилъ. Заѣхавъ на службу въ отдаленную русскую губернію, онъ было скоро обжился и свыкся со многими; но, по неопытности своей и наклонности сводить тѣсную дружбу при первой встрѣчѣ съ человѣкомъ, чѣмъ бы до причалу подержаться на шестахъ и опознаться, онъ уже нѣсколько разъ ожигался и все болѣе и болѣе склонялся къ одиночеству. Наружность и приемы его, въ сущности благообразные и приличные, несмотря на это, частенько возбуждали веселость зубоскаловъ, потому-что въ нихъ было что-то особенное; а южное произношеніе, при которомъ еще нѣдко вырывались отъ полноты души родныя выраженія радости, печали, удовольствія, гнѣва или ласки, довершали въ глазахъ многихъ чудачество Кумаченка.

Любовишка его длилась уже около года, и нравъ его вовсе не склоненъ былъ къ измѣнчивости и непостоянству. Такой человѣкъ, какъ Кумаченко, могъ бы скорѣе изнывать десять лѣтъ въ безнадежной страсти, чѣмъ отказаться отъ этого сиблаго выбора убѣжденіемъ и силою воли. Конечно, былъ онъ, по принятымъ свѣтскимъ понятіямъ, вовсе не чета Марѣ Андреевнѣ, ни она ему; но что же вы будете дѣлать съ упрямымъ хохломъ, который предается безотчетно влеченію своего причудливаго сердца?

Маша съ своей стороны была тутъ, конечно, также не безъ вины; Кумаченко былъ не дуракъ, и потому не влю-

бился бы очертя голову тамъ, гдѣ не нашелъ бы ни отвѣта, ни привѣта. Оставшись ребенкомъ сиротой, она провела десять лѣтъ до возмужалости своей въ одиночествѣ: отецъ былъ добръ къ ней, но крайне-беззаботенъ и безтолковъ, когда дѣло касалось воспитанія; мамамы разнаго вида, старыя, молодыя, плотныя, худощавыя, чередовались одна за другою и смѣнялись прежде, чѣмъ ребенокъ успѣвалъ сколько-нибудь привыкнуть къ нимъ. Сначала взята была женщина въ лѣтахъ, но она вскорѣ надоѣла Андрею Степановичу, и онъ взялъ гдѣ-то молодую, очень благовидную, съ которою въ первое время уживался хорошо, но по частымъ отсутствіямъ его отъ дома, вмѣшался кто-то посторонній, а какъ дружбы самъ-третей на свѣтѣ не бываетъ, то мамзель, исправлявшая должность мамамы, должна была съѣхать; поступила третья, также очень видная, выписанная за большія деньги изъ-за границы, но та сама покинула черезъ полгода честь и мѣсто, оставивъ въ домѣ, какъ гласилъ позорный временникъ, одну только память по себѣ: какую-то полновѣсную оплеуху. Такимъ образомъ бѣдная Маша переходила съ рукъ на руки, и будучи при живомъ отцѣ истинно-круглой сиротой, выросла, возмужала; грудь ея давно согрѣлась горячимъ и нѣжнымъ сердцемъ, а у ней не было никого, въ комъ она могла бы возбудить сочувствіе, не только любви, съ смысломъ тѣснымъ, но и въ общемъ: любви родственной и дружбы.

Случай сблизилъ ее разъ-другой съ Кумаченкомъ, который былъ простъ и привѣтливъ въ обращеніи, въ обществѣ веселъ, пѣлъ довольно чисто и пріятно и выказывалъ

всякому теплое чувство свое и какую-то обаятельную задушевность. Маша была побѣждена этимъ съ перваго раза; молодые люди поняли другъ друга безъ толмача, и вскорѣ Кумаченко бродилъ, не слыша подъ собою земли, и плакалъ и смѣялся по одной только Машѣ. Онъ понималъ, что этотъ кусъ не для его устъ, но отрѣшиться отъ нея не могъ и не хотѣлъ; то отчаянно надѣялся, то безнадежно отчаявался и, нанимая жилье у чувствительной казначейши, невольно проговорился ей, потомъ привыкъ бесѣдовать съ нею о блаженствѣ и бѣдствіи своемъ и наконецъ, сбившись вовсе съ толку и потерявъ всякое соображеніе, присталъ къ ней неотступно сватать за него Машу, съ тѣмъ-де, что пусть будетъ что Богу угодно. Мы видѣли, какъ она исполнила это порученіе: она и подумать не смѣла о томъ, чтобъ точно сватать дочь Андрея Степановича за хохла Кумаченка, но она избрала среднюю дорогу, явившись чѣмъ-то среднимъ между свахой и простой вѣстовщицей и притомъ сдержала данное Кумаченку слово увѣдомить Машу о порученіи друга ея.

Когда стали собираться на охоту, къ которой былъ приглашенъ и Кумаченко, какъ искони было обыкновеніе приглашать всякаго, кто считался охотникомъ, то хохолъ нашъ не хотѣлъ вовсе ѣхать, огорченный и разочарованный тѣмъ, что онъ называлъ неудачей, хотя всякій другой смѣялся этому сватовству и считалъ очевиднымъ, что тутъ никакой удачи и быть не могло. Но слухъ о распоряженіяхъ Андрея Степановича насчетъ пострижки хохла въ шуты уже распространился; молодежь перешенулась, за-

бѣгала и рѣшила, что Кумаченка надо везти на охоту во что бы ни стало, иначе все предположенное веселье рушится. Подослали чловѣка, который успѣлъ убѣдить Кумаченку разными доводами, что ему гораздо лучше будетъ ѣхать, особенно, чтобъ не подать повода къ сплетнямъ и пересудамъ о неудачномъ сватовствѣ, и всѣ напередъ уже потирали руки, хохотали до слезъ, воображая, какъ это будетъ весело и сколько предстоить имъ невинныхъ удовольствій. Наканунѣ отъѣзда зналъ объ этомъ весь городъ; ни въ одномъ домѣ не было инаго разговора, какъ о томъ, какъ будутъ дурачить Кумаченку, и всѣ барыни наказывали мужьямъ, братьямъ и пріятелямъ своимъ разсказать, по возвращеніи, во всей подробности, какъ и что происходило.

Мы сказали уже, что Кумаченко былъ таки порядочный чудакъ, да кромѣ того онъ былъ на охотѣ горячъ и опрометчивъ, почему и нисколько неудивительно, особенно при такихъ всеобщихъ усиліяхъ, что его дурачили на каждомъ шагу. Началось тѣмъ, что нашколенные люди Андрея Степановича успѣли украсть у него на-время ружье и вымазать саломъ, поэтому все утро перваго дня, между тѣмъ какъ повсюду раздавались выстрѣлы и зайцы сбивали стрѣлка нашего съ ногъ, онъ провелъ только въ бесполезныхъ проклятіяхъ на непонятныя вспышки и осыпки, прочищалъ, протравливалъ, разряжалъ и продувалъ ружье и снова не видалъ отъ него никакой службы, кромѣ вспышекъ и осычекъ, а затѣмъ, всеобщаго удовольствія своихъ товарищей.

За завтракомъ не обообразя онъ колкихъ насмѣшекъ и шуточекъ; но къ вечернему полю успѣлъ снова промыть и исправить свою фузею, такъ что по первому выстрѣлу убилъ зайца. Погорячившись затѣмъ и давъ нѣсколько промаховъ, онъ только что соображалъ, въ досадѣ своей, отчего бы это могло случиться и не *легчить* ли ружье его, не подбиты ли зайцы? — какъ вдругъ услужливый доѣзжачій Андрея Степановича подноситъ ему почтительно зайца, испрашивая позволенія второчить его на лошадь Кумаченка, которая стояла въ нѣкоторомъ разстояніи, подъ присмотромъ даннаго ему стремяннаго. «Это вашъ заяцъ, сударь,» сказалъ доѣзжачій, «вы изволили убить его, онъ упалъ вонъ тамъ, за кустикомъ.» Кумаченко поблагодарилъ и, разумѣется, былъ доволенъ удачей. Черезъ пять минутъ ему приносятъ другаго, а тамъ и третьяго зайца, и хотя это уже показалось Кумаченку нѣсколько сомнительнымъ, но чинный и почтительный видъ прислуги, ясныя доказательства ихъ, что эти зайцы точно убиты были имъ, а пуще всего обычное всякому охотнику самолюбіе и запальчивость заставляли Кумаченка смалчивать и соглашаться. Облава кончена; все общество, какъ-будто по уговору — а условный знакъ былъ поданъ черезъ рогъ — собралось сколо Кумаченка; надобно ѣхать дальше; подводятъ лошадей.... и на Кумаченкиной лошади второчено уже не три, а можетъ-быть, до тридцати зайцевъ; она черезъ силу несетъ на себѣ гору эту, и хозяину рѣшительно вѣтъ на сѣдлѣ мѣста. Это называется *обвѣшать* охотника и въ строгомъ смыслѣ употребительно тогда только, когда

горяченькій новичекъ, съ ружьемъ или съ собаками, начинаеть спорить за каждаго зайца, утверждая, что онъ его убилъ или что его собака зайца поймала. Какъ бы то ни было, а начало это было довольно тягостно для Кумаченка: онъ догадался по этой шуткѣ и всеобщему веселью, что его постригли въ дураки.

Только что тронулись къ слѣдующему острову и перешагали поле, какъ псарь подвернулся очень ловко къ Кумаченку, оставшему нѣсколько отъ шумной толпы, и, подмигивая, указывалъ въ сторону. «Что такое?» спросилъ тотъ. «Я проѣхалъ тутъ стороною,» отвѣчалъ псарь таинственно, «да заподозрѣлъ въ озеркѣ русака.... да какой матерой! Лежить да глядитъ на меня; я и подумалъ: пусть проѣдутъ господа, а это баринъ добрый, дастъ на водку, ему укажу.» Хохолъ мой схватилъ ружье съ плеча и отправился за псаремъ. «Вонъ, вонъ,» повторялъ тотъ, сгѣшавшись, ведя за собою Кумаченка и обходя русака на кругахъ: «вонъ лежитъ, уши прижалъ....» Еслибъ стрѣлокъ мой въ это время оглянулся, то онъ бы увидѣлъ, что все общество остановилось на возвышеніи, въ нетерпѣливомъ ожиданіи развязки; но какой же охотникъ отвѣдетъ въ такое мгновеніе глаза отъ дичи? Хохолъ приложился, убилъ русака, подхватилъ его и, оглянувшись, удивился только немного тому, что псаря уже не было: онъ за добра-ума убрался и во весь день не показывался на глаза Кумаченку, какъ это всегда водится въ подобныхъ случаяхъ. Толпа въ ту же минуту наскakала съ поздравленіями. Андрей Степановичъ, не подавая никакого

вида, смотрѣлъ на все съ высоты своего величія, сидя на лошади, но услужливые блюдолизы его тотчасъ же принялись ощупывать и осматривать матераго русака и нашли у него, къ крайнему изумленію Кумаченка, спрятанную въ одно ушко записочку, въ которой заяцъ извинился очень вѣжливо передъ нимъ въ томъ, что былъ убить часа за два передъ этимъ такимъ-то. Поздравленія еще усилились, и общее веселье и радость превзошли всякія предѣлы: записочка переходила изъ рукъ въ руки и была каждымъ прочитана снова вслухъ.

Но всего этого мало: повторяю, коли трое говорятъ, что ты пьянъ, то молчи, иди скорѣе и ложись спать; какъ кто ни вертись въ положеніи нашего бѣднаго хохла, а найтись и отклонить отъ себя всѣ подведенныя общимъ согласіемъ мины очень трудно; остается только не шутя разсердиться и разбранить всѣхъ. что впрочемъ, обыкновенно также выходитъ довольно глупо. Нечего дѣлать, Кумаченко рѣшился терпѣть, покуда станетъ терпѣнья, и отшучиваться, какъ Богъ на умъ положить. Поэтому въ этотъ и на слѣдующій день было еще много продѣлокъ съ нимъ, такъ что ему поистинѣ не давали ступить шагу безъ подготовленной къ общему удовольствію штуки, и потѣха была велика. Его подвели и заставили выстрѣлить также какъ по зайцу, по привязанному на деревѣ мертвому тетереву; убитыхъ имъ съ великимъ трудомъ пятерыхъ тетеревей подмѣнили, и подали вмѣсто того, къ общему смотру, пять лысухъ, причемъ восклицаніямъ изумленія не было конца и не могли надивиться, какимъ образомъ Кумаченко стрѣ-

ляетъ лысухъ въ бору, съ дерева; отдавали ему вечеромъ перваго дня, по общему приговору, почетъ, какъ увѣряли на охотничьихъ правилахъ, признавъ его, за три десятка убитыхъ имъ зайцевъ, царемъ охоты и постановивъ, чтобъ всякій говорилъ съ нимъ, держа шапку въ рукахъ и пр. Наконецъ, когда бѣднякъ сталъ уже очень остороженъ и шутки эти начинали ему крайне надоедать, выпустили противъ него изъ кустовъ живаго зайца, котораго онъ и убилъ и даже самъ второчилъ, но который, къ несчастью, оказался кошкой, зашитой въ заячью шкуру; по живучести своей, она, будучи привязана къ сѣдлу за заднія ноги, ожила, принялась парাপать лошадь передними лапами, а лошадь стала бить задомъ и передомъ, понесла, сбила сѣдока и изломала ружье его. Кошка эта, получившая названіе тумана, возвела удачнымъ притворствомъ своимъ всѣхъ на высшую степень удовольствія, и никто не помнилъ, чтобъ когда-нибудь было такъ весело; на слѣдующій же день, когда Кумаченко, обрадовавшись ломкѣ ружья своего, хотѣлъ отправиться домой, еще таки успѣли его удержать, потому-что комедія не была кончена. Ему подали извѣстное гостиное ружье Андрея Степановича, тульской работы, которое было сдѣлано на-заказъ, съ тѣмъ, чтобъ стрѣлокъ никогда не могъ попасть въ цѣль: оно было аршина полтора выше цѣли и вправо. Послѣ этого ужъ, конечно, не мудрено было, что Кумаченко, независимо отъ большаго или меньшаго искусства стрѣлять, въ продолженіе цѣлаго дня не убилъ ни одной штуки, и что, слѣдовательно, по заведенному обычаю, за обѣденнымъ столомъ въ чи-

стомъ полѣ ему поднесли, съ музыкой и торжествомъ, особенное, послѣднее блюдо: шапку, украшенную ослиными ушами.

— А, да чортъ бы васъ взялъ! сказалъ Кумаченко, выведенный изъ терпѣнья, и вскочилъ съ мѣста: — сами вы ослы, а на другихъ шапки надѣваете... Всѣ бросились ублажать и успокаивать его, потому-что такой исходъ дѣла могъ испортить всѣ шутки; но хохолъ нашъ, рѣшившись разъ высыпать обществу сердце свое, не поддавался уже ни на какія прельщенія, а отдѣлился отъ прочихъ и, когда всѣ сѣли на коней и поѣхали къ ночлегу, то онъ своротилъ въ сторону и поѣхалъ шагомъ домой, въ городъ.

Грустно, и скучно, и больно ему было, а Маша не выходила изъ ума. «Что,» подумалъ онъ, «еслибъ я теперь поѣхалъ не въ городъ, а на село къ этому мошеннику, къ Андрею Степаничу, да еслибъ мнѣ Богъ пособилъ увидаться, хоть только увидаться съ Машей... А что жъ? Безъ него не выгонятъ же меня; я могу даже придумать отъ него какое-нибудь порученіе; онъ проштатается еще недѣли двѣ по окружности и, вѣроятно, даже не узнаетъ, что я у него былъ...»

Кумаченко задумавшись крутою думою и сказавъ про себя: «Что жъ я буду дѣлать, коли я не могу ее забыть?» повернулъ лошадь прямѣйшимъ путемъ, черезъ поля и горы, на усадьбу Андрея Степановича, и пустилъ ее ходою, а тамъ и рысю. Поѣхавъ, черезъ часть, для передышки лошади, шагомъ, онъ запѣлъ свою пѣсню и пѣлъ ее до слезъ, а тамъ опять пустился рысю. Довольно поздно ве-

черомъ онъ вѣхалъ на широкій дворъ богатаго помѣщика и струсилъ до того, что готовъ былъ опять воротиться. Но собаки залаяли, люди вышли, онъ сошелъ съ коня, сказавъ, что Андрей Степаповичъ поручилъ ему провѣдать барышню на перепутьѣ. Хохлу повезло счастье: мамзель, исправляющая должность мадамы, была несовсѣмъ здорова, не одѣта, и потому не вышла; а не понимая по-русски, она и не знала ни слова о томъ, что происходило за нѣсколько дней между отцомъ Маши и чувствительною казначейшей; поэтому она выслала питомицу свою въ гостиную принять гостя.

Послѣ немногихъ словъ, гдѣ оба были не въ своей тарелкѣ, Кумаченко оглянувшись, замѣтилъ, что они одни, и вдругъ доискался языка:

— Сердце мое, Марья Андреевна, сказалъ онъ: — да долго ли жъ намъ такъ мучиться? Воля ваша, что хотите со мной дѣлайте, а я не вытерплю, не перенесу. Вамъ, можетъ статья, ничего; а я, ей-богу, вотъ пойду да и утоплюсь. Марья Андреевна, сердце мое, да скажите-же, хоть на прощанье, любите вы меня или нѣтъ?.... да скажите, сдѣлайте милость, одно слово.... О, коли любите, такъ развѣ жъ намъ можно такъ убивать себя? И за что? Боже мой! кому оно нужно все это добро?.... Богъ съ нимъ.... Слушайте, сердце мое, у меня есть свой маленький куточекъ: хатка на рѣчкѣ, садъ... а вишень, вишень что! хатки и не видно снизу, только съ горы, вся закутана въ яблоняхъ, грушахъ, вишняхъ, черешняхъ.... душечка, Марья Андреевна, сдѣлайте жъ милость, поѣдемъ

туда.... Богъ съ нимъ, съ этимъ богатствомъ; поѣдемъ, Марья Андреевна, сердце мое, а ну? поѣдемъ... поѣдемъ?...

Словомъ, неотвязчивый Кумаченко, сдѣлавъ нападеніе это врасплохъ, не отсталъ отъ дрожащей, блѣдной дѣвицы, покуда не вымозжилъ изъ нея какой-то звукъ согласія; по-крайней мѣрѣ такъ ему показалось, онъ былъ въ томъ увѣренъ, и потому тотчасъ-же простился, съ восхитительными восклицаніями, которыя умѣрялись однимъ только страхомъ осторожности. Слѣдующій вечеръ въ девять часовъ, назначилъ онъ для вторичнаго свиданія, объявивъ, что будетъ у нижней калиточки сада; и не дождавшись никакого отвѣта, который Маша и не была въ состояніи произнести, поцѣловалъ ручку ея и скрылся.

Сѣвъ на лошадь, онъ забылъ, что она уже съ утра подъ сѣдломъ; къ полуночи былъ онъ дома. Онъ пытался дорогою нѣсколько разъ затянуть веселую пѣсню, пускалъ даже для этого коня своего вскачь, потому что рысью выходила одна икотка, но нашелъ и это неудобнымъ и ѣхалъ впотѣмахъ молча; рысью, во всѣ лопатки. На другой вечеръ, въ исходѣ девятаго, онъ подѣхалъ въ коляскѣ, низомъ по рѣчкѣ, до небольшого лѣсочка подъ усадьбой Андрея Степановича; тутъ коляска, четвернею въ рядъ, остановилась, а сѣдокъ пошелъ пѣшкомъ до извѣстной калиточки; она была растворена настежь, какъ обыкновенно, а въ огромномъ саду все тихо и пусто. Воръ постоялъ, послушалъ, заглянулъ осторожно туда и сюда и прокрался подъ стѣной до главной, средней прѣсади. И тутъ просто-ялъ онъ нѣсколько минутъ, притаившись за толстой бере-

зой и усиленно прорѣзывая потѣмы взорами, какъ увидѣлъ вдали что-то живое на этой дорожкѣ. Сердце его забилося такъ, что онъ быстро оглянулся кругомъ, не услышитъ ли кто. Тѣнь медленно приближалась, остановилась еще вдалекѣ и повернула опять назадъ. «Боже мой!» вскричалъ хохолъ забывшись и протянувъ обѣ руки, и тѣнь остановилась. Онъ выбѣжалъ и подхватилъ ее, и тутъ счастье не измѣнило ему, видно ужъ на то пошло: это была Маша, а вокругъ нея никого. Она не помнила, какъ ее вывели изъ сада, свели поспѣшно по тропинкѣ въ лѣсокъ, посадили въ коляску и помчали. Приходя въ себя, она дѣлалась нѣсколько разъ крайне безпокойною, вырывалась изъ рукъ, но, успокоенная ласками жениха своего, падала опять въ изнеможеніи въ объятія его. Верстахъ въ пятнадцати была приготовлена подстава; тутъ распоряжался слуга Кумаченка, Ахвтанасій, (такъ онъ называлъ себя, не желая назваться, по домашнему, Панасомъ); далѣе прискакали въ село, гдѣ нашли двухъ или трехъ пріятелей Кумаченка, ожидавшихъ развязку этого дѣла съ большимъ нетерпѣніемъ. «Вотъ она, моя зозуленька!» сказалъ Кумаченко, обращаясь къ нимъ и указывая на Машу, которую велъ подѣруки, «да и вамъ спасибо; на свѣтъ-таки не безъ добрыхъ людей.»

Чету тотчасъ обвѣнчали. Какъ это могло случиться — не спрашивайте; видно, такъ же какъ случается иногда, или случилось. Андрею Степановичу, въ одно время, дали знать съ усадьбы, что дочь пропала безъ вѣсти, а изъ города, что Кумаченко, недумаянно-негаданно, высваталъ за-

видную невесту и уже обвѣнчанъ, а на дняхъ ѣдетъ въ Малороссію. Бѣшенство Андрея Степановича ни къ чему не повело; года въ полтора онъ уходился, разсудилъ, что у него дочь однимъ-одна и что родовое имѣніе рукъ ея не минуетъ, а потому и помирился. Маша, въ новомъ положеніи своемъ, опомнилась и пришла въ себя почти также не прежде этого срока; она не понимала, какъ могло все это надъ нею случиться, тогда какъ ей казалось—ни воли ея, ни рѣшимости и согласія на это не было. Кумаченко часто поминалъ отъѣзжее поле, на которомъ его постригли въ дураки, и говаривалъ: «Дай Боже здоровья умнымъ людямъ, что изъ дурака сдѣлали человѣка: не будь тогда этого случая, сидѣлъ бы я о-сю-пору въ дуракахъ!»



VII.

ЧЕТЫРЕ БРАКА И ОДИНЪ РАЗВОДЪ.

Въ Бухарестѣ жилъ первостатейный бояринъ — полонимъ, Помеско. Съ той поры, какъ общественные обычаи тамъ онѣмечились и офранцузились, у старика въ домѣ произошло много переворотовъ, которыхъ онъ не могъ осилить, сколько ни спорилъ, ни сердился: противъ вѣтра не надуешься. Если и справедливо, что борода — трава и что ее скосить можно безъ вреда головѣ, то вмѣстѣ съ бородой нерѣдко скашивается такъ много такого, чего бы косить не должно. Изъ опыта извѣстно, что поспѣшная перемѣна чужихъ нравовъ и обычаевъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ неминуемое глубокое презрѣніе своего роднаго быта, всегда влечетъ за собою растлѣніе нравовъ, или, что одно и то же — безнравственность. Это испытала, въ свое время, и та страна, о которой мы теперь говоримъ. Торопись учиться, а не торопись перенимать.

Увлекаемый общимъ стремленіемъ къ просвѣщенію, ста-

словахъ подразумѣвалосьъ еще недосказанное, непріятное словечко: *младшій*. Воркуновъ выждалъ свое время, выхватилъ изъ корзинки подъ креслами и пустилъ, какъ изъ мортиры, одинъ снарядъ, другой, третій; и достигнувъ наконецъ предѣловъ своихъ томительныхъ желаній, болѣзненныхъ порывовъ и страстнаго влеченія, струсилъ безъ мѣры и поспѣшилъ выбраться, подъ-шумокъ, изъ рядовъ креселъ.... Тамъ, въ переходахъ, онъ перевелъ духъ, прислушивался трепетно къ неистовому реву и вызовамъ; но, услышавъ еще разъ волшебное имя, отъ котораго всѣ жилки и поджилки его приходили въ трепетъ, онъ снова ворвался въ театръ, прокричалъ громогласно заветное имя это, которое онъ произнесъ вслухъ, при другихъ людяхъ, едва-ли не впервые въ жизни своей, и, завернувшись въ плащъ, вышелъ и мѣрными шагами отправился домой.

Трудно было найти въ это время человѣка счастливѣе и довольнѣе собой, чѣмъ Воркуновъ; ему казалось, что онъ теперь свершилъ назначеніе свое въ этомъ мірѣ и могъ спокойно умереть. Утомленіе его отъ этого подвига было такъ велико, что, упавъ дома на одинокую, шаткую кровать свою, не зажигая даже и свѣчи, онъ пролежалъ еще часа два или три въ какомъ-то разслабленномъ болѣзненнымъ состояніи, между тѣмъ какъ волненіе крови не давало ему уснуть. Безсознательныя грезы сна сливались съ мечтательными грезами дѣйствительности, полузабытые утомленія — съ безчувствіемъ сна, и въ девять часовъ утра, блаженный Воркуновъ, лежалъ еще полуодѣтый, на своей постели; кроткая улыбка процвѣтала на устахъ его, между

тѣмъ какъ одолѣвшій его подъ утро крѣпкій и тяжелый сонъ сковалъ всѣ члены его, какъ насланная спячка.

Нѣсколько повторительныхъ ударовъ въ дверь остались безъ послѣдствій, стукъ повторился сильнѣе, — Воркуновъ ничего не слышитъ. Кто-то отошелъ отъ дверей, вызвалъ дворника, началъ спорить съ нимъ, увѣряя, что Воркунова нѣтъ дома, тогда какъ тотъ утверждалъ, что выпустилъ его около полуночи и что постоялецъ послѣ того не выходилъ со двора; оба вмѣстѣ отправились къ дверямъ его; дворникъ принялся стучать по-своему, поосновательнѣе, и Воркуновъ, которому снилось, будто весь театръ надъ нимъ обрушился, вскочилъ въ испугѣ и безпамятствѣ и нѣсколько минутъ не могъ опомниться. Понявъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, онъ поспѣшилъ отворить дверь — и предъ нимъ стоялъ помощникъ экзекутора.

Разстроенный видъ чиновника, который ужъ три дня не являлся въ департаментъ и стоялъ теперь растрепанный и полуодѣтый, ровно спохмѣлая, и глядѣлъ въ недоумѣніи на незваного гостя, между-тѣмъ какъ этотъ столько времени безуспѣшно стучался у дверей, — все это лишило нечаянное свиданіе двухъ короткихъ знакомцевъ всякой пріятности. Сухο освѣдомился одинъ, по приказанію начальства, о причинѣ неприбытія къ должности другаго; а другою, такъ же сухо, но съ видимымъ замѣшательствомъ отвѣчалъ: «по приключившейся мнѣ болѣзни». Оба какъ-то невольно оглянулись въ комнатѣ, и разбросанные, въ безпорядкѣ по окнамъ, столу, стульямъ и полу остатки щегольского убранства Воркунова, а также обрѣзки стеблей цвѣ-

точныхъ и листьевъ — все это еще болѣе поразило странностью своею одного и озадачило другаго. «Сегодня будете?» спросилъ помощникъ экзекутора. — «Да, буду», отвѣчалъ помощникъ столначальника, «мнѣ сегодня получше». Первый повернулся и вышелъ, безъ поклона, а подумавъ только: «пьянъ, не пьянъ, а видно только что проспался, или спятилъ съ ума».

«Этотъ подлый народъ», проворчалъ про-себя Воркуновъ, оставшись одинъ, «подлѣйшее племя! Бумагу ѣсть, перья ѣсть, чернила ѣсть, сургучъ ѣсть, песокъ ѣсть.... а все ему мало; еще-таки и награжденіе получаютъ на ряду съ нашимъ братомъ, голякомъ, изъ остаточныхъ суммъ... А каково нашъ братъ, голякъ, вчера отличился?... О ты, божество, Пери неземная.... райская птичка!....»

Вотъ что было въ декабрѣ; а въ первыхъ числахъ мая, послѣ того какъ ледъ на Невѣ взломало, мутныя канавы прочистились и тусклое солнце только-что стало пригрѣвать аристократическую половину Невскаго проспекта, все это внезапно приняло совсѣмъ иной видъ. Судьба всего прекраснаго — смерть; а судьба смерти — выходить на покость, по-крайней-мѣрѣ тамъ, гдѣ повѣсть наша совершилась, весной, между срокомъ вскрытія рѣкъ и одеждой деревьевъ зеленыю. И въ это-то время внезапно разнеслась молва, что прекрасная Пери, которой подобныхъ и не бывало на нашихъ театральныхъ помостахъ, невозвратно вянетъ, догораетъ, какъ едва тлѣющійся подъ пепломъ уголёкъ.

Страданія бѣднаго Воркунова при этой неожиданной вѣсти.

которая составляла повсемѣстный предметъ бесѣды каждаго двухъ или трехъ человѣкъ, столкнувшихся на улицѣ, страданія его были невыразимы; они тѣмъ болѣе угнетали и подавляли его, что онъ долженъ былъ молчать, подавить все, что въ немъ происходило, ходить скрѣпя сердце, стиснувъ зубы, и развѣ только прислушиваться къ тому, что говорятъ другіе.... Въ его положеніи и, сверхъ того, еще при наслѣдственной и благопріобрѣтенной робости, ничего болѣе не оставалось, хотя томленіе это грозило душѣ и тѣлу изнеможеніемъ....

Какой это, бывало, праздникъ для бѣднаго Воркунова, когда онъ только увидитъ имя ея на афишкѣ! Какъ у него бьется при этомъ сердце! Какихъ трудовъ, заботъ и хлопотъ стоило ему иногда добиться билета въ театръ, тогда какъ народъ ломился туда, сбивая съ ногъ другъ друга, притискивая переднихъ счастливыхъ плашмя къ стѣнѣ и не обращая никакого вниманія на мазуриковъ, которые въ это роковое время смѣло очищали карманы! Какихъ лишений стоилъ каждый билетъ, каждый рубль, который онъ отымалъ отъ насущнаго пропитанія своего и съ восторгомъ относилъ, какъ лепту свою, какъ приношеніе идолу, предъ которымъ благоговѣлъ, въ кассу театра! Съ какимъ боязливымъ ожиданіемъ ставалъ онъ по цѣлымъ часамъ впотѣмахъ, на холоду, въ ненастную погоду, у того подъѣзда, гдѣ она должна была соскочить съ лежащихъ рессоръ и впорхнуть въ храмъ свой.... только увидѣть ее мелькомъ, даже только почувствовать неизъяснимымъ чувствомъ близость ея — болѣе онъ не хотѣлъ ничего, а уходилъ послѣ

домой и засыпалъ въ блаженныхъ грезахъ, а на другой день смотрѣлъ на всѣхъ товарищей и сослуживцевъ своихъ въ департаментѣ, какъ на жалкихъ челоѣкотварей, которымъ не дано дарованнаго ему небомъ блаженства.... И никто, никто въ мѣрѣ не догадывался, не подозрѣвалъ даже ничего подобнаго въ Воркуновѣ, а всѣ, въ ослѣпленіи своемъ, привыкли считать его просто чудакомъ, который, по крайнему чудачеству своему и безтолочи, иногда стоитъ на границѣ къ малоумію....

Однажды слухъ о какомъ-то великолѣпномъ драгоценномъ алмазномъ ожерельѣ съ изумрудами, поднесенномъ этой Пери, заставилъ Воркунова крѣпко призадуматься. «Что», подумалъ онъ, «кабы я былъ миллионщикъ и пошелъ бы къ первому брильянтику и выбралъ бы самую дорогую вещь, во сто, въ триста тысячъ, и вынулъ бы деньги изъ кармана, и отсчиталъ бы ихъ ему, и явился бы съ этою вещью.... тсъ!... не говори: страшно! Тогда бы ужъ не было тайны, тогда бы всѣ объ этомъ узнали; такой вещи утаить нельзя; тогда бы вся столица съѣхалась смотрѣть на это и спрашивала бы: «отъ кого это? кто это приподнесъ?» — «Губернскій секретарь Воркуновъ.» — «Какой Воркуновъ? гдѣ онъ? что онъ?» Пальцами стали бы тогда указывать.... А мнѣ что? пожалуй, тогда указывай; тогда бы, можетъ-статься, и мы бы не тѣмъ голосомъ хрюкали, какъ теперь....»

Подумавъ это, Воркуновъ, какъ стоялъ на ногахъ передъ окномъ своимъ, повернулся къ столику, вынулъ изъ ящика рублей тридцать ассигнаціями да около цѣлковаго

мелочью, положилъ все это въ карманъ, застегнулся, взялъ шляпу и вышелъ. Пройдя разъ другой по Невскому и заглядывая въ окна, украшенные звѣздами, поручнями и подвѣсками, онъ, наконецъ, рѣшился и зашелъ въ одинъ изъ первыхъ магазиновъ золотыхъ дѣлъ. Онъ объявилъ, впрочемъ, честно, при самомъ входѣ, что ничего не купить и просилъ только позволенія взглянуть на разложенныя вещи. Онъ разсматривалъ ихъ съ такимъ вниманіемъ, какъ очинку пера, изготовляемого для расписки заглавнаго листка годовому отчету: потому, замѣтимъ, что заглавный листъ этотъ всегда писался Воркуновымъ, какъ человѣкомъ со вкусомъ и съ сочувствіемъ къ изящному. Онъ былъ очень углубленъ въ созерцаніе разсыпаннаго передъ нимъ, подъ стеклами, богатства, не обращая никакого вниманія на посторонняго человѣка, который хлопоталъ о какомъ-то невзрачномъ колечкѣ, какъ вошедшій въ лавку третій посетитель поздоровался съ первымъ и сказалъ: «Слышали? скончалась», и назвалъ именно ту, которую тогда оплакала вся столица.... «Неужели?» спросилъ первый, «вѣтъ, я только слышалъ, что она безнадежна». — «Да», продолжалъ тотъ, «skonчалась, бѣдная, сегодня утромъ. Какая потеря! Что это было за милое созданье, что за изящное творенье — и какая художница! Послѣ-завтра, въ полдень, похороны. Я думаю, вся столица будетъ толпиться въ церкви и на Смоленскомъ....»

Воркуновъ остолбенѣлъ и съ трудомъ дошелъ домой. Ночь, проведенная въ бессонницѣ и горячкѣ, освѣтилась для него зарею убѣжденія, что такъ лучше, что этому

иначе и быть не должно, что люди недостойны ея и что теперь, теперь только онъ можетъ любить ее безкорыстно, какъ безплотнаго духа, какъ истинную Перу лучшаго міра. Онъ собрался съ силами и пошелъ въ должность, не желая, при этомъ мягкомъ расположеніи души своей, быть виновникомъ косоглазія Степана Ивановича и намѣреваясь очурнуться и увильнуть отъ должности послѣ-завтра въ послѣдній разъ, хотя занятія эти угнетали и томили его донельзя.

День похоронъ пришелъ, и какъ нарочно, Степанъ Ивановичъ былъ въ этотъ день необыкновенно придирчивъ и все брюзжалъ. Несмотря на истинно отчаянное положеніе свое, смиренный Воркуновъ пришелъ, однакожъ, въ должность, съ намѣреніемъ не раздражать на этотъ разъ никого самовольною отлучкою, а отпроситься честно, по очень нужному дѣлу, около часа, потому-что похороны, какъ онъ узналъ, назначены къ двумъ часамъ. Несмотря на всѣ старанія бѣднаго Воркунова, обстоятельства его сложились такъ дурно, что онъ могъ, наконецъ, и то съ великимъ трудомъ, окончить дѣло свое и отпроситься въ исходѣ втораго. Опасеніе опоздать еще болѣе разстроило бѣдняка, и онъ поскакалъ на извожикѣ во весь духъ къ извѣстной церкви. Издали увидѣлъ онъ уже толпу народа, безконечный поѣздъ каретъ; соскочивъ, спросилъ онъ кого-то: «Что, кончено?» — «Да, ужь отпѣли», отвѣчалъ тотъ; «вотъ, только что тронулся поѣздъ».

Воркуновъ зарыдалъ, закрылъ лицо платкомъ и поспѣшилъ догнать гробъ, за которымъ шло нѣсколько человѣкъ ближнихъ родныхъ покойницы и, между прочимъ, женщина

уже въ лѣтахъ, которую вели подъ руки: вѣроятно, мать, о которой доселѣ никто не зналъ и не слышалъ. Воркуновъ былъ истинно въ отчаянномъ положеніи, почти въ какомъ-то иступленіи: все, что столько времени переполняло душу его, что сосредоточивалось въ самой глубинѣ его сердца, пожирая его внутреннимъ, черезилу сдержаннымъ, пламенемъ — все это теперь прорвалось наружу. И, скажемъ прямо, каково было расположеніе бѣднаго Воркунова, настроеніе духа его: отдавъ своей Пери-хранительницѣ послѣдній долгъ и память, онъ рѣшился кончить и развязаться съ этимъ ненавистнымъ свѣтомъ, перенестись туда, гдѣ она встрѣтитъ его своею ангельской улыбкой....

«Ненавистенъ холодный, себялюбивый міръ этотъ», думалъ несчастный, идя съ поникшею главою за гробомъ, «безотрадна жизнь моя: Степанъ Ивановичъ....» Но онъ старался устранить отъ себя неумѣстную въ такое время и при такихъ обстоятельствахъ мысль объ этомъ докучливомъ человѣкѣ, окинувъ его мысленно презрительнымъ и сострадательнымъ взоромъ съ высоты своего настоящаго величія. «Никто не подозрѣваетъ, что теперь во мнѣ происходитъ; никто не знаетъ, что здѣсь, за оборванными лепестками этой розы, идетъ не человѣкъ, а только трупъ его, также одни только бранные останки, которые движутся теперь въ послѣдній разъ еще сами собой, сохраняя подобіе человѣческое; но скоро, скоро и этого не будетъ; мгновенія земнаго бытія его сочтены.... только одинъ разъ еще взглянуть на нее и проститься; а тамъ — простите, лечу на радостную встрѣчу — душа моя ликуетъ»...


И въ самомъ дѣлѣ, никто изъ ближнихъ, шедшихъ за гробомъ, не зналъ и не подозрѣвалъ не только замысловъ этого человѣка, но даже не зналъ его самого, ни тайственныхъ отношеній его къ покойной. И не до того имъ, признаться, было, во время проводовъ до кладбища, чтобъ заботиться о незнакомомъ, который, повидимому, принималъ такое живое, родственное участіе въ общемъ горѣ ихъ. У насъ смерть уравниваетъ всѣхъ, и гробъ покойника доступенъ всякому одинаково....

На кладбищѣ, въ церкви, бѣдному Воркунову сдѣлалось дурно, дыханіе сперлось, въ глазахъ позеленѣло, въ ушахъ зашумѣло. Онъ цѣлыя сутки былъ на ногахъ, ночью не закрывалъ глазъ, утромъ съ непомѣрнымъ усиліемъ писалъ какія-то, чрезвычайно пошлыя, въ его положеніи, бумажонки, между тѣмъ ненависть къ жизни достигла въ немъ высшей точки своей — близость гроба, въ которомъ были преданы тлѣнію лепестки райской розы его, плачъ родныхъ, торжественность обряда и — скажемъ и то — тощій желудокъ, въ которомъ цѣлыя сутки не было ничего, кромѣ нѣсколькихъ глотковъ воды—все это вмѣстѣ осилило плоть, и она временно изнемогла. Нашлись добрые люди, которые и тутъ не покинули чуженина, а позаботились около него; теперь только стали спрашивать: кто это? Но никто его не зналъ, никто не могъ назвать.

Между тѣмъ, обрядъ продолжался своимъ порядкомъ, и когда Воркуновъ пришелъ въ себя и опомнился, то съ трудомъ протѣснился сквозь толпу, обступившую открытую могилу: только-что хотѣли опускать гробъ и могильщики

уже успѣли разсмотрѣть назначенный для этого холстъ и перемигнуться, въ знакъ одобренія его качества, внѣ себя Воркуновъ бросился на гробъ и умолялъ неотступно дать ему проститься; онъ судорожно обвилъ руки свои вокругъ домовины и готовъ былъ, вмѣстѣ съ нею, броситься въ могилу.... Такая привязанность тронула всѣхъ, хотя и никто не зналъ ее источника, и, по ходатайству присутствовавшихъ, гробъ былъ вскрытъ.... Воркуновъ бросился внѣ себя, чтобъ въ первый и въ послѣдній разъ въ жизни своей приложиться къ этой драгоценной для него скудѣли и....

....и напоролся, неосторожно, на шпиль, стоячій воротникъ одного очень почтеннаго и заслуженнаго чиновника, за гробомъ котораго онъ шелъ отъ самаго города и до кладбища. Бѣдный Воркуновъ до того былъ пораженъ этимъ неожиданнымъ превращеніемъ, что даже не въ силахъ былъ выказать своего изумленія. Похороны кончились очень спокойно, послѣ того какъ неизвѣстнаго чиновника приподняли подъ руки и отвели въ сторону. Даже друзья и ближніе покойника рассказывали, въ доказательство благородства сердца его, какъ, облагодѣтельствованный имъ, никому неизвѣстный человѣкъ отъ избытка признательности своей едва не закопался, вмѣстѣ съ гробомъ покойнаго, въ могилу. Воркуновъ, съ своей стороны, нѣсколько дней не могъ опомниться отъ изумленія и былъ до того пораженъ и озадаченъ, что даже позабылъ о рѣшимости своей поднять на себя руку.



ІХ.

БРАТЕЦЪ И СЕСТРИЦА.

— Вотъ, другъ мой, Боринька, дожили мы съ тобой, по милости Божіей, и до этой радости: Наташа будетъ на этой недѣлѣ, вотъ и письмо Анны Матвеевны!

— Ну, слава Богу!— отвѣчалъ зять старушки, который только-что возвратился со службы и, мимоходомъ, отправилъ изъ передней и залы двухъ гонцовъ на кухню, чтобъ скорѣе подавали кушать. — Что же еще пишетъ Анна Матвеевна, или сама Наташа?

— И та пишетъ, и другая. Вотъ, прочитай! Хвалить голубицу нашу, другъ мой, вчужѣ радуется нашему счастью. Въ субботу выѣзжаютъ: ты знаешь, Анна Матвеевна, по-старинному, держится легкихъ дней; а, право, ужъ нѣтъ дня легче субботы. Вотъ, другъ мой,—продолжала она:—и новыя заботы въ домъ; дочь у тебя заневѣстилась: надо будетъ ее и въ люди показать, надо будетъ и у себя принимать хорошихъ людей. Оберегай ее, какъ отецъ, да

втихомолку пріискивай ей ровнюшку.... вотъ, напримѣръ, какъ Илья Степанычъ....

— И, матушка,—перебилъ ее зять,—успѣемъ. Что это, еще и въ домѣ невѣсты нѣтъ, а вы жениховъ накликаете.

И, поцѣловавъ руку у старушки, Борисъ Михайловичъ опять оглянувшись, услышавъ шаги человѣка въ столовой, сказалъ:

— А что жь кушать, скоро ли?

— Подано,—отвѣчалъ молодой человѣкъ, войдя въ комнату и поздоровавшись съ хозяевами, назвавъ одного батюшкой, а другую бабушкой и поцѣловалъ у нея руку.

— А, это ты, Никандръ, а вотъ мы въ радости сегодня: Наташа ѣдетъ!

Разговоръ, все о томъ же предметѣ, сдѣлался общимъ и мирное семейство, состоявшее изъ трехъ членовъ и ожидавшее съ такимъ нетерпѣніемъ четвертаго, пошло къ столу.

Борисъ Михайловичъ, человѣкъ почтенный и уважаемый всѣми въ томъ губернскомъ городѣ, гдѣ они жили, занималъ давно уже одну изъ высшихъ губернскихъ должностей; онъ былъ вдовъ, а Марья Аонасеевна, теща его, осталась при немъ, по старой привычкѣ и изъ любви къ дѣтямъ. Впрочемъ, старушкѣ бы почти и некуда было приткнуться, потому-что у нея была однимъ-одна дочь. Борисъ Михайловичъ жилъ одной службой, хотя у старушки и было довольно хорошее имѣнье: она за дочерью не отдала ничего, сказавъ: «коли, дастъ Богъ, переживею меня, то все ваше будетъ; а до того времени я вамъ ка-

няться не хочу; будемъ жить вмѣстѣ, такъ и мои доходы пойдутъ въ ваше хозяйство, а разѣдемся врознь, такъ мое, покуда, при мнѣ».

Но они врознь не разѣзжались, а жили совѣтно и любовно до самой смерти жены Бориса Михайловича, которая скончалась уже лѣтъ десять назадъ. Осталась дочь, Наташа, ребенокъ лѣтъ семи, да сводный братъ ея, Никандръ, сирота, взятый въ домъ по смерти родителей его. Ему было при кончинѣ супруги Бориса Михайловича лѣтъ пятнадцать; о немъ заботились, какъ о сынѣ; а такъ какъ онъ показывалъ хорошія способности и особенную охоту къ рисованію и черченію, то его и пристроили въ академію художествъ, откуда онъ возвратился чрезъ нѣсколько лѣтъ, опредѣлившись губернскимъ архитекторомъ въ тотъ самый городъ, гдѣ жили названные родители его.

Между тѣмъ и Наташа подросла: она была на рукахъ у бабушки, но и Борисъ Михайловичъ не спускалъ съ нея глазъ. Надобно было подумать о такъ называемомъ воспитаніи ея, то-есть о приданіи уму ея свѣтской гибкости, условнаго приличія и общепризнанныхъ за необходимое поверхностныхъ свѣдѣній, а также наружности ея того французскаго лоска, для котораго теперь, можетъ быть, и самое названіе *французскаго* покажется неумѣстнымъ, потому что онъ принять всюду, гдѣ общество называется благовоспитаннымъ и образованнымъ. Для этого, послѣ долгихъ разсужденій, отправили, наконецъ, Наташу къ зажиточной теткѣ въ сосѣдній губернскій городъ. У тетки этой было на рукахъ три дочери и для нихъ нарочно была выписана,

за дорогую цѣну, петербургская гувернантка; тетка писала объ этомъ Борису Михайловичу и убѣждала доверять ей хотя года на три-четыре, воспитаніе Наташи, которая такимъ образомъ и провела время это и заневѣстилась въ отеческаго дома. Бабушка долго не рѣшалась разстаться съ внучкой своей, говоря, что она для нея только и живетъ теперь на свѣтѣ, но Борисъ Михайловичъ, будучи вообще доволенъ простымъ, благоразумнымъ и естественнымъ обращеніемъ бабушки съ внучкой, никакъ не могъ, однакожъ, назвать это *воспитаніемъ* въ томъ смыслѣ, какой придется у насъ этому слову, не находилъ такою удобнымъ пополнить недостающее губернскими средствами, а потому и убѣдилъ старушку воспользоваться предложеніемъ тетки, тѣмъ болѣе, что разстояніе было невелико и что разъ или два въ годъ можно было Наташу навѣщать.

Только что семья наша сѣла было за столъ, какъ загроможденная поклажей коляска вдругъ подкатила къ подъѣзду и всѣ вскочили, узнавъ прокуроршу, которая ѣздила въ сосѣдній губернскій городъ и, по обѣщанію своему, привезла Наташу. Братецъ ея, губернскій архитекторъ, встрѣтилъ ее и обнявъ первый, передалъ съ рукъ на руки отцу, а этотъ бабушкѣ. Прокурорша, объяснивъ случайныя причины этого досрочнаго прибытія, расцѣловала бабушку и, отказавшись даже присѣсть, отправилась въ коляскѣ домой.

Итакъ, Наташа, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, была опять дома. Времени прошло немного, но какъ все въ глазахъ ея измѣнилось! Немудрено: дѣвушка двѣнадцати и

шестнадцати лѣтъ это—не одна и та же особа, не одинъ и тотъ же человѣкъ: это разъединившаяся двойчатка, изъ которой одна половина ушла назадъ, въ потѣмки прошедшаго, и уходитъ все дальше и дальше, а другая выступила впередъ и, опознаваясь исподволь на новой мѣстности своей, постепенно идетъ смѣлѣе и смѣлѣе впередъ.... Кукла болѣе походитъ на младенца, чѣмъ дѣвочка на дѣвицу!

Наташа бѣгло перескакивала мыслями и языкомъ съ одного предмета на другой, съ другаго на третій и пятый,—столько ежеминутно раждалось въ ней ясныхъ и неясныхъ воспоминаній, столько было вопросовъ, разпросовъ и развѣдываній, а между тѣмъ рѣдко доставало ей терпѣнія выслушать до конца мѣрный отвѣтъ отца, чинный разсказъ бабушки или подробныя объясненія брата; Наташа кидалась на другое и сама бѣгала изъ покоя въ покой, по всему дому, желая навѣстить каждый знакомый уголокъ: и шкапъ съ перильцами наверху и съ мѣдными шарами по угламъ, и тагильскій большой сундукъ, синій съ алыми цвѣтами, окованный желѣзомъ, и горку въ углу, съ фарфоровыми сборными чашками, подарками отцу, покойной матери и бабушкѣ въ дни именинъ и рожденій—все это были старинныя знакомые и пріатели Наташи, надъ которыми она готова была отъ радости и плакать, и смѣяться. Домъ Бориса Михайловича ожилъ и просвѣтлѣлъ съ того мгновенія, какъ Наташа въ него вступила.

Взрослый ребенокъ этотъ, какъ было уже однажды сказано о другомъ, подобномъ ему существѣ, соединялъ въ себѣ, такъ сказать, обѣ природы родителей своихъ, пред-

ставляя олицетвореніе этого союза. Хотя Наташѣ и было всего только семнадцатый годъ и она даже, по живости своей, казалась еще моложе, не менѣе того во всемъ существѣ ея проявлялась какая-то страстная преданность — основаніе женственности, и въ то же время независимая сила и самостоятельность отца. Эту смѣсь силы и кротости, принужденіе и насилие не могли себѣ подчинить; они только возмущали дѣвственную душу, поселяя въ ней одно исключительное чувство — негодованіе; но зато разумное убѣжденіе, а еще болѣе простая, убѣдительная просьба порабощали ее безусловно. Такимъ-образомъ слабость ея заключалась именно въ этой безсознательной силѣ, которая легко и безусловно покорялась кротости и ласкѣ, будучи затѣмъ готова на безусловное самопожертвованіе, чтобъ только отомолить вынужденный природою вещей проступокъ. Стоило только выказать какой-либо доблестный поступокъ или заставить Наташу быть вольнымъ или невольнымъ поводомъ какого-либо оскорбленія, и герой ея, или притѣсненный, получали, такъ-сказать, надъ нею полную власть: уваженіе, раскаяніе и состраданіе одинаково овладѣвали благородною преданностью ея и подчиняли ее постороннему вліянію.

Все выказывало въ ней природу, которая чувствовала силу и свѣжесть свою, не зная ни гордости, ни тщеславія. Обиліе жизненности вещественной и духовной сдерживалось ею только съ трудомъ въ предѣлахъ условнаго приличія, и даже глаза ея были лучисты; но эта могучесть жизни, будто сама передъ собою краснѣя, облекалась ласкою, нѣгою и

кротостью. Если изъ груди ея вырывалось повременамъ звучное междометіе, или она сама себя ловила съ поличнымъ, опомнившись при какомъ-нибудь, быстромъ, рѣшительномъ движеніи, то она вдругъ останавливалась, какъ тронутая волшебнымъ жезломъ, и не знала куда дѣваться съ кипучею молодостью. Эта мнительность и осторожность, тщательно подавлявшая на каждомъ шагѣ упрямую природу, обозначалась какою-то кипучею воздержностью и дѣятельнымъ покоемъ, довольно любопытными для наблюдателя.

Бабушка была ласкова къ Наташѣ, не понукала и не запинала ее на каждомъ шагѣ, а присматривалась и прислушивалась къ ней, чтобъ сперва ознакомиться съ нею послѣ долгой разлуки и вполнѣ понять ее и изучить. Но забота о томъ, чтобъ хорошехонько пристроить Наташу, не выходила изъ думки Марьи Афанасьевны, и она въ тотъ же вечеръ и опять на другой день, оставшись одна съ зятемъ, проговорила:

— Дѣ, Боринька, вотъ и новыя заботы: надо подумать о дочери; надо хорошаго человѣка пріискать, чтобъ былъ ей ровня....

— И, матушка!—отвѣчалъ опять Борисъ Михайловичъ:— каждому дню свое: Богъ позаботится обо всѣхъ. Придетъ время, тогда придумаемся. Когда рожь, тогда и мѣра.

Но бабушкѣ поговорка ея вошла въ привычку, и дня не проходило, чтобъ старушка не проговаривалась. Она перебирала про себя всѣхъ жениховъ, какихъ только знала въ губерніи, и съ глубокимъ вздохомъ качала головой: «все не то!» Ей нуженъ былъ напередъ всего нравственно-без-

укоризненный человекъ — такъ высоко цѣнила она достоинства внучки своей, а затѣмъ она также требовала отъ него порядочную родословную, хорошее состояніе, уваженное положеніе въ свѣтѣ или въ обществѣ; само-собою разумѣется, что наружность и лѣта должны были всему этому отвѣчать. Словомъ, трудно было по этой статьѣ на бабушку угодить: не знаю, такъ ли причудлива будетъ со временемъ внучка.

Дни шли за днями и между братцомъ и сестрицей, гурьбернскимъ архитекторомъ и Наташей то-есть, не было замѣтно никакой особенно тѣсной дружбы; не выдавшись нѣсколько лѣтъ, они какъ-будто чуждались нѣсколько другъ друга, потому именно, какъ я уже сказалъ, что дѣвочка и дѣвица вовсе не одно и то же лицо: первой нельзя болѣе узнать во второй и старый другъ и товарищъ дѣвочки стоитъ передъ дѣвицей невольно растерявшись и не находя ладу и мѣры для словъ своихъ и обращенія съ нею. Впрочемъ, какъ братецъ и сестрица, они стали мало-помалу опять свываться.

Но судьба или случай вдругъ, внезапно, измѣнили отношенія эти. Раза два-три уже случалось, что Наташа, по быстротѣ и опрометчивости перваго движенія своего, несправедливо обвинила-было своего брата въ какомъ-либо словѣ или иномъ дѣйствіи, и вслѣдъ затѣмъ сильно сама передъ собой была пристыжена. Въ такой душѣ, какъ была Наташа, это сознаніе погрѣшимости своей и превосходства въ другомъ существѣ необходимо должно было произвести нѣкоторый переворотъ, и именно добровольное подчиненіе

себя тому, кому не могла отказать въ уваженіи. Къ этому присоединилось еще другое обстоятельство: при постройкѣ Никандромъ Петровичемъ собора, беззаботливость одного изъ подрядчиковъ и авосьничанье рабочихъ во время двухдневнаго отсутствія строителя по дѣламъ въ уѣздномъ городѣ — были причиной бѣдственнаго случая, который былъ отвращенъ одною только рѣшимостью, отвагою и присутствіемъ духа самого архитектора, который спасъ этимъ жизнь двухъ человѣкъ, обреченныхъ уже на гибель. Часть лѣсовъ внезапно обрушилась въ то самое время, когда Никандръ Петровичъ, воротившись изъ поѣздки, навѣстилъ работы; при этомъ двухъ человѣкъ на верхнихъ лѣсахъ ушибло и прижало такъ, что они не могли высвободиться. На мѣстѣ было немного рабочихъ, да и тѣ, испугавшись и потерявшись, не рѣшались ни на что, и погибающіе уже лишились чувствъ или, по крайней-мѣрѣ голоса: они замолкли и предалися своей участи. Страшно было смотрѣть на нихъ снизу, какъ они висѣли на обнаженныхъ вокругъ лѣсахъ, на высотѣ нѣсколькихъ десятковъ сажень отъ земли, а между тѣмъ къ нимъ не было никакого доступа: лѣстницы и сходни всѣ обрушились. Каждое мгновеніе было дорого. Никандръ Петровичъ бросился къ зданію, вызывая другихъ за собою, и, сунувъ въ карманъ одинъ только пучокъ нитокъ, съ опасностью жизни, счастливо одолѣвъ всѣ препятствія, взобрался изнутри на сводъ собора, а оттуда, по остаткамъ обрушившихся лѣсовъ, ловко доползъ до мѣста гибели двухъ рабочихъ. Удостоверившись здѣсь въ томъ, что голыми рѣ-

ками пособить невозможно, онъ, сѣдя верхомъ на бревешкѣ, спустилъ бичевку свою внизъ и закричалъ, чтобъ проворнѣе привязали къ ней пилу и конецъ веревки, которую надвизывали, по распоряженію его, по мѣрѣ того какъ онъ ее подымалъ и она приходила къ концу. Перепиливъ съ большою осторожностью брусъ, который прижалъ двухъ несчастныхъ каменщиковъ, одного за руку, а другаго поперекъ всего тѣла, Никандръ Петровичъ, съ помощью еще одного каменщика, который наконецъ рѣшился послѣдовать его примѣру, спустилъ бѣдствующихъ, одного за другимъ, благополучно, на-земъ помощью взятой имъ снизу веревки.

Виродолженіе этого времени вокругъ собора на шумъ и крикъ собралось множество народа; а какъ присутственныя мѣста были на той же площади, то можно сказать, что весь городъ, а въ томъ числѣ и Борпсъ Михайловичъ, были свидѣтелями происшествія. Оно надѣлало много шума; не могли надивиться и нарадоваться отвагѣ и рѣшимости архитектора; и если случай этотъ увеличилъ всеобщее къ нему уваженіе, то онъ стоялъ съ этого дня передъ сестрицею какъ баснословный герой, какъ полубогъ. Всѣ чувства ея покорились ему, и когда, на другой день, семья одного изъ спасенныхъ имъ рабочихъ, не удовольствовавшись благодарностью, изъявленною лично Никандру Петровичу, пришла еще на домъ къ нему, когда его тамъ не было, и упала въ ноги передъ бабушкой и передъ барышней, обнимая колѣни ея, то она не взвидѣла подъ собою земли отъ радости и чувства гордости — не за себя, а за своего брата.

Вскорѣ послѣ этого событія Марья Аванасьевна, сидя вечеромъ одна съ зятемъ, опять начала вздыхать и приговаривать, что пора подумать объ устройствѣ участи Наташи, но на этотъ разъ сказала это несовсѣмъ въ общихъ словахъ, не на вѣтеръ, а перешла къ намекамъ болѣе положительнымъ, спросивъ зятя, какого онъ мнѣнія, на примѣръ, о томъ человѣкѣ, у котораго есть имѣніе, называемое Верхніе-Сушняки?

Борисъ Михайловичъ, не обративъ сначала большаго вниманія на обычные слова тѣщи, вдругъ поднялъ голову, взглянулъ на нее во всѣ глаза и спросилъ прямо:

— Какъ, развѣ онъ сватается?

— Нѣтъ, не совсѣмъ или, можетъ-быть, отвѣчала та: — но я все-таки жалала бы знать заблаговременно мысли твои, Боринька, объ этомъ человѣкѣ,—и затѣмъ пустилась расхваливать его.

Зять долго слушалъ молча, потомъ сказалъ:

— Матушка, мое мнѣніе вотъ какое: вы все заботитесь о женихѣ, ищите его за тридевять земель, а передъ собою его не видите. Я думаю; если намъ не вмѣшиваться, а предоставить дѣло судьбѣ и тѣмъ, до кого оно всего ближе касается, то оно и сдѣлается безъ насъ, и сдѣлается недурно.

Марья Аванасьевна, въ свою очередь, выпрямилась въ креслѣ своемъ и съ крайнимъ изумленіемъ смотрѣла на зятя: она не хотѣла, не смѣла понять его.

— Чтò это значитъ, о комъ вы это говорите? я васъ не понимаю.

— А я истинно не понимаю, матушка, отчего слова мои ставить васъ въ такое недоумѣніе. Взгляните на молодыхъ напихъ: я думаю, что они будутъ просить, не старанія нашего, чтобъ ихъ сблизить, а одного только благословенія.

Но бабушка долго еще не могла утѣшиться и успокоиться; она ставила сотни причинъ, почему объ этомъ союзѣ и думать нельзя было, оканчивая, впрочемъ, каждое возраженіе свое тою же поговоркой: «да притомъ же, помилуй, она ему сестра!» Борисъ Михайловичъ не спорилъ ни противъ того, что Никандръ сирота, безъ роду безъ племени, что отецъ его не былъ даже записанъ въ родословную, не только въ шестую книгу, какъ этого требовала Марья Аванасьевна, что Никандръ былъ бѣднякъ, живущій однимъ жалованьемъ съ небольшимъ только пособіемъ отъ незначительныхъ частныхъ построекъ, что Натанша можетъ и должна составить не такую партію, и пр. Противъ всего этого Борисъ Михайловичъ не возражалъ ни слова, считая это, до времени, излишнимъ, а покончилъ тѣмъ же, чѣмъ началъ, то-есть просилъ бабушку не торопиться и не затѣвать отъ себя никакихъ переговоровъ по этимъ дѣламъ. Борисъ Михайловичъ поступилъ такъ не только потому, что будущее насущное благосостояніе Натанши зависѣло отъ бабушки ся, владѣтельницы порядочнаго имѣнія, но и потому, что такое поведение было вообще согласно съ ровнымъ, разсудительнымъ нравомъ его, и что онъ очень уважалъ бабушку, занимавшую уже столько лѣтъ съ домъ мѣсто полной хозяйки.

На знаю, замѣтили-ль отецъ или бабушка какую-нибудь переменѣну въ молодыхъ людяхъ въ тотъ же вечеръ, но на другой день, къ сожалѣнію, это было уже слишкомъ замѣтно, и непріятная переменѣна эта усиливалась со-дня-на-день и дѣлалась для отца, и въ особенности для бабушки, невыносимою. Никандръ былъ либо въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи, либо сидѣлъ молча въ темномъ углу и просыпался, какъ со сна, когда съ нимъ заговаривали; онъ сталъ наконецъ явно бѣгать изъ дома, подъ предлогомъ дѣлъ и занятій. Наташа измѣнилась еще замѣтнѣе: куда дѣвалась торопливость ея, прежняя опрометчивость и скорохватность, куда это дѣтское простодушіе и независимость, свобода пріемовъ? Она сдѣлалась робка, пуглива, будто безпрестанно держала уши на макушкѣ и въ то же время — какое противорѣчіе! — во всѣхъ пріемахъ, въ обращеніи и рѣчи ея появилась какая-то плавность, степенность и обдуманная осторожность.

Переменѣна эта, какъ легко понять, была слѣдствіемъ дошедшихъ до молодыхъ нашихъ объясненій бабушки и отца. Горничная, лакомая до подобныхъ разговоровъ, незамѣтно подслушала все и сочла обязанностью передать слышанное любимой барышнѣ своей. Наташа, конечно, остановила бы ее и не стала бы слушать отъ горничной подобныхъ вещей, но у бѣдняжки захватило духъ съ первыхъ словъ разсказицы, и она, подъ вліяніемъ новой для нея мысли, поразившей ее, какъ изъ тучи громъ, молча дослушала все, едва переводя духъ, и даже не отвѣчала ни слова, когда Палаша въ третій разъ уже окончила разсказъ свой

и готовилась начать его въ четвертый. Къ сожалѣнiю, все это было также предметомъ разговора въ людской, въ за-
стольной, и человѣкъ, раздѣвая вечеромъ Никандра, зата-
нулъ было, съ оглядкой и осторожностью, ту же пѣсню.
Никандръ Петровичъ остановилъ его тотчасъ, заговорилъ
о другомъ и отправилъ, но долго онъ не могъ сомкнуть
глазъ и, не зная, что именно было сказано и по какому
поводу, рѣшилъ наконецъ, въ крайнемъ безпокойствѣ сво-
емъ, заглянуть въ комнату Бориса Михайловича и перего-
ворить съ нимъ, о чемъ онъ доселѣ еще и не думалъ. Бо-
рисъ Михайловичъ не спалъ еще, удивился появленiю Ни-
кандра, но выслушалъ его спокойно и отвѣчалъ:

— До времени, любезный Никандръ, совѣтую тебѣ от-
ложить вовсе мысль объ этомъ. Есть много причинъ, кото-
рыя затрудняютъ это и, между прочимъ, вы братъ и се-
стра. Прими совѣтъ мой къ сердцу, позабудь объ этомъ
думать.

Три дня затѣмъ, Борисъ Михайловичъ, глядя на дѣтей,
молчалъ; Марья Аванасьевна терпѣла долго, наконецъ съ
негодованiемъ и безпокойствомъ спросила:

— Такъ что жъ это такое будетъ?

— Не знаю, матушка,—отвѣчалъ Борисъ Михайловичъ:—
вамъ лучше знать это. Я знаю только, что Никандръ про-
сится въ переводъ въ какой-нибудь другой губернской го-
родъ.

— Какъ, что это значить?

— А развѣ вы хотите требовать, чтобъ здѣсь, при
этихъ обстоятельствахъ, онъ подвергался ежеминутной

пыткѣ, чтобъ онъ то-и-дѣло казнился, глядя на... да хотѣ бы на всѣхъ насъ? Его держать нельзя, пусть съ Богомъ ѣдетъ.

Бабушка вздохнула и промолчала; черезъ нѣсколько дней однакожь, у нея опять лопнуло терпѣніе, и она выбрала время, чтобъ поговорить съ Наташей. Но Наташа молчала; съ трудомъ только бабушка могла заставить ее вымолвить словечко; молчала, кротко и покорно, но съ этого часа еще болѣе повѣсила головку и на слѣдующій день, безъ всякаго упрямства, но по нездоровью, не могла выйти къ обѣду.

Бабушку взяла тоска не на шутку. Никандръ уѣхалъ, напросившись на командировку, и ожидалъ перевода въ другую губернію. Это смущало бабушку въ высшей степени; она привыкла къ нему и не хотѣла бы съ нимъ разстаться. Наташа не была похожа на себя; самъ Борисъ Михайловичъ сдѣлался малословнымъ и скучалъ. Марья Аванасьевна пришла вечеромъ въ покой зятя притворила двери и залилась слезами: жизнь ея опостылѣла, въ своемъ же домѣ да и житія нѣтъ — она для дѣтей живетъ и должна видѣть несчастье дѣтей и прочее.

— Да въ чемъ же дѣло? — спросилъ, наконецъ, Борисъ Михайловичъ: — я не разъ уже выслушалъ всѣ ваши причины и доводы и, виноватъ, не понимаю ихъ. Какъ постелешь, бабушка, такъ и выспишься...

— Такъ ты думаешь, Боринька, что можно?

— Я думаю даже, что должно.

— Боже мой! куда же дѣвались всѣ заботы мои, всѣ зо-

лотые сны... я чаяла богатаго, чаяла родословнаго, чаяла знатнаго...

— А я чаялъ добраго, благороднаго, молодаго, здороваго, умнаго, работающаго...

Бабушка вздохнула, прочитала про себя короткую молитву, перекрестилась и опять спросила:

— Такъ что жь, Боринька, съ Богомъ что ли? и весело улыбалась сквозь слезы.

— Я думаю, съ Богомъ, отвѣчалъ Борисъ Михайловичъ. Бабушка обняла его и вышла, сказавъ:

— Ну, ужъ коли такъ, то молчи: я улажу это дѣло.

Борисъ Михайловичъ отъ души поцѣловалъ старушку и охотно предоставилъ ей удовольствіе улаживать то, что давно само собою уладилось.

Бабушка пришла въ свой покой, поставила на столѣ чернильницу съ перомъ, положила бумагу и послала за Наташей.

— Ну, сударыня моя,—начала она, улыбаясь:—да что жь обудеть у насъ? что вы тамъ надѣлали, кайтесь!—Наташа молчала, глядя во всѣ глаза, нѣкогда лучистые, а теперь туманные, съ поволокою.

— Куда,—продолжала бабушка:—куда и зачѣмъ ты у меня сына-то загнала, зачѣмъ онъ уѣхалъ?

Никогда еще Наташа не была въ такомъ странномъ положеніи и рѣшительно не знала, что отвѣчать.

— Садись, сударыня моя, садись же, мать моя, вотъ тебѣ перо и бумага; садись и пиши ему, пиши что и какъ знаешь, да чтобъ онъ пріѣхалъ; коли любить тебя, пусть

прѣзжаетъ, я васъ благословлю, и отецъ благословить.
сама зарыдала.

Наташа, какъ стояла передъ бабушкой, бросилась къ
огамъ ея и обняла ея колѣни. Она нѣсколько разъ всхли-
ывала, но когда подняла голову и смотрѣла бабушкѣ въ
лицо, то глаза ея были уже сухи и опять попрежнему лу-
исты, а на лицѣ не было и слѣда слезъ; бабушка также
скорѣ оправилась, поцѣловала внучку, но приняла опять
ѣсколько важный и степенный видъ и требовала настоя-
тельно, чтобъ Наташа тотчасъ же писала. Нѣсколько се-
ундъ, не болѣе того, Наташа не могла опомниться и со-
раться съ мыслями: положеніе ея было слишкомъ странно
и непривычно; но когда бабушка повторила въ третій разъ
се одно и то же и, сказавъ: «пиши, матушка, пиши»,
указывала повелительно на бумагу, то Наташа вдругъ ки-
нулась къ столу, схватила перо и, не призадумавшись ни
на одно мгновеніе, написала:

«Любезный братецъ! не удивляй^{ся,}_{тесь} что я ^{тебѣ}_{вамъ} пишу.

«Бабушка посадила меня и строго приказываетъ: «пиши!»
«И чтожь писать.... Пиши: пусть онъ скорѣ прѣзжаетъ,
«я васъ благословлю, и отецъ благословить...»

Бабушка съ нѣкоторымъ изумленіемъ пробѣжала записку;
она не ожидала такой сговорчивости отъ секретарши своей
и такой быстрой исполнительности: бабушкѣ было очень
любопытно увидѣть, какъ-то она вывернется изъ этого по-
ложенія, что-то она ему напишетъ — а тутъ никакихъ за-

труднѣй не оказалось и дѣло было кончено, какъ нельзя яснѣе и короче, въ четырехъ строкахъ....

Я проѣзжалъ этотъ городъ; соборъ и новыя присутственные мѣста, не смотря на малый просторъ, предоставленный при постройкѣ зодчему, выстроены съ большимъ вкусомъ. Но лучший домъ въ городѣ, небольшой и вовсе невеликолѣпный — это домъ архитектора, Никандра Петровича, о которомъ говорятъ, что онъ завидно хорошо живетъ съ молоденькою женою.... Живите, любовь вамъ и совѣтъ!

Х.

МНИМОУМЕРШІЕ.

Зашла рѣчь въ бесѣдѣ о мнимоумершихъ, о зарытыхъ живьемъ, каждый изъ собесѣдниковъ зналъ нѣсколько подобныхъ случаевъ, съ большими подробностями, зналъ навѣрное, что все это точно такъ было, но на повѣрку выходило, что все это было Богъ-вѣсть гдѣ начитано и слышано, а изъ семи человекъ собесѣдниковъ ни одинъ не могъ подкрѣпить подобнаго случая своимъ личнымъ свидѣтельствомъ, ни одинъ всѣхъ этихъ страстей самъ не видалъ. «А вы же что молчите?» спросили восьмого: «не случилось ли вамъ быть на дѣлѣ свидѣтелемъ чего-нибудь подобнаго?» — «Случалось», отвѣчалъ тотъ спокойно. Всѣ обратились съ мѣстъ своихъ къ нему, устали на него глаза, и вопросы: «какъ? гдѣ? когда?» посыпались со всѣхъ сторонъ. — «Мнѣ два раза случилось быть при подобной— какъ бы это сказать — исторіи, что ли», отвѣчалъ врачъ, «но обѣ окончились, каждая въ своемъ родѣ, довольно спо-

койно и безъ большихъ страстей; такъ, можетъ-быть, и не стоить того рассказывать. Вы, кажется, сегодня пустились въ погоню за сильными ощущеніями.» — «Нѣтъ, докторъ, рассказывайте, пожалуйста расскажите!»

«Извольте.» Мы были, при самомъ окончаніи турецкой войны и во время довольно продолжительныхъ переговоровъ о мирѣ, въ Адрианоуполѣ. Огромная казарма, выстроенная за городомъ четырехугольникомъ, о двухъ ярусахъ, съ широкими навѣсами кругомъ на дворъ, занята была подъ госпиталь. Зданіе было такъ велико, что въ немъ помѣщалось подъ конецъ десять тысячъ больныхъ. Но какъ они помѣщались и въ какомъ положеніи находились — это другой вопросъ. Начальство наше дѣлало все, что могло, для улучшенія этого помѣщенія; но какъ вы улучшите нѣсколько сотъ палатъ, съ кирпичными полами, безъ кроватей, разумѣется, и безъ наръ, и притомъ съ красивенькими деревянными рѣшетками, вмѣсто стеклянныхъ оконъ? Дѣло походное, земля, въ которой, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, и соломки-то почти нельзя было достать, а ноябрь пришелъ въ свое время и рѣшетчатые, пустые переплеты оконъ плохо утѣшали больныхъ.

«Сперва принялась душить насъ перемежающаяся лихорадка, за нею по пятамъ понеслись подручники ея, — изнурительныя болѣзни и водянки; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла; фельдшеровъ не стало вовсе, то есть при нѣсколькихъ тысячахъ больныхъ не было буквально ни одного; аптекарь одинъ на весь госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больныхъ до-

сыта горячимъ да подать имъ въ волю воды напиться, то мы бы перекрестились. Между тѣмъ снѣжокъ порошилъ въ окна и вѣтерокъ подувалъ.

«При такомъ огромномъ числѣ больныхъ, которые, сверхъ того, еще находились въ положеніи несовѣстѣ выгодномъ для здоровья, разумѣется, было не безъ смертности.... Вы знаете, что такое мертвая камера; это отдѣльный покой, въ который относятъ до времени покойниковъ. Въ адрианопольскомъ госпиталѣ, гдѣ всѣ безъ изъятія палаты обращены были дверьми подъ общій навѣсъ и всѣ были одинаковыхъ размѣровъ; мертвая камера тѣмъ только отличалась отъ прочихъ живыхъ палатъ, что въ ней лежали мертвые, а въ другихъ живые; по наружности никакихъ особенныхъ примѣтъ не было и она, какъ келья, шла сподрядъ съ прочими.

«Однажды, вечеромъ, приходитъ въ госпиталь нашъ посланный отъ начальства строгій ревизоръ или инспекторъ, что ли, только не изъ врачей, а по другой части; но больныхъ допрашивалъ онъ именно по врачебной части, то есть получаютъ ли они черезъ чашъ по ложкѣ. Я объяснилъ уже, въ какомъ положеніи мы находились, а потому и предоставляю судить вамъ, господа, о неудовольствіи ревизора на отрицательные отвѣты. Насчетъ пищи и питья утѣшалъ онъ больныхъ по сущей справедливости тѣмъ, что въ полѣ и жукъ мясо, что въ военное время въ неприятельской землѣ по-неволѣ приходится иногда терпѣть; но насчетъ лекарства онъ былъ другаго мнѣнія и не могъ надивиться беззаботности нашей и непростительному небре-

женію. Этотъ открытій имъ безпорядокъ долженъ былъ привести его въ крайнее негодованіе, въ самое дурное расположение, и угрозы его на насъ грѣшныхъ возрастали постепенно, по мѣрѣ перехода изъ одной палаты въ другую, по холодному, темному и мокрому навѣсу: а палата было гораздо за сотню, такъ было надъ чѣмъ и сердцу порасходиться.

«Инспекторъ вступилъ въ госпиталь одинъ, тихомолкомъ, не желая, вѣроятно, дѣлать напрасной тревоги, и какъ ворота на широкій дворъ и подъ навѣсы никогда не запирались, фельдшеровъ не было, а дежурный врачъ, сидѣвшій въ первой комнатѣ направо отъ воротъ, ничего не зная о прибытіи грознаго инспектора, который повернулъ назадъ и пошелъ кругомъ этимъ порядкомъ, то онъ и продолжалъ обходить свой одинъ, и самое это обстоятельство приписывалъ также безпорядку.

«Обойдя нѣсколько десятковъ палатъ, инспекторъ растворилъ поочередно двери въ слѣдующую палату, поздоровался съ больными — отвѣта нѣтъ. Спрашиваетъ: «получаете ли лекарство?» Молчатъ. «Не можетъ быть, чтобъ тутъ лежали нѣмые», подумалъ инспекторъ, который впотѣмахъ едва только могъ отличать на полу лежащихъ въ два ряда по стѣнамъ больныхъ, «видно, тутъ трудные — тѣмъ болѣе надобно допытаться, заботится ли этотъ безсовѣстный народъ, доктора наши, хотя по-крайней-мѣрѣ объ этихъ больныхъ и получаютъ ли они черезъ часъ по ложкѣ».... Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, услышалъ вздохъ или стонъ, затѣмъ шелестъ по соломѣ, шаги, и кто-то въ по-

лупотмахъ съ нимъ столкнулся. «Кто это?» Жалкое, спл-
лое «я» было едва внятно произнесено въ отвѣтъ, и кто-
то, протѣснившись подлѣ инспектора, по дорожкѣ въ сре-
динѣ, между встрѣчными ногами двухъ рядовъ больныхъ,
вышелъ въ двери и исчезъ подъ навѣсомъ. Посторонив-
шись отъ этого встрѣчнаго, инспекторъ невольно толкнулъ
ногой одного изъ больныхъ и удивился твердой вытяжкѣ
его: онъ лежалъ, какъ исправные солдаты стоятъ во
фронтѣ. Ревизоръ нагнулся, пошупалъ рукой — и отско-
чиль; но наткнулся по другую сторону на другаго, такого
же фронтоваго. Тогда онъ выбѣжалъ изъ палаты и под-
нял тревогу. Коммисаръ и нѣсколько врачей мало-по-малу
сбѣжались съ разныхъ сторонъ; принесли фонарей. Ин-
спекторъ былъ, какъ само собою разумѣется, просто взбѣ-
шенъ; а какъ въ подобномъ состояніи не всегда знаешь и
помнишь, что говоришь, то и тутъ, съ крикомъ и шу-
момъ, было высказано очень много. Мы стояли, разинувъ
рты, и ровно ничего не понимали. Долго длилось это гром-
кое негодованіе съ одной стороны и молчаніе изумленія съ
другой, покуда, наконецъ, объяснилось, что ревизоръ,
между прочими непростительными безпорядками, нашелъ и
неслыханную законопротивность: онъ наткнулся на двухъ
покойниковъ, въ палатѣ трудно-больныхъ. Каждый изъ насъ
подумалъ: «быть можетъ, жизнь наша въ рукахъ Божьей; умри
и теперь кто-нибудь изъ насъ на мѣстѣ, какъ стоимъ, то
случится то же: будетъ одинъ покойникъ между нѣсколь-
кими живыми. Мы поспѣшили вслѣдъ за негодующимъ, ко-
торый отправился теперь, въ сопровожденіи нашемъ и

двухъ фонарей въ роковую палату, и тутъ только увидѣли и объяснили инспектору, что это была не палата, а мертвая камера; въ самомъ дѣлѣ, онъ могъ удостовѣриться при свѣтѣ огня, что два фронта эти, направо и налево отъ дверей, вдоль стѣнъ, болѣе не встанутъ и команднаго слова не услышатъ до роковой трубы, и отвѣта никакого не дадутъ до вторичнаго пришествія....

— Такъ это еще хуже того! — закричалъ ревизоръ, когда онъ самъ, въ свою очередь, опомнился отъ изумленія. — Я думалъ, что вы только не уѣдете въ-время покойниковъ, покидая ихъ между живыми; а вы, вмѣсто того, укладываете живыхъ вмѣстѣ съ мертвыми и, стало-быть, вмѣстѣ же ихъ и хороните? такъ?

Опять пришла наша очередь недоумѣвать, и мы послушно стояли въ недоумѣніи, ожидая какой-нибудь развязки.

— Да, — продолжалъ инспекторъ: — войдя въ эту палату, или, какъ я теперь вижу, въ мертвую камеру, я встрѣтилъ живаго человѣка; онъ поднялся вотъ съ этого мѣста, всталъ, простоналъ, закашлялъ, отвѣчалъ мнѣ на вопросъ мой, что это онъ, вышелъ въ дверь и исчезъ; стало-быть, вы, разбойники, положили сюда живаго человѣка — а?

Теперь мы поняли наконецъ въ чемъ дѣло, но не менѣе прежняго затруднились въ отвѣтѣ. Сказать, что этого-де быть не можетъ, значило бы крѣпко разсердить и безъ того уже не милостиваго ревизора, да притомъ каждый изъ насъ долженъ былъ по совѣсти сознаться, что это дѣло сбыточ-

ное. Что дѣлать! бывали и не такіе примѣры, а здѣсь, при объясненныхъ мною данныхъ и обстоятельствахъ, ничего нѣтъ мудренаго въ подобной ошибкѣ. Одно только было сомнительно: если хворый, который уже истощенъ до такой степени, какъ были всѣ наши больные, обомретъ, то едва ли очнется на кирпичномъ полу безъ подстилки, какъ лежали покойники, при нѣсколькихъ градусахъ мороза и безъ всякой покрывки. Но спорить было нечего; приходилось молчать, и мы молчали. Пушеніе съ угрозами продолжалось, постепенно возрастаая, какъ буря, которая начинается маленькою погудкой, а оканчивается большою. Все шло своимъ порядкомъ, какъ вдругъ единый отъ весьма-немногихъ служителей госпитальныхъ, страшный заика, тащитъ въ мертвую камеру за воротъ какое-то жалкое, тщедушное, еле-дышащее существо, а самъ мычитъ и шипитъ и щелкаетъ языкомъ и, вдобавокъ, еще вертитъ головой. На этотъ разъ послѣдовало уже всеобщее изумленіе, поддерживаемое напряженнымъ любопытствомъ. Никто не понималъ еще, что изъ этого выйдетъ, а служитель, на бѣду, все еще щелкалъ и присвистывалъ и не могъ произнести ни слова, тогда какъ приведенный имъ больной пропнищалъ въ безсиліи что-то, на повторенные со всѣхъ сторонъ вопросы, и мы все-таки не понимали, что изъ этого выйдетъ.

— Пой, пой! закричали мы служителю-заикѣ, потому что онъ, запнувшись однажды до такой степени, могъ поправиться однимъ только способомъ: если ему дозволить пѣть; въ пѣсняхъ онъ не заикался и произносилъ слова медленно, врасяжку, но понятно. И служитель мой, не

унуская полицное изъ рукъ, запѣлъ самымъ заунывнымъ образомъ:

— Ваше высокоблагородіе! вотъ солдатикъ, который лежалъ въ мертвой камерѣ: онъ попалъ туда самъ-собою, ошибкой; вышедъ изъ своей, сосѣдней палаты, онъ угодилъ послѣ невзначай въ эту.

Опять перешла очередь недоумѣнія не на нашу сторону; теперь уже намъ было все очень ясно. Ревизоръ разспрашивалъ и переспрашивалъ много разъ то больного, присталя ко рту его ухо свое, то запку, заставляя его отвѣчать на-распѣвъ, и слова его оправдались: ни покойники не были забыты между живыми, ни живой не положенъ заживо промежъ покойниковъ, ниже мертвые не оживали. Кандидатъ мертвой камеры самъ до времени туда забрелъ и, пришедъ въ себя и замѣтивъ ошибку свою, поспѣшилъ оттуда убраться и, на бѣду, встрѣтился со взыскательнымъ ревизоромъ.

Слушатели, приготовившіеся къ какой-нибудь страшной развязкѣ о заживо-схороненныхъ, разсмѣялись этой путаницѣ вздоровъ и просили доктора рассказать другой обшцанный случай, предполагая, впрочемъ, что и второй, вѣроятно, будетъ не лучше перваго. «Ну», сказалъ докторъ, «другой-то случай поважнѣе и притомъ не шуточный, если вы не захотите признать шуткой положеніе человѣка, надъ которымъ насыпано земли въ косую сажень, и который, между тѣмъ, лежитъ въ полной памяти, ожидая своего спасителя! Дѣлю было въ Россіи.

«Кантонистъ изъ евреевъ, одинъ изъ тѣхъ, что обще-

ства отдають попарно двухъ маленькихъ за одного большаго, нѣсколько разъ уже поступалъ къ намъ въ госпиталь сомнительными болѣзнями и выкидывалъ разныя штуки, чтобъ попасть въ неспособные. У кого онъ побывалъ въ рукахъ разъ-другой, тотъ его уже зналъ и выживалъ изъ госпиталя мушками да моксами; но плутъ этотъ былъ терпѣливъ и крѣпко намъ надѣдалъ. Однажды случилось, что, прибывъ опять въ госпиталь съ притворнымъ кашлемъ, ломотою и прочими семью недугами, онъ попалъ въ палату къ новичку, человѣку и неопытному и нерадивому. Больныхъ, сверхъ того, въ то время было много: всѣхъ нанзустъ не всякій могъ упомянуть; такимъ образомъ, на моего Шмуля никто не обратилъ вниманія; онъ лежалъ себѣ да лежалъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ батальонъ получаетъ увѣдомленіе изъ госпиталя, что больной этотъ умеръ. Его исключили изъ списковъ, и о немъ ужъ было забыли, какъ вдругъ изъ какого-то дальнаго мѣста препровождаютъ въ этотъ батальонъ, по пересылкѣ, пойманнаго бѣлаго; призываютъ его, рассматриваютъ и — что жъ бы вы думали? оказывается, что это Шмуль, тотъ самый еврей, покойникъ. При допросѣ онъ показалъ слѣдующее:

«Давно уже я страдалъ припадками, которые наводили на меня повременамъ забытье, какое-то безпамятство, но они были непродолжительны; мнѣ не вѣрили въ болѣзни моей ни въ батальонѣ, ни въ госпиталѣ; полагали, что я притворяюсь, а между тѣмъ я иногда самъ былъ болѣе мертвый, чѣмъ живой. Мнѣ дѣлалось все хуже и хуже; я по ночамъ сталъ обмирать, такъ что пролежу, бывало, цѣ-

лую ночь какъ мертвый, но не сплю. Вотъ на меня и на-
шелъ однажды такой столбнякъ съ полуночи, но на этотъ
разъ я поутру не очнулся: помню, какъ меня щупали и
смотрѣли, какъ больные, сосѣди мои, просили фельдшера
убѣдительно приказать вынести покойника, — все это я слы-
шалъ, но не могъ пошевелить пальца. Пришли служители,
положили меня на носилки, понесли изъ дверей палаты на-
право, по длиннымъ переходамъ, тамъ налѣво, въ мертвую
камеру, и положили на столъ. Лежу, все знаю и слышу,
не могу перевести духу, не могу пошевелить мизинцомъ.
Такъ проходитъ цѣлый день; входили ко мнѣ люди еще
раза три, вносили другихъ покойниковъ и клали со мною
рядомъ; вошелъ однажды и лекарь, взглянулъ на насъ и
сказалъ фельдшеру: «хорошо, я ужъ подписалъ записку».
Понявъ, какая это записка, то-есть о томъ, чтобъ насъ
похоронить, я сплился страшнымъ образомъ, чтобъ закри-
чать или поднять руку; мнѣ и казалось, что я кричалъ,
но глухо, такъ что и самъ не слышалъ и другіе ничего не
слышали, а вышли опять и заперли двери. Но страхъ мой
былъ такъ великъ, что я сталъ вскорѣ приходить въ себя
и мало-по-малу очнулся. Я сѣлъ и осмотрѣлся: семь покой-
никовъ лежали со мною рядомъ, я третьимъ съ краю. Къ
счастью, это было лѣтомъ, иначе я бы давно окоченѣлъ. Я
всталъ тихонько и увидѣлъ въ углу ушатъ воды съ ков-
шомъ; выпивъ немного воды, я освѣжился и сталъ думать,
что мнѣ теперь дѣлать; страхъ не хотѣлось мнѣ опять на
службу. Что, подумалъ я, еслибъ мнѣ теперь сказаться
мертвымъ? Вѣдь ужъ я зачисленъ умершимъ, изъ списковъ

меня исключать, а я бы жилъ себѣ да жилъ, и никто бы не могъ догадаться, что я опять ожилъ.

Придумавъ какъ бы это сдѣлать, я легъ опять на свое мѣсто въ покойники, какъ только услышалъ, что идутъ въ мертвую камеру. Служители принесли гробы, поставили и ушли. Между служителями было нѣсколько человѣкъ евреевъ, и они всегда брали погребеніе умершихъ одновѣрцевъ на свое попеченіе. Я подстерегъ такую минуту, когда въ покоѣ оставался одинъ только служитель, землякъ мой, который меня зналъ; не зная какъ заговорить съ нимъ, чтобъ не испугать его, и боясь притомъ упустить время, я наконецъ сталъ звать его шепотомъ по имени: онъ со страхомъ оглянулся, не понимая, что это значитъ, а я продолжалъ съ осторожностью, упрасывая его не пугаться, а молчать, и увѣряя, что я не померъ, а только притворился мертвымъ. Онъ опомнился, понялъ въ чемъ дѣло и хотя сначала крѣпко испугался, но вскорѣ согласился на мою просьбу и обѣщалъ подговорить другихъ евреевъ. Я умолялъ его со слезами. Онъ ушелъ, а я легъ опять на свое мѣсто. Вскорѣ воротился онъ еще съ двумя товарищами, меня положили въ гробъ, забили крышку и повезли съ прочими покойниками хоронить. Земляки мои сунули мнѣ въ гробъ ломоть хлѣба и аптекарскую склянку съ квасомъ и обѣщали, если можно будетъ, выпустить на кладбищѣ, а если нельзя, то придти опять черезъ часъ и откопать меня, что не могло бы возбудить подозрѣнія, потому что всякій подумалъ бы со стороны, что копаютъ новую могилу.

Страшно было мнѣ лежать въ гробу, а еще страшнѣе,

какъ опустилъ въ яму и стали засыпать землей; но я долженъ объяснить, что товарищи не могли выпустить меня изъ гроба по причинѣ бывшихъ тутъ по близости другихъ служителей, поэтому они и уговаривали меня потерпѣть, обѣщая вскорѣ открыть. Какъ еврея, похоронили меня стоймя, а могилу приготовили такую, что голова моя или головой конецъ гроба, едва только покрытъ былъ землей. Понемногу все стало стихать вокругъ меня; отпѣваніе русскихъ, которыхъ хоронили по сосѣдству, кончилось; я не слышать ни голоса человѣческаго, ни походки. Мнѣ стало такъ страшно, что я то снова готовъ былъ обмереть, то хотѣлъ стучать и кричать. Начиная дѣлаться въ гробу жарко, душно, такъ что я уже почти не могъ дышать; послѣднее терпѣніе мое лопнуло, и я громко завылъ; въ то же самое время началась надо мною работа и меня стали поспѣшно отрывать. Евреи сказали прочимъ работникамъ, что приказано приготовить еще могилу, а потому они, два еврея эти, остаются на кладбищѣ; выждавъ затѣмъ только, чтобы нѣсколько удалились, они тотчасъ же меня откопали. Я вылѣзъ опять на Божій свѣтъ, поспѣшно одѣлся кой въ какое платье, принесенное ими же; они опять закопали могилу мою, а я, простившись съ ними, пустился куда глаза глядятъ.» Покончивъ рассказъ этотъ, Шмуль только прибавилъ: «Вотъ мои походы; а прошатавшись три мѣсяца то тутъ, то тамъ, я наконецъ попался и присланъ сюда.»

Все это рассказано было бойкимъ языкомъ тертаго пройдохи, извѣданнаго плута, безъ запинки и безъ поправки и

подчистки. Шмуля разспрашивали десять разъ и не могли надивиться необычайнымъ похощеніямъ его; но батальонный командиръ, зная этого пріятеля, какъ-то все еще сомнѣвался и не довѣрялъ разсказу его и сдѣлалъ, для вѣрности, запросъ госпиталю, требуя свидѣтельство о смерти такого-то Шмуля. И свидѣтельство прислали, и день былъ въ немъ означенъ, согласно съ показаніемъ еврея. Оставалось донести обо всемъ и предатъ суду виновныхъ въ показаніи живаго Шмуля мертвымъ; но, къ-счастью, слухъ о явкѣ покойника въ батальонъ дошелъ до госпитальнаго начальства: тамъ переполошились и перепугались; начали, хоть и поздненько, строжайшее разбирательство, послѣ котораго смотритель пріѣхалъ къ батальонному командиру съ просьбой, ради Бога пощадить жену его и семерыхъ дѣтей. «Еврей вашъ вретъ, навѣрное. Дѣло, по произведенному мною разбирательству, не могло стать по разсказу его, потому что около того времени, не только въ тотъ день, на дѣлѣ не было у насъ похоронено ни одного еврея, хотя одинъ, именно вашъ Шмуль, и показанъ умершимъ. Какъ разрѣшить загадку эту — не понимаю, хоть любъ взрѣжь. Но Шмуль вретъ, а мы пропадемъ всѣ.»

Батальонный командиръ позвалъ еще разъ Шмуля и приложилъ стараніе свое, чтобъ онъ высказалъ правду. Тогда еврей сознался, что онъ выдумалъ и солгалъ всю исторію о мнимой смерти своей и погребеніи, а что онъ просто бѣжалъ изъ госпиталя, живой и здоровый, и съ тѣхъ поръ шатался по свѣту.

По этому признанію все объяснилось: при безпорядкѣ

въ госпиталѣ, по несмотрѣнію беззаботнаго ординатора и частому отсутствію памяти у фельдшера, отсутствіе бѣжавшаго замѣтили не прежде, какъ на третій или на четвертый день; тогда прочіе больные показали, что его нѣтъ уже съ воскресенья. Фельдшеръ, во избѣжаніе отвѣтственности, надѣясь на несмотрѣнье ординатора и на безпорядки въ конторѣ, показалъ его умершимъ съ того дня, когда больной бѣжалъ. Все это прошло благополучно, и Шмуль погулялъ нѣсколько мѣсяцевъ; но когда его поймали, отправили, по его же сознанію, въ батальонъ, а здѣсь его встрѣтили восклицаніями: «Какъ, развѣ ты живъ, Шмуль? вѣдь ты померъ, тебя изъ госпиталя показали умершимъ и ты исключенъ изъ списковъ?....» Тогда моему Шмулю, большому затѣйнику, продувному врагу и хвастуну, пришло въ голову прикинуться хотя полумертвымъ и возбудить къ себѣ общее вниманіе и состраданіе необычайностью своихъ похожденій. Кто былъ живой зарытъ въ землю, подумалъ онъ, того скорѣе простятъ за вину его.

«Вотъ вамъ мои мнимоумершіе», кончилъ докторъ, «а другихъ я не видалъ». Всѣ согласились въ томъ, что оба рассказа доктора довольно плохи, потому что не идутъ къ дѣлу и не отвѣчали надеждамъ слушателей, у которыхъ уже заблаговременно волосъ начиналъ-было подыматься дыбомъ.

ХІ.

БОЯРЫНЯ.

Въ Москвѣ, въ Лефортовской части, стоялъ старинный боярскіи домъ, замѣчательный, если не по наружности своей, то по крайней мѣрѣ по внутреннему расположенію и по своимъ жильцамъ. Внизу былъ цѣлый рядъ закопѣлыхъ комнатъ, съ безконечнымъ числомъ переборокъ и перегородокъ, испещренныхъ картинками такого разбора, которыя обыкновенно прилѣпляются мякишемъ хлѣба къ стѣнѣ; тряпичныя разнога рода висѣли, перекинутыя черезъ ширмы и перегородки; мужчины и женщины, дѣти всѣхъ возрастовъ, нѣсколько собакъ и кошекъ, птицы въ клеткахъ, крикъ и говоръ со всѣхъ сторонъ, а въ особенности нѣсколько дряхлыхъ стариковъ и старухъ, которыхъ удушливый кашель раздавался подъ сводами, — все это придавало цѣлому видъ какой-то богадѣльни; но развѣшенные тутъ и тамъ ветхія, изношенныя ливреи и восьмидесятилѣтній швейцаръ въ передней, котораго перевязь, повѣ-

шенная, для сподручности, на поставленную въ уголъ булаву, рассыпалась уже въ бахромчатыхъ мохрахъ, поминали, что это должно быть заведеніе иного рода: тутъ жило семнадцать семей, до семидесяти душъ двораи. Швейцаръ былъ почти слѣпой и, заставляя, повременамъ, внука своего читать вслухъ священное писаніе, надѣвалъ на носъ очки и глядѣлъ въ книгу только по старой привычкѣ: онъ уже буквъ не различалъ....

Во второмъ ярусѣ были такъ называемыя парадныя комнаты. Этотъ безконечный рядъ направо и налѣво растворялся, со временъ императрицы Екатерины, только нѣсколько разъ для провѣтриванія и очистки. Здѣсь, уже въ царствованіе блаженной памяти императора Павла, все было съѣдено молью и мышами, что только моль и мыши могутъ ѣсть; остальное истлѣло само-собою и шелковыя занавѣсы, обои и покрывка мебели висѣли въ огромныхъ лохмотьяхъ до самаго полу. Поэтому такъ называемая уборка парадныхъ комнатъ, совершавшаяся ежегодно въ святой недѣлѣ, представляла довольно замѣчательное зрѣлище: избранные и испытанные въ теченіе пятидесяти лѣтъ старые слуги, на которыхъ одежда была почти въ такомъ же положеніи, какъ обои на стѣнахъ парадныхъ комнатъ, съ благоговѣніемъ переступали завѣтный порогъ прадѣдовскаго жилья, осторожно обметали столы, окна и мебель, между тѣмъ какъ призванная на помощь барская барыня, также слѣпая, ходила съ молоденькою внучкою своею и подшпиливала, по ея указаніямъ, булавками висящія со стѣнъ, дивановъ и занавѣсокъ лохмотья. Затѣмъ, вѣрные

и, помолившись передъ золотыми иконами въ этихъ
яхъ, чинно выходили, дверь затворялась на замокъ и
лѣтый годъ, до слѣдующей пасхи, ничья живая нога не
ступала за вѣтнаго порога.

Преходимъ по старой, тяжелой дубовой лѣстницѣ въ
ію ярусъ. Здѣсь одна половина, цѣлый рядъ покоевъ,
и въ кладовую, самую разнообразною и пестрою изъ
всѣхъ кладовыхъ, потому что барская барыня, или ключ-
ница, ужъ пятьдесятъ лѣтъ сряду совала туда все, что ни
далось ей подъ-руку, начиная отъ лишняго шкапа,
ла, хомута и ковра, и до отпковъ или обносковъ,
початой бутылки вина и до початой ватрушки или
ома. Здѣсь никогда и никакой уборки не допускалось;
стояло и лежало такъ, какъ было поставлено и поло-
жено 10, 20, 30, 40 и 50 лѣтъ назадъ.... На другой
ярунѣ этого третьяго яруса жила сама хозяйка, по-
зная кавалерственная дама давнихъ—предавнихъ вре-
мъ, которая сама занимала только двѣ комнаты, родъ
кухонной и спальни, между тѣмъ какъ прочіе покои
или также впустили или были обращены въ дѣвичьи,
зѣтринецъ мосекъ и шавокъ, да въ подручныя, ближнія
кубы.... Хозяйка постоянно сидѣла въ своей спальнѣ,
заглядывала въ гостиную рѣдко, иногда въ недѣлю ра-
зъ или два, когда ходила осматривать свое хозяйство.
Ее осмотръ состоялъ въ томъ, что она проходила по
кухнѣ и заглядывала въ небольшую боковую комнату,
назначенную неизъяснимымъ благоуханіемъ: тутъ содержа-
ли и доживали вѣкъ свой, отставленные за дряхлостью и

болѣзнью, москк, шавки и болонки, съ особенной при нихъ прислугой. Съ ними же былъ заключенъ и сидѣлъ подъ всегдашнимъ копакомъ, впотьмахъ, попугай, попавшій въ немилость за неосторожное словцо, выпущенное имъ какъ-то сдуру и очень некстати по случаю смерти старшаго сына почтенной хозяйки, человѣка лѣтъ пятидесяти, котораго она, впрочемъ, все еще трепала по щекамъ, гладила по головкѣ, называя, притомъ, мальчикомъ и заботясь о томъ, чтобъ онъ не обкушался за обѣдомъ и не простудился, выѣзжая со двора.

Спальня старушки нашей, или просто жилая комната, была загромождена до потолка самую разнообразную, исключительно-старинною утварью и украшениями, такъ что въ теченіе часа или двухъ, проведенныхъ въ бесѣдѣ со старушкою, рѣшительно невозможно было обознаться и осмотрѣться, и вы выходили отъ нея съ какимъ-то темнымъ понятіемъ о хаотическомъ смѣшеніи всѣхъ возможныхъ предметовъ. У васъ въ памяти оставался развѣ только загроможденный по уступамъ фарфоромъ и другою мелочью шкафъ, огромный, тяжелый, поселяющій невольное понятіе о постоянствѣ, довольствѣ и домовитости, да затѣмъ еще образной уголъ, гдѣ передъ иконою Всѣхъ Скорбящихъ, развѣшены были, на блеклыхъ розовыхъ лентахъ, приношенія усерднаго, вѣрующаго сердца, серебряныя ручки, ножки и глазки.

Но этимъ описаніе наше еще не кончено. Въ домѣ есть и четвертый ярусъ, также цѣлый рядъ покоевъ, на двѣ половины, только пониже и потеплѣе прочихъ. Тутъ вы

встрѣчали на каждомъ шагу какую-нибудь вдову или безродную сироту, въ вѣковѣчной печали, во всегдашнемъ черномъ платьѣ, съ чашечкою кофейку въ рукахъ. Это были отставныя поручицы, секретарши и совѣтницы, подчиненныя вдовой и сирой маіоршѣ, которая улыбаясь перекачивалась изъ кельи въ келью, стараясь убѣдительнымъ краснорѣчіемъ своимъ помирить перессорившихся и возбудить въ нихъ признательность къ хозяйкѣ, пріютившей ихъ, сиротъ, подъ старость. Вы видите, что это, какъ и въ нижнемъ ярусѣ, была родъ богадѣлни, но только въ другомъ родѣ: тамъ жили дворовые, старые слуги, а здѣсь вольнопромышляющія приживалки, много пострадавшія на вѣку своемъ за отечество и успокоившіяся на хлѣбахъ благотѣльницы. Ихъ жило тутъ постоянно до пятнадцати; но эта буйная команда толстой маіорши, не смотря на желаніе хозяйки пріобрѣсти себѣ этимъ способомъ дюжину богомолицъ, не поминала ее добромъ, какъ это само-собою разумѣется; всѣ онѣ полагали, что такая вельможа, кавалерственная дама, и притомъ страшная богачка, могла бы содержать получше заслуженныхъ, почтенныхъ, хотя и обиженныхъ завистливымъ свѣтомъ сиротъ.... Много прохлятій раздавалось въ этихъ кельяхъ надъ головою бѣдной хозяйки дома, точно будто ихъ тутъ держали въ неволѣ, и много труда стоило начальствующей маіоршѣ помирить или хотя успокоить нѣсколько двухъ разгнѣванныхъ сожителей, которыя сталкивались за очагомъ съ кофейниками своими, или кидали часть одежды своей такъ неосторожно на перегородку, что подолъ либо рукава перевѣ-

шипались къ тоскующей по убитомъ мужѣ сосѣдкѣ, которая въ неутолимой двадцатилѣтней печали своей не могла равнодушно переносить подобныхъ обидъ....

Само-собою разумѣется, что добродѣтельная хозяйка этого замѣчательнаго дома славилась въ кругу своемъ примѣрной женщиной. При заботѣ ея о заслуженныхъ, старыхъ слугахъ, о вдовахъ и сиротахъ, она, конечно, напередъ всего заботилась о родныхъ и ближнихъ своихъ, напримѣръ, о дѣтяхъ.... Расскажемъ же въ нѣсколькихъ словахъ, что она сдѣлала въ этомъ отношеніи.

Богъ далъ ей во время оно до пяти дѣтей, но четверо изъ нихъ умерли уже въ дѣтствѣ; одинъ только сынъ выросъ и возмужалъ. Мы упомянули о немъ въ началѣ этого разсказа. Старина легко забывается, и потому о воспитаніи дѣтей этихъ до нашего поколѣнія дошли одни только темные слухи, или, вѣрнѣе сказать, отрывочныя свѣдѣнія.

Не жалѣя расходовъ для образованія дѣтей своихъ, вельможная боярыня приняла для нихъ нѣсколькихъ нѣмцевъ и французовъ обоего пола; между ними были главные наблюдатели, учителя, блюстители нравственности, наставники и проч.; но, любя притомъ дѣтей своихъ всею горячностью материнскаго сердца, она не предоставила ихъ произволу этихъ наемщиковъ, въ особенности же самолично чинила ежедневно судъ и расправу, являясь для этого въ урочный часъ. Последствіемъ этого были двоякія: во-первыхъ, гувернеры и гувернантки вымѣщали немощъ свою на дѣтяхъ одними только щипками и толчками, а во-вторыхъ, дѣти знали и видѣли мать свою только въ качествѣ грозной Не-

мезиды, такъ что съ самымъ именемъ ея соединялось одно только понятіе о карательной власти. Правда, что природа вложила въ дитя невольную любовь и привязанность къ родителямъ, какъ мы это видимъ даже у всѣхъ, безъ изъятія, животныхъ; но эта безотчетная привязанность, основанная на чувствѣ самосохраненія, длится не болѣе того времени, какъ и возрастъ младенческій и отроческій, гдѣ существо слабое, несовершенное, чувствуетъ безсиліе свое и ищетъ вещественнаго покровительства; далѣе остается уже одно нравственное вліяніе, котораго у животныхъ нѣтъ, почему у нихъ возмужалыя дѣти и покидаютъ родителей, не узнавая ихъ вовсе въ послѣдствіи и не отличая отъ чужихъ. И если человѣкъ унижится, въ качествѣ родителя, до животнаго, ограничивъ связь свою съ дѣтьми своими только плотскими и вещественными отношеніями, оставивъ нравственные въ сторонѣ, то ихъ и не будетъ у сына или дочери; а возмужавъ, они отпадутъ навсегда, какъ отрѣзанный ломоть.

Не баловать дѣтей было первымъ правиломъ благоразумной матери, но въ переводѣ на общій языкъ это значило перечить имъ во всемъ, даже въ самыхъ невинныхъ дѣтскихъ затѣяхъ и скромныхъ желаніяхъ, требуя отъ нихъ, чтобъ они, вопреки основнымъ законамъ природы, отказались отъ всякой свободной воли, дарованной человѣку, а жили и даже думали чужою волею. Отъ этого, какъ извѣстно, человѣкъ глупѣетъ и нерѣдко становится вовсе юродивымъ, а между тѣмъ, подавленная природа силится высказаться хоть чѣмъ-нибудь, потому что ее убить нельзя,

покуда жива плоть, и слѣдствіемъ этого бываетъ нравственная уродливость, основанная на двухъ крайностяхъ: на отсутствіи нравственныхъ убѣжденій и упорномъ упрямствѣ, на отсутствіи воли и необузданности своеволия.

При многоначаліи подобнаго воспитанія, гдѣ еще, кромѣ наставниковъ и наблюдателей всѣхъ родовъ, должно вспомнить значеніе и вліяніе прислуги, — благородства, чести и откровенности быть не можетъ въ воспитанникахъ, которые невольно сродняются съ ложью и обманомъ, какъ съ ходячею монетой. Коль-скоро безразсудство воспитателя требуетъ отъ воспитанника несбыточнаго, забывая притомъ, что на желанія и помышленія нѣтъ пошрины, то неминуемое послѣдствіе этого было и всегда будетъ: ложь, утайка, обманъ, подлогъ. Вотъ чему мы учимъ дѣтей, воображая, что учимъ ихъ добру, а послѣ называемъ неблагодарными выродками!

Итакъ, четверо дѣтей боярыни нашей умерли еще въ дѣтствѣ, не смотря на то, что ихъ кутали въ хлопчатую бумагу, или даже, можетъ быть, собственно по этой причинѣ. По тогдашнему повѣрью старыхъ слугъ, ходила по крайней мѣрѣ молва, что барыня *замучила* своихъ дѣтей. Пережилъ всѣ искусы эти одинъ сынъ, выросъ и возмужалъ, но, конечно, былъ и духовно, и тѣлесно тѣмъ, чѣмъ подобное воспитаніе могло его сдѣлать.

Скорбя душой о преждевременной смерти прочихъ дѣтей своихъ, боярыня до того прильпилась материнскимъ сердцемъ къ своему единцу, что берегла и стерегла его, поистинѣ, какъ зеницу ока. Въ глазахъ ея онъ не выро-

сталъ, не возмужалъ, онъ все еще былъ ребенкомъ, который не могъ жить безъ няньки, не могъ обѣдать безъ подвязной салфетки, не могъ уснуть безъ припѣва: «баю, дитятко, баю!» Ему, по общему закону природы, стукнуло двадцать лѣтъ, потомъ двадцать-пять и тридцать, но онъ оставался для матушки все тѣмъ же Петрушей, и она покати́лась за́мертво съ кресла, когда кто-то вздумалъ убѣждать ее отпустить сына на службу или хотъ опознаться на бѣломъ свѣтѣ, куда-нибудь за Москву-бѣлокаменную. Съ тѣхъ поръ о такихъ ужасахъ не было и рѣчи. Нашлась другая пріятельница нашей барыни, которая, зная о Петрушѣ гораздо болѣе, чѣмъ родная мать, стала намекать ей, что пора бы его женить; но послѣдствія были тѣ же: обморокъ, весьма близкій къ смерти; стало быть, конечно: — и объ этомъ нельзя было поминать. Боярыня, испуганная такими ужасными предложеніями, позвала сына, привѣсилась мертвымъ узломъ на шею его и, изъясняя изступленную материнскую любовь свою, подъ страшными заклятіями требовала отъ него троекратнаго повторенія клятвы, что онъ, не желая убить нѣжную мать свою, останется при ней на всю ея жизнь и будетъ слѣдовать во всемъ неотступно ея святой волѣ, не дозволяя себѣ даже и помысленій о волѣ собственной. Это ее нѣсколько успокоило, и она повесѣла; въ такомъ радостномъ расположеніи, желая излить милости свои на послушнаго сына, она позволила ему отдѣлать и убрать надворную пристройку, въ которой онъ жилъ, по прихотямъ и желаніямъ его, и несчастному осталось одно только утѣшеніе: убрать свои комнаты по про-

изволу, малиновыми, желтыми или голубыми обоями и занавѣсками.

При однихъ и тѣхъ же обстоятельствахъ прошло еще пять, а потомъ и десять лѣтъ. Петруша сталъ уже сорокалѣтнимъ мальчикомъ.... Тѣ, которые знали его, увѣряли, что онъ отъ природы былъ незолъ, неглупъ, и что изъ него, безъ всякаго сомнѣнія, вышелъ бы человѣкъ довольно дѣльный и порядочный, еслибъ не было этихъ необычайныхъ материнскихъ заботъ и успій о томъ, чтобъ вывернуть въ немъ все наизнанку. Что дѣлать! сердце матери больно.

Петруша внезапно заболѣлъ, пасмурная задумчивость его и нелюдимость (онъ стыдился людей) увеличилась, недужное тѣло стало изнемогать; врачи призадумывались, а матушка служила молебны, посылая каждые полчаса осведомляться о здоровьѣ сына, потому что сама она ужъ лѣтъ десять не выходила изъ комнаты. Каждая изъ посылокъ этихъ, чрезъ полчаса по ложкѣ, гдѣ попеременно то старая ключница, то одинъ изъ старыхъ слугъ являлись предъ постелью больного съ затверженнымъ привѣтствіемъ и вопросомъ, — каждая изъ посылокъ этихъ уже сама-по-себѣ волновала кровь больного и отзывалась желчью. Онъ всегда отвѣчалъ: *лучше*; но врачи и окружающіе находили, что ему со дня на день становилось хуже. Прошло еще два дня, и природа обнаружила тайну свою: Петруша лежалъ на смертномъ одрѣ; ему приходилось скоро умереть. Кто посмѣетъ сказать это матери? Никто. Каждые полчаса докладывали ей, что ему лучше. Срокъ насталъ, часъ уда-

рылъ и — душа молча отлетѣла. И этого никто не посмѣлъ бы сказать барынѣ, страшась внезапной смерти ея отъ такого извѣстія; но общая тревога, шумъ, суетня и вой въ цѣломъ домѣ вскорѣ заявили боярынѣ о какомъ-то необычайномъ событіи.

— Что такое?—спрашиваетъ она, позвонивъ — что тамъ сдѣлалось?

— Не знаю, сударыня.

— Такъ поди, узнай, да сходи кстати къ Петру Ивановичу, что-то онъ, голубчикъ, дѣлаетъ?

Посланная поспѣшила выскочить изъ дверей и, разумѣется, не возвращалась, а повыла съ прочими на дворѣ или въ сѣняхъ и потомъ забила къуда-то за двери.

Боярыня встревожилась, не постигая, что все это значитъ, позвала и отправила другаго, а затѣмъ и третьяго гонца и, наконецъ, ужъ не могла никого докликаться, ни дозвониться: всякій боялся показаться на глаза; ждали священника и нѣсколькихъ ближнихъ, пріятельницъ и друзей дома, за которыми послали. Въ нетерпѣніи и изумленіи своемъ, боярыня сама поднялась съ мѣста и пошла въ дѣвичью, въ которой она бывала только по нѣскольку разъ въ году, при такъ-называемомъ осмотрѣ своего хозяйства; тутъ встрѣтила ее забившаяся за сундуки ключница, съ воємъ повалилась въ ноги и начала во весь голосъ причитывать....

Обморокъ боярыни на сей разъ длился недолго, чувство несчастной матери одержало верхъ: она приказала взять себя двумъ слугамъ подъ-руки и вести въ пристрой. Со

стономъ и плачемъ, всплескивая руками и роняя голову свою то на одно плечо, то на другое, старушка наконецъ добралась до сыновнихъ покоевъ и переступила завѣтный порогъ; но, кинувшись къ трупу и упавъ въ безпамятствѣ у одра, она столкнулась съ какою-то вовсе незнакомою ей женщиною, которая, припавъ тутъ же на колѣни, выла, кричала, голосила и ломала руки. Боярыня еще не совѣтъ опаматовалась, какъ слухъ ея поразилъ также дѣтскіе голоса и вопли, протяжно возвышавшіеся отчаяннымъ завываньемъ своимъ надъ голосами сосѣдки ея и прислуги. Она открыла глаза и невольно взглянула на цѣлое семейство, повидимому столь близкое къ покойнику....


— Что это значитъ, спросила она: — кто это?

Всѣ молчали, а несчастная женщина съ девятью дѣтьми бросилась ей въ ноги. Она жила ужъ лѣтъ десять въ одномъ домѣ съ боярыней, а до хозяйки объ этомъ не дошло даже и слуха....

«Смерть кажетъ животы», говоритъ пословица, и въ этомъ случаѣ смерть ихъ выказала, если живое назвать можно животомъ. Боярыня лишилась послѣдняго дѣтища: она оставалась на свѣтѣ одна, какъ перстъ, переживъ и старшихъ и младшихъ и выдержавъ сына до пятидесяти лѣтъ какъ ребенка. Покинутая имъ семья, конечно, не входила въ расчетъ нѣжной матери, но что было дѣлать?

Съ этого времени она посвятила себя благотворенію и основала въ собственномъ барскомъ дворцѣ богадѣльню, въ которой, какъ мы видѣли, ее бранятъ и клануть съ утра до вечера. Она окончательно удалилась отъ свѣта,

не снимала печальной одежды, не переступала черезъ порогъ своей кельи, день и ночь молилась и плакала по сынѣ. Она понынѣ увѣрена, что посвятила всю жизнь свою любимому сыну и что во всѣхъ отношеніяхъ принесла себя ему на жертву. Ей и въ мысли не приходитъ, что жизнь эта соткалась изъ какой-то запутанной сѣти ханжества и неограниченнаго властолюбія и что, промаявшись восемнадцать лѣтъ на свѣтѣ, она жила только на муку ближнихъ. Ее, впрочемъ, очень уважаютъ и, называя женщиною святой жизни, ставятъ въ примѣръ всѣхъ добродѣтелей, не объясняя, впрочемъ, какихъ именно.



ХІІ.

ФОКУСНИКЪ.

— А, мой драгоценный! Вотъ встрѣча — истинный подарокъ, право! Куда путешествуете?

— Да я просто вышелъ послоняться немного.

— Такъ зайдемте же ко мнѣ. Не откажите хоть теперь; васъ поймать нелегко. Вы, если не ошибаюсь, даже не были у меня въ нынѣшнемъ жилищѣ моемъ, не видѣли ларовъ моихъ и пенатовъ, какъ говаривали поэты наши, лѣтъ двадцать или тридцать. А помните ли вы это время? Да гдѣ вамъ! вы уже составляете другое поколѣніе; вы — молодецъ въ сравненіи съ нами, старичками.... а согласитесь, пора была замѣчательная во многихъ отношеніяхъ. Сколько проснулось тутъ юныхъ силъ! сколько воспрянуло истинно-родныхъ чувствъ, горячихъ, благородныхъ.... и гдѣ же это все? Все опошлилось, все замерло въ самомъ зачатіи; снуржи не дозрѣло, а въ срединѣ ужъ загнило.... знаете ли, сколько есть замѣчательныхъ анекдотовъ того времени, ко-

торое я помню еще, будто все это случилось вчера или третьего дня?.... Ну, замолчу, однако, во-первыхъ, потому, что объ этомъ нехорошо говорить вообще, въ особенности же послѣ обѣда, когда еще пищевареніе не кончено; во-вторыхъ, и потому, что объ этомъ неловко говорить на улицѣ, а втретьихъ, наконецъ, потому, что помню предостерегательный для нашего брата-говоруну анекдотъ, извѣстный подъ заголовкомъ: *Еще одинъ казакъ остался....* Вы, конечно, его знаете?

— Нѣтъ, виноватъ, не знаю.

Амежду тѣмъ мы продолжали прогулку свою, причемъ правая рука моя ущемлена была локтемъ пріятнаго собесѣдника.

— Такъ послушайте: у насъ былъ — когда я еще носилъ военный мундиръ и, какъ говорится, не разъ за отечество жизнь терялъ — былъ нѣкто майоръ Посконный, человекъ, впрочемъ, почтенный, даже храбрый офицеръ, но самый несносный изъ всѣхъ говоруновъ и разскащиковъ въ мірѣ. Вотъ онъ, послѣ похода двѣнадцатаго года, бывало, засѣкалъ до смерти несчастныхъ слушателей безконечными повѣствованіями о событіяхъ, которыхъ былъ свидѣтелемъ. Надобно вамъ сказать, что человекъ этотъ никогда не вралъ, но правда его была хуже всякой лжи, потому что ей никогда не было конца. Любимымъ разсказомъ его была переправа войскъ нашихъ черезъ Рейнъ. Поймавъ однажды слушателя — разумѣется, за пуговицу — которому не было никакой возможности дослушать все это до конца, потому что ему необходимо было поспѣшить въ другое мѣсто, гдѣ его давно ожидали, — поймавъ этого несчастнаго,

маіоръ Посконный продержалъ его за пуговицу неболѣе какихъ-нибудь двухъ часовъ, переправляя войска съ большою осторожностью, батальонъ по батальону и эскадронъ по эскадрону и, наконецъ, благодаря Богу, переправилъ ихъ благополучно; нетерпѣливый слушатель, порывавшійся во все время въ тоскѣ на просторъ, обрадовался этому — какъ я теперь этой встрѣчѣ съ вами—и, вздохнувъ, сказалъ: «ну и слава Богу, теперь всѣ», а самъ ухватился было за шапку; но маіоръ спокойно отвѣчалъ, не выпуская, впрочемъ, пуговицы изъ рукъ: «Нѣтъ, позвольте, еще одинъ казакъ остался».... И съ этого остальнаго казака завязывалась рация, которую, бывало, не переслушаешь съ утра до полуночи. Такъ вотъ, я говорю, уроки нашему брату! Ну, а вы какъ поживаете?

Между тѣмъ мы дошли до его квартиры. Я слышалъ объ отдѣлкѣ ея, о томъ, что она устроена на англійскій манеръ, въ трехъ ярусахъ дома, съ теплой и красивой лѣстницей посрединѣ. При всемъ томъ я съ трудомъ вѣрилъ глазамъ своимъ и не постигалъ чудесъ, которыя видѣлъ. Человѣкъ, безъ всякаго состоянія, безъ капиталовъ, безъ имѣнія, безъ всякихъ доходовъ, жилъ всегда, сколько люди запомнятъ, и живетъ теперь, великолѣпно, роскошно, проживая десятки тысячъ въ годъ. Ему надобна старая квартира не только потому, что она по отдѣлкѣ и убранству сдѣлалась уже не совсѣмъ модною, но и потому, что несчастный хозяинъ около полугода употреблялъ всевозможныя средства, чтобъ избавиться отъ жильца, который никогда не платилъ за квартиру, а умѣлъ, Богъ-вѣсть

какъ, занимать ее военнымъ постоемъ; иной бы затруднился при такихъ обстоятельствахъ, но фокусникъ нашъ, напротивъ, извлекъ изъ этого еще значительную для себя пользу: онъ выбралъ другую квартиру, гораздо шире и удобнѣе старой, въ лучшей части столицы, отдѣлалъ ее по-княжески, не щадя ничего, и перебрался. Какъ это сдѣлалось, чѣмъ уплачены расходы, непосильные даже для человѣка съ состояніемъ, какимъ образомъ въ теченіе тридцати лѣтъ, то-есть со времени возмужалости своей, фокусникъ нашъ, живя постоянно въ одномъ и томъ же городѣ, всегда находитъ такой запасъ новыхъ и свѣжихъ дураковъ, готовыхъ для него разориться, — все это тайна его, какъ были свои непроницаемыя тайны у знаменитаго Пинетти и его собратій.

У входа съ крыльца въ переднюю, на половину барина, я замѣтилъ вставленное въ двери, на вышинѣ человѣческаго роста, стеклышко. Необыкновенное устройство это обратило на себя мое вниманіе. Замѣтивъ это, хозяинъ спросилъ: «что вы смотрите? — а! это... это такъ, для удобства, для предварительнаго знакомства съ посѣтителемъ. Ужасно много мошенниковъ всякаго рода шатается теперь по городу.» Я уже слышалъ прежде, что, вслѣдствіе такого предварительнаго знакомства съ посѣтителемъ, иному предоставлялось оборвать колокольчикъ, но дверь для него не отворялась. Мы вошли въ первую комнату этой половины: палевыя, шелковыя обои, съ бѣлыми разводами; мебель орѣховая, рѣзная, новѣйшаго вкуса; занавѣсы надъ окнами и дверьми ярко-желтаго штофа съ малиновымъ при-

боромъ; люстры и канделябры прямо изъ Парижа; картины не одинаковаго, но и не послѣдняго достоинства, о которыхъ рассказы и поясненія словоохотливаго хозяина могутъ только развѣ поспорить съ великолѣпемъ и изяществомъ замѣчательныхъ по красотѣ своей рамокъ. Я былъ истинно изумленъ, постоянно думая о томъ, что тутъ нѣтъ ни одной нитки, за которую были бы заплачены деньги. Мы прошли еще двѣ комнаты, заглянули въ боковую, уборную, и вошли въ кабинетъ. Уборная эта была самая важная и таинственная комната въ домѣ, которая всегда показывалась только поверхностно, истинное же достоинство и назначеніе ея хозяинъ оставлялъ для посѣтителей подъ спудомъ; но молва — этотъ злодѣй всѣхъ тайнъ людскихъ и тайниковъ — знала все и рассказывала вотъ что: когда прорывался въ переднюю докучливый и грозный посѣтитель, для котораго хозяина разъ навсегда не было дома, то онъ въ одинъ прыжокъ спасался въ уборную, замыкать ее изнутри, вынималъ ключъ и спокойно ждалъ развязки. Для этого, во-первыхъ, въ уборную было двое дверей: одна явная, изъ гостиной, и если посѣтитель требовалъ впустить его туда, то объявлялось, что баринъ, выходя со двора, ключъ отъ уборной всегда уноситъ съ собой; другая же, потайная, подъ лицо съ шпалерами и съ другими затѣями, вела туда прямо изъ кабинета. Во-вторыхъ, не только въ уборной, но и во всѣхъ комнатахъ была принята особенная предосторожность, чтобъ нельзя было пустить соглядата въ замочную шелку: всѣ дверные замки

были завѣшены небольшими ковриками прекрасной работы. Въ-третьихъ, не только великолѣпный умывальный шкафъ, стоявшій въ уборной, могъ служить, въ случаѣ крайности, довольно сноснымъ помѣщеніемъ для хозяина, но изъ уборной же вела дверь, скрытая въ подобіи шкафа, прямо на черную лѣстницу, гдѣ, насупротивъ, жилъ сапожникъ, большой пріятель нашего милаго хозяина, потому что этотъ, какъ лиса, никогда не промышлялъ по сосѣдству съ жилищемъ своимъ и у сапожника обуви не заказывалъ. Еслибъ нужно было сдѣлать о фокусникѣ по законамъ нашимъ повальный обыскъ, то всѣ отзывы о немъ — кромѣ развѣ только отзыва хозяина дома — были бы въ его пользу, потому что онъ разъ навсегда жилъ со всѣми сосѣдами въ ладахъ и умѣлъ всякаго на первыхъ порахъ обворожить и расположить въ свою пользу. Къ этому-то сапожнику спасся нашъ фокусникъ, между прочимъ, однажды, какъ гласитъ молва, когда какой-то отчаянный заимодавецъ хотѣлъ прибѣгнуть къ крайней степени преступнаго самоуправства и ворвался въ жилище фокусника, не смотря на всѣ предосторожности хозяина, съ нарочно купленною для этого случая надежною камышевою тростью.

Кабинетъ въ самомъ дѣлѣ озадачилъ меня, и я готовъ признать его кабинетомъ рѣдкостей, художества, ремеслъ и промысловъ — словомъ, чѣмъ угодно. Гуськамъ и кронштейнамъ со статуйками лучшей работы не было конца; книгамъ, картинамъ и счету нѣтъ; а куда ни обратишься, на что ни взглянешь, — все привлекаетъ вниманіе то блес-

комъ, то вкусомъ, то странностью, то удобствомъ и уютностью...

Я стоялъ и изумлялся, между тѣмъ какъ хозяинъ занималъ меня очень пріятно, безъ умолку. Признаюсь, я слушалъ только краемъ уха. Я думалъ тогда про себя: «еслибъ я былъ въ такомъ положеніи, въ какомъ находился хозяинъ за нѣсколько мѣсяцевъ, что бы я сталъ дѣлать? еслибъ, то-есть, я задолжалъ во всѣ лавочки, лавки, магазины, лабазы, подвалы, винные погреба, портерныя, ликерныя и штофныя, всѣмъ сапожникамъ, портнымъ, обойщикамъ, столярамъ, даже полотерамъ, задолжалъ десятки тысячъ, то-есть гораздо болѣе, чѣмъ у меня, вѣроятно, во всю остальную жизнь мою будетъ въ рукахъ наличными... еслибъ, сверхъ того, я забралъ у всѣхъ добрыхъ пріятелей, у кого сто, у кого тысячу, у кого наковнецъ, пять или десять рублей, да у ростовщиковъ, курьеровъ, вольноотпущенныхъ, крещеныхъ жидовъ и армянъ — по двадцати и двадцати-пяти со ста—также десятки тысячъ... еслибъ, къ этому, со всѣхъ сторонъ поступали на меня взысканія, полиція ходила описывать и опечатывать гуськи, картины и кронштейны мои, отчаянные заимодавцы, скрежеща зубами, гонялись за мною съ палками... а хозяинъ выживалъ бы меня, чрезъ полицію, на улицу, и мнѣ потому только осталась бы, для преклоненія главы отъ непогоды, моя бывшая передняя; что полиція же обязала хозяина дома подпиской хранить вошедшія въ опечь вещи мои, запечатавъ, впрочемъ, всѣ комнаты, между тѣмъ какъ я же былъ обязанъ подпиской отвѣчать

за цѣлость печатей...—спрашиваю: что бы я сталъ дѣлать въ такомъ положеніи?... Холодъ пробѣжалъ по мнѣ отъ головы до пятокъ и встряхнулъ всѣ мои члены.... Люди находятъ одинъ только выходъ изъ этой пропасти — пулю въ лобъ!... Я опять, снова очнувшись, оглянулся вокругъ и не могъ не сознаться внутренно, что фокусникъ умнѣ насъ: онъ перешелъ изъ описаннаго мною положенія непосредственно въ настоящее... Какимъ образомъ? — Это его тайна.

Звонокъ заставилъ меня опомниться и оглянуться. Хозяинъ не показавъ въ движеніяхъ своихъ никакого участія къ этому ничтожному событію, или старался не показать его, но природа ему измѣнила: лицо его приняло выраженіе челоуѣка, сосредоточившаго все вниманіе свое, всѣ напряженныя умственныя силы на одинъ предметъ, и въ то же время онъ очень ловко, будто случайно, понизилъ голосъ; я сталъ продолжать разговоръ очень тихо, прислушиваясь чуткимъ ухомъ своимъ къ тому, что происходило въ передней. Я уже прежде слышалъ, что если посѣтитель фокусника принадлежалъ не къ числу желанныхъ и притомъ какъ-нибудь прорывался, не смотря на всѣ отказы и запреты часоваго, то этотъ подавалъ условленный знакъ, задерживая между тѣмъ посѣтителя по возможности громкимъ провозглашеніемъ въ залѣ словъ: «да я же вамъ говорю, сударь, что ихъ нѣтъ у себя...» И тогда хозяинъ поспѣшно скрывался, чрезъ потайную дверь, либо въ уборную, либо къ другу своему, сапожнику, увѣряя его, что съ особеннымъ удовольствіемъ наблюдаетъ, какъ тачаютъ.

голеннища или проторачиваютъ рантъ. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я подобнаго явленія, но вышло совсѣмъ иное: хозяинъ вдругъ принялъ прежнюю, непринужденную и незабоченную складку свою, опять возвысилъ голосъ и встрѣтилъ очень привѣтливо и снисходительно молодого человѣка, который съ нимъ раскланивался. «Ничего, ничего, все равно», отвѣчалъ любезный хозяинъ на извиненія художника, опоздавашаго нѣсколькими днями противъ обѣщанія своего и представлявшаго теперь заказанную картину на судъ знатока и своего патрона. Этотъ взглянулъ на картину, отнесъ ее подальше, опять приблизился, опять отставилъ, посмотрѣлъ въ кулакъ и, съ благодарнымъ движеніемъ головы, будто невольно вырвавшимся у знатока, сказалъ: «очень мило, очень мило; это талантъ.» Помолчавъ немного, онъ продолжалъ: «это вамъ истинно приноситъ много чести, молодой человѣкъ; очень-много чести!»

— Вы незнакомы? спросилъ онъ меня: — это молодой художникъ N. N. Вы, вѣроятно, слышали о немъ; онъ подастъ большія надежды, большія надежды. Посмотрите, какъ это мило! Это, такъ-сказать, моя мысль, моя задача, и посмотрите, какъ это прекрасно исполнено! Очень хорошо, продолжалъ онъ, обращаясь къ художнику. — Вамъ слѣдуетъ... мы, кажется, условились за триста рублей?

— Двѣсти рублей, сказалъ художникъ робко и въ небольшомъ недоумѣніи, видимо сожалея, что ограничился такою скромною цѣною, когда этотъ богачъ, предъ которымъ онъ теперь стоитъ, даже не помнитъ хорошенько цѣны и,

повидимому, съ такою же беззаботностью заплатилъ бы триста, какъ теперь платитъ двѣсти.

— Да, виноватъ, извините, двѣсти... сейчасъ... благодарю васъ... право, очень благодаренъ.

Онъ отошелъ къ столу; пружина машиннаго ларца отозвалась нѣсколькими ударами, въ родѣ часовъ съ репетиціею; замокъ шелкнулъ, и хозяинъ явился опять передъ нами, передавая художнику съ благодарностью деньги...

Признаюсь, я не вѣрилъ глазамъ своимъ и мысленно самъ схватился за карманъ; мнѣ казалось, что комедія эта не могла быть сыграна ни для кого, кромѣ меня недостойнаго, изъ чего бы и слѣдовало заключить, что у хозяина есть какіе-нибудь виды на меня... Но я въ то же мгновение былъ пораженъ явленіемъ, которое могъ ожидать еще менѣе перваго: фокусникъ только далъ бѣдному художнику протянуть руку за деньгами, какъ вдругъ быстро отдернулъ ихъ; ударивъ себя другою рукою по лбу, назвалъ себя скотиной, извинился и продолжалъ:

— Боже мой! какъ я разсѣянъ, какимъ я подъ старость дѣлаюсь забывчивымъ, не повѣрите, ей-богу! Вообразите: теперь только, отдавая вамъ должокъ свой, вотъ эти двѣсти рублей, я вдругъ вспомнилъ, что обѣщалъ... (онъ поспѣшно взглянулъ на часы) ну да, слава Богу, еще не опоздалъ, часъ только... обѣщалъ сегодня непременно къ двумъ часамъ отослать эти деньги.

Онъ позвонилъ, челоуѣкъ вошелъ; онъ подалъ ему деньги и сказалъ:

— Отослать сію же минуту эти двѣсти рублей съ Ники-

форомъ къ Ивану Павлычу — знаешь? Да сейчасъ же! Извините, любезнѣйшій, — продолжалъ онъ, обратившись къ художнику: — завтра же ровно объ эту пору вы получите свое — объ этомъ не беспокойтесь: картина ваша у меня на глазахъ, и я не забуду.... завтра въ часъ, непременно, даже, пожалуй, въ полдень, ровно въ полдень; я уже къ одиннадцати часамъ буду при деньгахъ. Тогда я попрошу васъ еще зайти ко мнѣ: у меня есть еще другая мысль, которую вы, конечно, не откажетесь исполнить и исполните съ такимъ же талантомъ, какъ эту, и, право, вамъ это впередъ послужить на пользу!

Бѣдный художникъ до того былъ этимъ пораженъ, что покраснѣлъ до самыхъ мочекъ ушей, раскладывался, ушелъ и — распростился съ деньгами своими навсегда: онъ ихъ только понюхалъ. Впередъ хозяина для него никогда болѣе не было дома, а встрѣчаясь съ нимъ въ обществѣ, онъ долженъ былъ выслушать нѣсколько разъ преловкій и презабавный рассказъ фокусника о томъ, какъ онъ, фокусникъ, разсѣянъ, и какъ вотъ этотъ молодой человекъ спасъ его однажды, случайно, отъ непріятности не сдержать слово свое, напомнивъ такимъ-то именно образомъ о другомъ долгѣ.... «Вообразите», говорилъ онъ: «и въ ту самую минуту, когда я уже протянулъ руку, чтобъ передать ему деньги, я вдругъ вспомнилъ» и прочее. Все это бѣдный художникъ долженъ былъ выслушивать терпѣливо: онъ не могъ, безъ слишкомъ грубаго нарушенія всякаго общественнаго приличія, напомнить при этомъ случаѣ, что другіе двѣсти рублей о-сю пору еще не заплачены.... А

между тѣмъ, само-собою разумѣется, деньги возвратились въ шкатулку хозяина, у котораго и не бывало въ домѣ слуги, подъ названіемъ Никифора, и самое имя Ивана Павловича сказано было наобумъ и придумано въ ту критическую минуту, когда отгадалось загадочное порученіе идти туда, невѣдомо-куда, искать того, невѣдомо-кого, отдать тому, невѣдомо кому....

Художникъ, какъ я сказалъ уже, ушелъ, и я довольно разсѣянно продолжалъ слушать пріятные рассказы моего любезнаго хозяина, но зато съ истиннымъ изумленіемъ наблюдалъ всѣ дѣйствія и движенія его, уловки и непринужденные, глубоко обдуманые приемы, и рассматривалъ повременамъ всѣ окружающіе меня предметы. Чѣмъ больше я видѣлъ и слышалъ, тѣмъ болѣе изумлялся. Кончивъ презабавный и просто рассказанный анекдотъ, хозяинъ отнялъ у меня, безъ обиняковъ, шляпу, позвонилъ и приказалъ подать завтракъ. Я спокойно ожидалъ исполненія этого приказанія — виновать, считая его за надувательство: я зналъ очень хорошо, что на фокусника, какъ выше упомянуто, вообще, по принятымъ имъ правиламъ, работали портные и сапожники самыхъ отдаленныхъ странъ; что припасы также забирались сначала въ дальнихъ лавочкахъ и магазинахъ, а въ ближайшихъ уже тогда только, когда счастье начинало измѣнять и вскорѣ предстояло перемѣнить жилище; я зналъ, что люди его, на этомъ основаніи, бѣгали за каждой свѣчой и за кускомъ мыла изъ Морской къ Николѣ-Морскому, что и тамъ кой-какіе припасы добывались почти съ бою, а большею частью не давалось ничего; но,

къ крайнему изумленію моему, черезъ десять минутъ появился балыкъ, икра, сельди въ маслѣ, маринованная форель, сыръ двухъ родовъ, вино.... Я поправился на стугѣ и подумалъ рѣшительно: «пора бѣжать: это не къ добру; тутъ непременно кроются какіе-нибудь виды на меня; буду держать ухо востро.»

Заманчивая бесѣда продолжалась, и хозяинъ, вспомнивъ, что я играю на віолончели, присталъ неотступно, чтобъ назначить вечеръ и сыграть что-нибудь съ супругой его большой любительницей музыки и искусной пианисткой. Я старался замять разговоръ, не желая завязывать такого короткаго знакомства и зная притомъ, что супруга фокусника играетъ вольно, не стѣсняясь ладомъ и мѣрой, почему и играть съ нею вмѣстѣ бѣда. Надобно также сказать, что у нихъ бывали, не смотря на это, музыкальные вечера, на которыхъ хозяйка пожинала рукоплесканія, будучи сопровождена скрипкой или віолончелью лучшихъ здѣшнихъ солистовъ. Виртуозовъ этихъ приглашали, какъ на урокъ, по двадцати-пяти рублей ассигнаціями за часъ, съ условіемъ платить за десять уроковъ. Девять вечеровъ оканчивались благополучно, хозяева старались обворожить скрипача своею свѣтскою любезностью; но когда онъ приходилъ на десятый урокъ, то барыни не было дома; на слѣдующей недѣлѣ случалось то же, тамъ опять то же: не отказываютъ, не приказываютъ, а въ урочный часъ нездорова, либо нѣтъ дома. Между тѣмъ, взять уже вмѣсто скрипача віолончелистъ п день перемѣненъ; заработавъ также смычкомъ своимъ двѣсти двадцать пять рублей и натѣшивъ отборное

общество, онъ приходитъ за десятимъ билетикомъ, положивъ и бумажникъ свой про запасъ въ карманъ для получения денегъ; но господъ дома нѣтъ. «Это неловко», подумалъ онъ: «я временемъ своимъ дорожу и попрошу, безъ обиняковъ, чтобъ часъ этотъ былъ зачтенъ въ число уроковъ....» Проси, другъ мой; было бы кого просить: тебѣ придется еще потерять много такихъ часовъ и много разъ прогуляться даромъ, если ты не рѣшишься похерить изъ своего прихода двухсотъ пятидесяти рублей и тѣмъ избавиться отъ лишнихъ и вовсе бесполезныхъ хлопотъ!

Расположивъ меня окончательно любезными шуточками въ свою пользу, фокусникъ взялъ меня чуть не подмышку и, снабдивъ превосходной сигарой, повелъ прогуляться назадъ и впередъ по комнатамъ. Онъ искусно навелъ бесѣду на промышленное направленіе вѣка, коснулся неминуемыхъ злоупотребленій, изъ этого возникающихъ, отвергъ съ негодованіемъ и заклеимлъ презрѣніемъ недостойныхъ сподвижниковъ этого зла, изобразилъ яркими и теплыми красками всю пользу благомыслящаго производителя и смысленаго, оборотливаго промышленника, смѣлаго и оборотливаго, но честнаго человѣка; требовалъ отъ него, кромѣ святой добросовѣстности и страстной любви къ отечеству, также нѣсколько геніальности, а затѣмъ объявилъ мнѣ, до времени въ видѣ тайны, что онъ намѣренъ основать товарищество особаго рода — добродѣтельное, благодѣтельное, общепользное, обѣщающее, между прочимъ, ровно пятьдесятъ процентовъ ретивымъ членамъ своимъ. «Предпріятіе это», продолжалъ онъ: «вѣрное; оно рассчитано какъ дважды

два, а между тѣмъ оно и довольно ново, и можно сказать даже безпримѣрно. Чтожъ! пора же и намъ указывать путь другимъ; не все тянуться гуськомъ. Вотъ, изволите видѣть, я хочу основать дружное, тѣсное товарищество, которое мы назовемъ именно товариществомъ, а не компанією, на зло всѣмъ нѣмцамъ, — товарищество изъ весьма немногихъ избранныхъ людей, для образованія на паяхъ артелей мирныхъ маркитантовъ. Вамъ это покажется страннымъ? Слушайте: всякому извѣстны неудобство, затрудненіе, дороговизна, заботы и хлопоты по доставленію на домъ необходимѣйшихъ, насущныхъ потребностей: воды, дровъ и пищи. То нѣкого послать въ мясные, зеленые ряды и къ хлѣбнику, то водовозъ запилъ къ празднику, то человѣкъ васъ обманулъ, то мясникъ обвѣсилъ, то дворникъ надулъ, — словомъ, объ этомъ нечего и говорить, это аксіома. Ну, я предполагаю учредить артели, за круговой поручкой, какъ учреждены биржевыя артели великимъ, геніальнымъ преобразователемъ Россіи, и артели эти будутъ не разносить — замѣтьте, а развозить по столицѣ, доставляя на домъ, всѣ съѣстные припасы, воду и всѣ питія. На всѣхъ улицахъ устроены будутъ особыя кружки, въ которыя каждый хозяинъ опускаетъ записку, съ поименованіемъ нужнаго ему на слѣдующій день; адреса будутъ печатные, и по этой запискѣ, съ выставкой на ней счета, въ восемь часовъ утра все принесено будетъ на вашу кухню. А? подумайте объ этомъ удобствѣ! Все это развозиться будетъ въ опрятныхъ крытыхъ рывдванахъ, съ гербомъ и девизомъ общества на бокахъ, съ девизомъ *честность и точность* — и вы рас-

плачивается тогда, когда кухарка ваша приметъ все сче- томъ, мѣрою и вѣсомъ.... Вотъ обзоръ этого товарище- ства, съ подробными расчетами: видите, пятьдесятъ про- центовъ чистаго барыша — это вѣрно, это цифры, факты, математика.... Если вы хотите присоединиться....»

Звонокъ раздался сильнѣе обыкновеннаго и дважды сряду: фокусникъ поднялъ ушки на макушку, пронеслись громкіе и смѣшанные звуки въ передней, говоръ перешелъ въ крикъ и явную брань.... Я не успѣлъ оглянуться, какъ хозяина моего не стало: онъ исчезъ въ моихъ глазахъ, какъ сквозь землю провалился, и крупные, рѣшительные шаги послышались въ залѣ, а за ними громкое оправданіе лакея: «Хоть сами извольте посмотрѣть, нѣтъ; вотъ и они пришли-было дожидаться, да нѣтъ; видно, не скоро бу- деть....»

Я ухватилъ шапку, прошелъ мимо какого-то усача съ рѣшительнымъ выраженіемъ въ лицѣ, спустился бѣгомъ съ лѣстницы и съ какою-то чадной головой пришелъ домой....



ХІІІ.

НЕВОЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ.

Бугровъ и Уключиновъ сошлись на одиннадцатомъ году возраста въ одномъ изъ казенныхъ заведеній и росли вмѣстѣ. Судьба свела ихъ въ одну роту и одну камеру, и даже кровати ихъ постоянно стояли рядомъ, потому что они оба были волосъ-въ-волосъ одного роста, такъ что по ранжиру никого нельзя было всунуть между ними. Въ теченіе шести лѣтъ то Бугровъ становился предъ Уключиновымъ, то опять Уключиновъ напередъ Бугрова, смотря по тому, кто кого въ теченіе года на полиніи переросталъ; но никогда нельзя было подобрать кого-нибудь въ средину между обоими. Пришедшись другъ другу по нраву, они свыклись и крѣпко сдружились. Дружба ребяческая ничего не стбитъ: она забывается, какъ вчерашній обѣдъ; но если она продлится до юношескихъ лѣтъ и успѣетъ наполнить ту страшную, отчаянную пустоту, которую чувствуетъ человѣкъ, когда въ первый разъ начнетъ постигать назна-

ченіе свое, широко разведетъ сильныя руки, чтобъ обнять весь свѣтъ, и заплачетъ о своемъ одиночествѣ; если, говорю, дѣтская дружба доживетъ до этой поры и потребность союза пробудится одновременно въ той и другой груди, то тамъ дружба бываетъ сильна и могуча.... Она рѣдка — это правда: мы подавляемъ, изъ свѣтскаго приличія, это горячее чувство, заковываемъ его благовременно въ ручныя и ножныя кандалы и воображаемъ, что сдѣлали дѣло, что одержали надъ собою побѣду.... Мы ходимъ тогда по бѣлу свѣту, заложивъ руки въ карманы и смѣло приподнявъ бороду, какъ побѣдители; но, вѣрьте мнѣ, нашъ взоръ дѣлается либо мутнымъ, либо наглымъ, а чистоты въ немъ нѣтъ; осанка наша самодовольна, но внутренняго раздора намъ не укротить.... Чего недостаетъ — этого мы не знаемъ, не догадываемся, а недостаетъ того, безъ чего Богъ не велѣлъ жить человѣку — друга и товарища....

Уже за годъ до выпуска Бугровъ и Уключиновъ толковали все о томъ, какъ повезутъ другъ друга знакомить у себя въ родительскомъ домѣ, какъ будутъ тамъ дѣтски веселиться, хозяйничать въ саду, ѣздить верхомъ въ полѣ, удить рыбу, пить молоко, ѣсть творогъ и масло, какъ примутъ ихъ родители того и другаго, какъ имъ обрадуются сестры, — словомъ, они долго напередъ ужъ бредили домашнимъ благополучіемъ своимъ, и это принесло имъ много, много пользы. Мечты такого рода, заставляющія насъ ежеминутно считать милыхъ своихъ присушними, очищаютъ помыслы наши и хотѣніе, облагораживаютъ нравственность.

Настало наконецъ желанное время это; оба стали гото-

виться къ отъѣзду и, обвиняая другъ друга втихомолку (потому что имъ какъ-то совѣстно было товарищей), они повторяли, то одинъ, то другой, что едва только достаетъ силы дожидаться терпѣливо этого благополучія.... Ихъ, по просьбѣ, назначили въ одинъ полкъ, они отправились вмѣстѣ, положивъ заѣхать сперва къ одному, къ Бугрову, въ Тверскую губернію, а тамъ къ другому, въ Орловскую.

Офицерскій мундиръ и первые эполеты, тряска рядкомъ на троичной телегѣ, чистый воздухъ, тепло и зелень, просторъ до безконечности во всѣ четыре стороны, легкая фуражечка на головѣ, день и ночь колокольчикъ подъ дугой, ободрительные привѣты ямщика къ лошадямъ, своя волюшка, чинъ прапора и наконецъ сабля съ темлякомъ, — какое это счастливое время!

Ранымъ-ранешенько утромъ дорожные наши своротили съ большой дороги на проселочную, и у Бугрова сердце вдругъ забилося вдвое сильнѣе. Оставалось всего верстъ двадцать-пять до родной усадьбы его, гдѣ не бывалъ онъ шесть лѣтъ. Тамъ, по письмамъ, давно ужъ знали и любили Уключинова и примутъ обоихъ съ криками радости.... выбѣгутъ на крыльцо, во дворъ, сестры напередѣ, за ними мать, а тамъ и разсудительный отецъ, который никогда и ни въ чемъ не любитъ торопиться и потому спокойно пропуститъ всю молодежь эту мимо себя, а самъ развѣ немного только прибавитъ шагу противъ обыкновеннаго, зная, что онъ не опоздастъ....

Было еще очень рано, май на исходѣ, а въ маѣ хорошо.... даже и въ Тверской губерніи. Легонькій туманъ,

какъ будто налегшій за ночь для отдыха на землю, вяло поднимался опять въ походъ; потягиваясь спросонья по всѣмъ проходамъ и ложбинамъ, принимая образъ, онъ кутался въ сѣрый охобень свой, сливаясь тутъ и тамъ со столбами дыма; вершины холмовъ и проснувшіеся лѣса ужъ страхнули съ себя это ночное одѣяло, въ свѣжей зелени встрѣчали красное солнышко и готовились продышать денекъ среди раздолья, на радость человѣку, во славу Создателя. Жаворонокъ ликовалъ надъ гнѣздышкомъ своимъ, потряхивая лѣтками; грачи стаями тянулись вдаль съ ночлега въ поле, впереди глухо раздавался равномерный стукъ валька какой-то ранней прачки, а ему вторилъ двойной отголосокъ. Все было празднично и чинно; даже крестьянъ не видно было въ полѣ, потому что это было время такъ-называемаго междупарья.

«Какъ мы съ тобой счастливы!» сказалъ живой и вертлявый Бугровъ своему товарищу, который сидѣлъ задумавшись: — «какъ мы счастливы! какія радости насъ ожидаютъ, не правда ли? — «Что?» спросилъ Уключиновъ, приподнявъ брови, потому что онъ изъ-за колокольчика не слышалъ ни одного слова. Бугровъ принужденъ былъ возвысить голосъ и прокричать товарищу изъясненіе своего восхищенія на ухо. Тотъ кивнулъ головой, промолчалъ, а потомъ, немного погодя, надумался и пожалъ товарищу руку. Бугровъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ, оглядывался во всѣ стороны, старался узнавать и припоминать мѣстность, кричалъ, рассказывалъ и объяснялъ. Впервые еще испытывалъ онъ это чувство, —увидать послѣ первой и долгой разлуки

родину свою, и не зная, куда дѣваться отъ восторга. Два часа прошли скоро, поднялись небольшимъ изволокъ на взлобокъ и увидѣли еще за горой невысокую колокольню; спустились, перевалили черезъ холмистую гряду — и вотъ усадьба лицомъ къ лицу: просадъ толстыхъ, старыхъ деревьевъ проѣхали мимо; потому-что она когда-то посажена была вдоль и посрединѣ двора, въ томъ предположеніи, что современемъ выстроится тутъ барскій домъ; но дѣло не состоялось: просадъ выросла и заглохла, а маленький домикъ, поставленный въ сторонѣ и назначенный современемъ подъ ухожи, все еще служилъ, ужъ другому поколѣнію Бугровыхъ, жилымъ домомъ, постепенно расплываясь въ ширину, какъ старый боровикъ; остановились противъ воротъ; путники соскочили, и Бугровъ, покинувъ своего товарища, пустился бѣгомъ на крылечко, перескочилъ въ одинъ прыжокъ нѣсколько ступеней и остановился, озадаченный встречей старушки въ самыхъ дверяхъ. Поглядѣвъ съ секунду на нее, онъ закричалъ: «няня Василиса!» и бросился ее обнимать. Старуха, съ своей стороны, обняла его пріемовъ въ десять, опускаясь послѣдовательно все ниже и ниже, такъ что Бугровъ не успѣлъ опомниться, какъ она дошла ужъ до икръ его и сапожныхъ носковъ.

Въ домѣ не спали, но никто почти не былъ еще готовъ для пріема такихъ дорогихъ гостей, особенно одного чужаго. Отецъ, вопреки предположеній сына, явился первый и обнялъ Уключинова почти съ такимъ же отеческимъ чувствомъ, какъ своего сына. Затѣмъ вышла поспѣшно мать, приготовившись принять сына, ради гостя, съ нѣкоторымъ прили-

чемъ и чинностью; она ужь вошла въ комнату съ чепцомъ на бекрень, хотѣла было начать раскланиваться, но залилась слезами и бросилась на шею сына, который обнялъ ее въ одинъ прыжокъ. Какъ только показалась старшая дочь Варвара, то братецъ ловко подсунулъ ей, вмѣсто себя, гостя, на котораго она и разлетѣлась со всего разгону, а самъ за него уклонился.... Она внезапно вспыхнула, когда руки ея уже коснулись плечъ мнимаго брата, который стоялъ, руки по швамъ, наклонивъ сперва почтительно голову, а потомъ какъ-будто готовый отклонить ее вбокъ или назадъ.... Братецъ, захохотавъ, выскочилъ изъ-за друга и обнялъ обоихъ въ одинъ приѣмъ, а тамъ еще разъ сестрицу въ-одиночку, и не успѣлъ еще выпустить ее изъ объятій своихъ, какъ въ комнату влетѣла другая сестра и втерлась между ними третьею....

«Что ты сдѣлалъ со мною сегодня?» укорялъ Уключиновъ вечеромъ своего товарища; «я во весь день не зналъ куда дѣваться, право; и самъ не знаю, что со мной, а какъ только взгляну на сестру твою, такъ бы вотъ въ землю ушелъ....»

Прошла недѣля; болѣе оставаться имъ нельзя было, и товарищи, между слезъ, благословеній, пожеланій, снова усьлись въ бричку, которая должна была довести ихъ до первой станціи, и покатали....

Куда ушли всѣ радости эти? гдѣ минута, когда Бугровъ воскликнулъ: «о, какъ мы счастливы....» Всего прошла одна только недѣля, ничего существеннаго не измѣнилось, а горько ему было и очень тяжело на душѣ. Оставалось

заѣхать еще въ Орловскую губернію къ Уключинову, погостить и тамъ съ недѣлку, и затѣмъ прямымъ и скорымъ путемъ черезъ Днѣстръ, черезъ Прутъ, черезъ Дунай — и Богъ вѣсть куда дальше, куда полетитъ двуглавый орелъ.

На первой станціи, при перекладкѣ вещей въ телегу, встрѣтилось маленькое затрудненіе уложить вещи, хотя онѣ прежде укладывались свободно: оказалось, что старушка напекла цѣлый возъ однихъ подорожниковъ, не говоря ужъ о жареныхъ индѣйкахъ и поросятахъ. Не смотря ни на какое стараніе, значительная часть этого продовольствія была снова погружена въ бричку и поѣхала при нѣжномъ, благодарственномъ письмѣ, домой. Уключиновъ, получившій позволеніе называть Вареньку также милою сестрицей, приписывалъ ей, въ этомъ званіи, нѣсколько строкъ, и сбоку, поперекъ письма, выставилъ парочку многозначительныхъ стихковъ, выбранныхъ на память изъ Жуковского....

Чѣмъ ближе путники наши подъѣзжали къ Орлу, тѣмъ смиреннѣе и задумчивѣе становился вѣтрогонъ Бугровъ, между тѣмъ какъ Уключиновъ постепенно оживалъ и дѣлался развязнѣе обыкновеннаго. Подъ-вечеръ, въ жаркій день первыхъ чиселъ іюня, Уключиновъ сталъ мало-по-малу признавать полузабытую мѣстность: «Вотъ эту ветхую, деревянную церковь я помню; въ это село я ѣздилъ однажды съ отцомъ, но она ужъ, какъ видно, упразднена, стоитъ и разсыпается, а подлѣ усердіемъ зажиточныхъ прихожанъ выстроена каменная.... но неужели она красивѣе старой? Нѣтъ, наши старыя, даже и деревянные церкви красивѣе

новыхъ: новыя гладкія и голы. Вотъ эти три мельницы я помню: онѣ виднѣются даже съ кровли нашей голубятни.... а вонъ и разсыпной курганъ, одинокій свидѣтель никому невѣдомыхъ событій. Помню рассказы няньки о каменной бабѣ, которая стояла на немъ и пошла, разсердившись на орловцевъ, куда-то въ Тмутараканское княжество, къ татарамъ: слѣды поступи ея семь лѣтъ травой не поросли.... Бугровъ, взгляни впередъ, неужто тебѣ вѣщее не говорить, чья усадьба будетъ вонъ — вонъ, за тѣмъ лѣсочкомъ? Уключиновъ сдѣлался противъ обыкновенія говорливъ: онъ какъ-то ожилъ. Тамъ, за лѣсочкомъ этимъ, тянется овражекъ; по подошвѣ его прыгаетъ по камешкамъ рѣчка, небольшая, но чистая и быстрая; лѣсокъ переходитъ на ту сторону оврага, скучивается въ полугоры густо, а деревья растутъ на этомъ мѣстѣ дружно и высоко; далѣе лѣсокъ разсыпается мелкимъ кустарникомъ, и гдѣ стоитъ во полѣ одинокій вязъ, тамъ ему конецъ.... Подъ самымъ густымъ и дружнымъ лѣскомъ стоитъ домикъ, съ широкимъ навѣсомъ въ видѣ выступа напередъ; на выступъ ведутъ полукружіемъ двѣнадцать ступеней, и подъ каждой ступенькой яркими красками изображена охота: тутъ травятъ зайца, повыше стрѣляютъ куропатовъ, тамъ гоняютъ волка — помнишь? Виновать, ты вѣдь этого и не видалъ!.... По обѣ стороны воротъ скворечницы, на длинныхъ жердяхъ; насупротивъ, въ глубинѣ двора, голубятня, подъ скворечницами собачьи кануры, пустыя, а собаки бѣгаютъ на свободѣ; отъ крылечка идетъ чуть покатый заповѣдный лужокъ, чрезъ который нѣтъ ѣзды, и ты пу-

скаешься къ рѣчкѣ, гдѣ съ большимъ трудомъ приурочены два большіе куста тростника: на нашей рѣчкѣ его нѣтъ.... Мы съ тобой поселимся на вышкѣ, о которой я забылъ тебѣ сказать: она на самой срединѣ, надъ выступомъ, низенькая, уютная и зимой нежилая; но теперь будетъ въ ней прекрасно: отъ жара, чтобъ не пропекло, нанесена двойная кровелька, и промежутокъ той и другой биткомъ набить птичьими гнѣздами, которыя я, бывало, потрошилъ дюжинами.... Бугровъ, видишь? Бугровъ обнялъ товарища, подбилъ ему при этомъ случаѣ на кочкѣ глазъ вискомъ своимъ и успокоился.

Солнце по лѣвую руку собиралось садиться, когда они взяли направо за лѣсокъ и вправѣ же увидѣли усадьбу, какъ ее описалъ Уключиновъ. Телега неслась по чистому, ровному мѣсту, открытому со стороны усадьбы, гдѣ, безъ сомнѣнія, слышали колокольчикъ, потому что женщина, въ розовомъ платьѣцѣ, быстро выбѣжала на крылечко, взглянула на ѣдущихъ и въ ту же минуту, закричавъ что-то въ растворенную дверь комнатъ, пустилась бѣгомъ чрезъ лужокъ, чрезъ кладку на рѣчкѣ, прямо на нихъ.... Покуда телега спускалась по объѣзду, дѣвушка ужъ перерѣзала путникамъ дорогу, и они не успѣли соскочить съ телеги, какъ молоденькая и пригоженькая Анюта, вскочивъ будто на крылышкахъ въ повозку, лежала въ объятіяхъ брата. Тогда только ямщикъ успѣлъ повернуть лошадей немного бокомъ, противъ косогора и, остановивъ ихъ, съ улыбкой оглядывался назадъ себя на баръ. Анюта безъ обнянковъ успѣлась между двумя товарищами, слегка подо-

ровалась съ Бугровымъ и закричала ямщику: «пошелъ, пошелъ!»

Между-тѣмъ отецъ и мать вышли скорыми шагами на крылечко; двое маленькихъ сыновей пустились бѣгомъ на встрѣчу, также перебѣжали-было второпяхъ кладку, но, увидѣвъ, что ужь опоздали, воротились назадъ и встрѣтили телегу почти у самыхъ воротъ. Вся дворня высыпала: женщины напередъ, позади ихъ мужская прислуга, покрикивая изподтишка на бойкихъ ребяташекъ, совавшихся, ради диковинки и общей тревоги въ домъ, подъ ноги прїѣзжимъ.

На другой же вечеръ, когда товарищи сидѣли на вышкѣ своей, простившись съ хозяевами, и собирались ко сну, Бугровъ разсыпался предъ Уключиновымъ въ самомъ короткомъ любовномъ признаніи. Онъ не хотѣлъ и слышать ни о скоромъ отъѣздѣ, ни о службѣ, ни о славѣ, которая ждала ихъ за Дунаемъ. «Я остаюсь здѣсь, у тебя», говорилъ онъ: «будь что будетъ, пусть меня исключать, пусть отдадутъ подъ судъ, пусть, наконецъ, казнятъ — я отсюда не тронусь ни на шагъ. Сестра твоя.... ну, я не знаю, что она изъ меня сдѣлала въ однѣ сутки — я себя не помню, не узнаю.... Весь свѣтъ мнѣ теперь вдвое милѣе, вдвое краснѣе и пригоже; все умное, доброе и хорошее вдвое умнѣе и лучше; но ужь за то все глупое и пошлое вдвое глупѣе и пошлѣе. Воля твоя, а я остаюсь здѣсь, на вышкѣ этой, или, пожалуй, на голубятнѣ, и буду жить тамъ до скончанія вѣка.» Уключиновъ помалчивалъ и улыбался, отвѣчалъ на бѣшенныя объятія друга умѣренными ласками,

Рѣзвая пятнадцатилѣтняя Анюта, съ золотистыми кудрями своими и розовымъ личикомъ, почти съ первой встрѣчи не отличала роднаго брата отъ названнаго, котораго, ужъ по предварительному письменному уговору, обязана была называть братцемъ, да, сверхъ-того, еще милымъ; онъ же гонялся за нею по саду, какъ за козочкой, и въ нѣсколько дней вовсе позабылъ свою сестрицу Вареньку. Между-тѣмъ недѣля ушла, прошли и еще два дня, и еще день, которые Бугровъ вымолилъ у товарища своего, какъ отчаянную, послѣднюю отсрочку, и русскій инвалидъ, прибывшій въ село Помелово съ вѣстями о взятіи Браилова, едва только могъ заставить обезумѣвшаго Бугрова опомниться, выслушать спокойно Уключинова и согласиться, что точно ѣхать пора и нельзя терять болѣе ни одного часа. При прощаніи онъ плакалъ на-взрыдъ, какъ ребенокъ, и сѣлъ въ телегу точно какъ приговоренный.

Прошло слишкомъ три года послѣ этого, какъ молодой подпоручикъ, съ крестикомъ, ѣхалъ въ домовый отпущекъ, въ Тверскую губернію. Онъ ѣхалъ одинъ, безъ друга и товарища своего, и былъ очень похожъ на вѣтрогона Бугрова, потому-что это онъ самый и есть; но подростія бакенбарды придавали ему болѣе степенный и мужественный видъ, а въ наружности и осанкѣ его трудно было узнать бывшаго Бугрова. Велико ли дѣло три года, а какъ они всегда измѣняютъ человѣка!

Опять лежалъ ему путь съ юга на Орелъ, но онъ и не подумалъ заѣхать къ Уключиновымъ, въ Помелово. Что ему тамъ дѣлать? Друга и товарища, въ которомъ онъ

души не слышалъ, нѣтъ; названной сестры, Аниуты, нѣтъ....
«О, какъ грустно жить на свѣтѣ!» думалъ онъ, сидя небрежно на чемоданчикѣ своемъ и понутивъ голову....
«Какъ мертва вся природа вокругъ меня! какъ дико каркаютъ грачи на пашняхъ! какъ уныло и однообразно звенить докучливый колокольчикъ!....»

Радостенъ былъ пріемъ, особенно первая встрѣча Бугрова въ тверской усадѣбкѣ; тамъ, какъ-будто наперекоръ всему свѣту, ничего не измѣнилось въ три года — по крайней мѣрѣ по наружности: почтенный старичокъ со старушкой немного постарѣли, но были еще свѣжи и бодры. Варенька изъ пятнадцатилѣтняго полурейбенка распустилась и расцвѣла въ восемнадцатилѣтнюю дѣвицу, но грусть по другому братѣ, по Уключиновѣ, о которомъ писалъ Бугровъ родителямъ своимъ изъ-подъ Шумлы, такъ глубоко врѣзалась въ мягкія черты Варенькина личика, что грустно было на нее смотрѣть. Счастіе или надежда на житейское спокойствіе будущности для обѣихъ семей этихъ было разстроено, разбито.

Уключиновъ палъ при какой-то незначительной ночной стычкѣ, а сестра его, спустя около года послѣ этого печальнаго случая, вышла противъ воли замужъ за довольно богатаго старичка, сосѣда ихъ, который, по мнѣнію родителей ея, непременно долженъ былъ составить ея счастіе. Вотъ какіе безбожные каламбуры, не вѣдая того, строятъ иногда старички наши, и вотъ какъ играютъ не только словами, но и самою жизнью людей! Они пристроили дочь и сами были довольны; заботы ихъ о ней миновались: какъ же не быть ей счастливою? Но, почтенные старички, какъ

же вы не разсудите, что у нея не было и быть не могло вашихъ заботъ, а были и есть и долго еще будутъ свои, о которыхъ вы теперь и знать не хотите, потому-что память ваша коротка и вы давно о нихъ забыли?....

Проходить еще годокъ; семейство Бугровыхъ сидѣло за вечернимъ чаемъ. Поручикъ, который состоялъ въ расположенномъ около Москвы корпусѣ, былъ опять наѣздомъ дома, пріѣхавъ только на нѣсколько дней. Это было зимой; на окнахъ выросла цѣлая моховина льду и инея, къ которымъ привѣшивались снаружи хлопья снѣга; весь домишко тонулъ въ сугробахъ снѣжныхъ, и бесѣда между старикомъ и сыномъ шла о хозяйствѣ, о томъ, между-прочимъ, что у насъ, разсчитывая рабочія силы крестьянина, надо класть въ счетъ то, чего за границей и не знаютъ: сколько рабочихъ дней пойдетъ у крестьянина самымъ незамѣтнымъ образомъ, потому-что онъ къ этому привыкъ, на отвалъ снѣгу при молотбѣ отъ стожка, на ежедневную очистку ладони, на вывозъ дровъ изъ лѣса, который засыпанъ снѣгомъ, до первой развилины пней, и, наконецъ, на самую бездѣлицу—на обрубку льда вокругъ прорубей и колодцевъ, чтобъ добыть воды.... «Все это надо положить въ расчетъ», говорилъ старикъ, не замѣчая, въ горячности разговора, что слуга стоитъ передъ нимъ въ какомъ-то томительномъ и суетливомъ ожиданіи. «Что такое?» спросилъ сынъ. «Кто-то на дворъ вѣхалъ», отвѣчалъ тотъ, «въ дорожной повозкѣ.» Оглянулись — Уключиновъ, съ мерзлыми усами, съ мохнатою шапкой въ рукахъ, стоитъ ужъ въ дверяхъ.... Общее молчаніе длилось нѣсколько секундъ; явленіе это было слиш-

комъ-непонятно и неожиданно; притомъ Уключиновъ измѣнился въ теченіе послѣдняго времени и, вдобавокъ, еще распухъ и раскраснѣлся отъ бессонницы и отъ морозовъ. Молодой Бугровъ перекрестился; Варенька побѣднѣла, какъ полотно, и устремивъ взоры прямо на привидѣніе, медленно начала приподыматься со стула; но она внезапно опять присѣла, и голова ея скатилась на плечо. Мгновенно все общество ожило: старики, братъ и гость — все бросилось безъ разбора къ ней на помощь, и только когда она опять пришла въ себя и подала молча руку стоявшему подлѣ Уключинову, тогда только начались восторги, привѣтствія, крики и громкія лобзанія, въ продолженіе которыхъ, впрочемъ, Уключиновъ располагалъ только лѣвою рукой своею и стоялъ на одномъ мѣстѣ, принимая постепенно въ объятія свои всѣхъ членовъ семейства.

Успокоившись нѣсколько, сѣли. На всѣхъ лицахъ написано было рѣзкими чертами радостное изумленіе и любопытство, кромѣ одного только личика, которое было въ эту минуту облечено въ сіяніе блаженства и покоя. Она была такъ счастлива настоящимъ, что въ груди ея не вмѣщалось болѣе никакого чувства; она не хотѣла знать ничего, кромѣ того, что милый ея здѣсь, предъ нею, и что она держитъ теперь его руку.

Не менѣе того, Уключиновъ долженъ былъ объяснить чудо и сдѣлалъ это, на первый случай, въ немногихъ словахъ. «Я былъ брошенъ за смертью», сказалъ онъ, «и полкъ, какъ тебѣ извѣстно, не останавливаясь ни на пять минутъ, понесся бѣглымъ шагомъ въ траншеи, гдѣ, какъ я слышалъ,

продержали васъ безсмынно нѣсколько дней. Между-тѣмъ линейки подвижнаго госпиталя подошлѣли, подобрали всѣхъ, кто еще дышалъ, и въ томъ числѣ меня; прямо съ позиціи отправили насъ, послѣ перевязки, въ Бальчикъ, оттуда въ Каварну, оттуда въ Браиловъ; всюду я оставался однимъ изъ послѣднихъ, потому-что остальные поголовно вымирали чумой. Сюртукъ былъ снятъ съ меня, когда я былъ убитъ на-поваль пулею въ грудь на вылетъ; мнѣ досталась солдатская шинель. Однополчанъ со мною вмѣстѣ не случилось, никто меня не зналъ, говорить я не могъ болѣе мѣсяца. Иванъ непомнящій—да и кончено дѣло,» продолжалъ онъ разсмѣявшись, когда замѣтилъ, что Варенька опять начинала блѣднѣть и крѣпче сжимать его руку, — «и въ этомъ видѣ провалялся я до сентября, а тамъ отправленъ былъ моремъ въ Одессу, но, за бурей, попался въ Севастополь; отыскавъ же наконецъ полкъ свой и доказавъ самоличность свою, я снова поступилъ въ списки и ряды живыхъ, поспѣшилъ при первой возможности, домой, гдѣ встрѣтилъ молоденькую вдовушку свою, а тамъ и сюда....»

Молодой Бугровъ вспыхнулъ отъ какого-то вертижа и потомъ поблѣднѣлъ и будто потерялъ вдругъ всякое участіе къ судьбѣ сестры своей и дорогаго товарища, спросилъ робкимъ и озабоченнымъ голосомъ: какую молодую вдовушку?.... «А развѣ ты и этого не знаешь?» сказалъ тотъ. «Помилуй, Анюта жила замужемъ неполныхъ два мѣсяца, шесть или семь недѣль. Дѣдушка Макарь Ивановичъ, какъ я привыкъ еще съ малыхъ лѣтъ называть покойнаго зятя,—дѣдушка не на радость задумалъ жениться....»

Пошли привѣтствія и радушныя пожеланія стариковъ, между тѣмъ какъ Уключиновъ слышалъ ихъ только краемъ уха: онъ былъ занятъ другимъ, а Бугровъ, который, въ свою очередь, также едва усидѣлъ на стулѣ, хотя и посѣялся было сестрѣ, всталъ и вышелъ на морозъ, подъ предлогомъ распорядиться о поклажѣ гостя.

Къ ночи, когда друзья наши, послѣ многихъ нѣжныхъ прощаній и пожеланій, остались одни, они крѣпко обнялись еще разъ и радостно прослезились. «Ну, дружище», сказалъ одинъ изъ нихъ, «дѣло-то подходитъ къ развязкѣ! какъ ты думаешь, не всякому поручику довелось познать на себѣ все то, что намъ съ тобой—а?» Бугровъ, въ отвѣтъ на это, принялся расспрашивать друга объ Анютѣ и продолжалъ спрашивать и слушать, покуда ужъ нечего болѣе было ни спросить, ни отвѣтить. Оба заснули въ такомъ блаженствѣ, что проснулись словно въ раю; разница была только та, что одинъ достигъ ужъ, можно сказать, предѣловъ своихъ желаній: счастье было у него въ рукахъ, и на этотъ разъ онъ не намѣревался упустить его; а другой, предвидя довольно-надежнымъ образомъ то же и для себя, порывался туда, гдѣ все должно было свершиться. И этотъ день прошелъ въ такой отрадной существенности, въ такихъ блаженныхъ мечтахъ и заветныхъ грезахъ, что, конечно, не было на свѣтѣ человѣка, который бы не позавидовалъ низенькой кровелькѣ въ тверскомъ захолустьѣ, скрывавшей подъ собою столько благоденствія.... Уключиновъ еще не объяснялся ни съ Варенькой, ни съ ея родителями; но дѣло само-собою покончилось и порѣшилось;

никто, ни даже сами родители, взглянувъ хотя однажды въ продолженіе дня на чету эту, не могли усомниться, чтобъ не видѣли предъ собою жениха и неvěсту.

Но старикъ Бугровъ, не смотря на это, Богъ-вѣсть отчего, былъ какъ-то во весь день озабоченъ и даже скученъ; онъ развеселялся, только какъ-будто забывшись, а тамъ опять ходилъ или сидѣлъ призадумавшись. Наконецъ онъ отозвалъ сына въ другую комнату и сказалъ ему вотъ что: «Послушай, другъ мой, подумайте о томъ, что вы дѣлаете: вспомните, что вамъ въ одно и то же время и шурьями, и зятьями быть нельзя; либо то, либо другое.» — «Какъ?» спросилъ молодой Бугровъ, озадаченный до того, что не могъ сообщить простаго смысла этихъ словъ. «А какъ-же?» продолжалъ отецъ: «Богъ съ тобой, другъ мой, опомнись, этого нельзя, не позволяется: родство!»

Что оставалось дѣлать теперь нашимъ бѣднымъ поручикомъ, когда судьба еще разъ поставила ихъ въ самое неожиданное и отчаянное положеніе? Неужели Бугрову было противиться видимому блаженству сестры и друга, разрывать теперь этотъ неразрывный, искусившійся союзъ, и неужели ему отказаться навѣкъ отъ своего счастья, которое, послѣ такихъ, едва быточныхъ превратностей, ему окончательно улыбнулось? Но что же будетъ изъ бѣдной Аняты, горькой вдовы почти до ненавистнаго ей замужества, изъ Аняты, которая была все та же, по словамъ брата, и даже сказала ему, обнявъ его въ послѣдній разъ въ повозкѣ: «я не выйду, братецъ, изъ повозки твоей.... вези меня съ собой, туда...»

Да, это бореиe было жестоко. Десять разъ приставаала сестра къ милому брату, а женихъ ея къ другу: они не понимали, какой недобрый духъ могъ въ это блаженное время поселиться въ домѣ и заставить отца, мать, а наконецъ и сына, ходить изъ угла въ уголъ съ такимъ стѣсненнымъ, унылымъ видомъ... Но Бугровъ упорно молчалъ; онъ ужь объяснился съ отцомъ, который обнялъ его при этомъ и на глазахъ котораго сынъ, сколько могъ припомнить, отъ-роду въ первый разъ увидѣлъ слезу... Бугровъ отказывался отъ своего счастья, отказывался отъ предположенной поѣздки въ Орелъ, и, вмѣсто того, завтра же уѣзжалъ въ полкъ... Такъ бы оно и случилось, вѣроятно, еслибъ мать не проговорилаь дочери, которая, въ свою очередь, выплакала все горе это на грудь своего милаго.

Итакъ, много ли дней прошло опять съ того времени, какъ Уключиновъ вошелъ съ намерзшими усами и какъ всеобщее счастье почти каждого изъ членовъ этихъ двухъ семействъ казалось прочно-обезпеченнымъ? А что-жь теперь И кто пособить этому горю, этому бѣдствию?

Я вамъ скажу, кто пособить: собственная сила и воля надъ собою человѣка. Не вѣрьте, чтобъ счастье было извнѣ; оно въ васъ, внутри васъ: это — воля ваша, сила души и вѣра.

Уключиновъ не долго боролся и страдалъ; онъ рѣшился скоро. «Варенька», сказалъ онъ ей, когда они были одни: «послушай и пойми меня, другъ мой; я теперь ужь не свой; я не могу располагать ни собою, ни своею волею: я твой. Но смотри, что мы дѣлаемъ: хладнокровно, обдуманно

и умышленно мы разбиваемъ на вѣкъ счастье моей сестры и твоего брата; только этою цѣною можемъ мы искупить бракъ свой. Но, другъ мой, необходимо ли это для насъ и не будетъ ли насъ преслѣдовать навсегда угрызеніе совѣсти, когда мы будемъ осуждены смотрѣть на отравленную нами жизнь любимцевъ нашихъ? Не отравить ли это навсегда и нашу жизнь, и гдѣ-жъ мы тогда найдемъ то, чего мы такъ жадно и продолжительно искали, — счастья?»

Лицо Вареньки постепенно свѣтлѣло; глаза ея принимали необычайный блескъ; кроткія черты становились рѣзче и переходили въ выраженіе рѣшимости и покоя; одно только бурное колыханіе груди измѣняло ей. Уключиновъ продолжалъ: «а еслибъ мы остались навсегда братомъ и сестрой, еслибъ всегда любили другъ друга, какъ любимъ теперь, развѣ мы бы не были счастливы?»

Варенька бросилась ему на шею и могла только проговорить: «братъ...»

Предоставляю вамъ судить о новомъ изумленіи цѣлаго семейства, когда Варенька съ женихомъ своимъ вошла рукавъ-руку и, вмѣсто ожидаемаго вѣтми со страхомъ и радостью объясненія, просила отца и мать благословить — не жениха и невѣсту, а брата съ сестрой! Старики недоумѣвали, что дѣлать, какъ это принять; мать горько плакала, братъ выходилъ изъ себя и рвалъ на себѣ волосы... Одна только чета эта, Варенька съ новымъ братцемъ своимъ, стояла спокойно и безмятежно, убажася чистымъ и сладкимъ чувствомъ своего мечтательнаго самопожертвованія...

Но дѣло разыгралось совсѣмъ иначе. «Дѣти,» сказалъ, подумавъ, отецъ: «я вижу, что все это такимъ образомъ добромъ кончиться не можетъ: беру грѣхъ на себя и устрою по крайнему своему разумѣнію.» Онъ разсказалъ имъ, что и какъ предполагаетъ сдѣлать, и не успѣлъ онъ кончить, какъ опять ужъ всѣ обнимались со слезами чистой радости, и не было ни одной слезинки горькой, слезы отчаянія и печали.

Черезъ нѣсколько дней два друга опять ужъ сидѣли въ повозкѣ путника и, захавъ на короткое время, для двухнедѣльнаго отпуска Бугрову, въ подмосковную, помчались далѣе, въ Орелъ. «Вы меня еще помните?» спросилъ онъ, вошедши съ полукруглаго крылечка подъ навѣсомъ въ комнату, въ которой сидѣла за работой молодая женщина, въ печальномъ платьѣ.... Опять черезъ два дня Уключиновъ, устроивъ дома все нужное, неся во весь духъ на Тверь, въ усадьбу Бугровыхъ, а Бугровъ остался у Уключиновыхъ, которымъ, конечно, было и довольно времени и случая одуматься, пожалѣть о прошломъ и не противиться будущему....

Въ одинъ день и въ одинъ часъ вѣнчались двѣ четы: одна въ селѣ Радищевѣ, близъ Помелова, Орловской губерніи, другая — въ Тверской, также въ приходской сельской церкви, куда причислялась вотчина Бугровыхъ. Кто вѣнчался — объ этомъ не нужно и говорить, хотя ни та, ни другая свадьба не была *краденая*, какъ называютъ у насъ вообще всякую тайную свадьбу; объ происхожденіи гласно, среди бѣлаго дня, съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ

церковью и гражданскими законами правилъ. Въ тотъ часъ, въ который четы эти вѣнчались, между ними не было никакой степени родства, могущей быть законной помѣхой ни для той, ни для другой.

Дай же имъ Богъ любовь да совѣтъ, жить-поживать, добра наживать; денегъ съ нужу, платья съ ношу, а дѣтокъ — что вѣтокъ!



КОЛБАСНИКИ И БОРОДАЧИ.

ГЛАВА I.

КОЛБАСНИКЪ ИЗЪ НѢМЦЕВЪ.

Въ губернскомъ городѣ Тугаринѣ, въ которомъ, какъ вы вѣроятно знаете, считается до пятидесяти тысячъ жителей, — въ Тугаринѣ издавна поселился искусный и блестящій колбасникъ, родомъ изъ Брауншвейга. Его звали Вилимъ Карловичъ Тофельсъ. Онъ изучилъ науку или искусство свое не только на родинѣ, но между прочимъ также въ Гамбургѣ и ѣздилъ въ Англію для окончательнаго образованія своего по этой важной части. Изъ этого догадливые читатели усмотрятъ, что образованіе его было не одностороннее, не ограничивалось умѣньемъ изготовить хорошую окрошку и начинку для разнаго рода колбасъ и сострипать студень и два-три холодныхъ, но что Вилимъ Карловичъ былъ ученый нѣмецкій мясникъ, въ полномъ смыслѣ слова, который смотрѣлъ на искусство бить скотину, снимать съ нея кожу, очищать, пластать и рубить стегно, какъ на науку, и который зналъ всякую тонкость въ обхожденіи съ мясомъ и всѣ роды приготовленія

его, какъ только можетъ человѣкъ знать предметъ, основательно имъ изученный.

Вилимъ Карловичъ, почти обрусѣвшій и нажившій въ Тугаринѣ порядочное состояніе и трехъ дочерей, смотрѣлъ однако же съ большимъ состраданіемъ и презрѣніемъ на мясниковъ нашихъ, не называя ихъ иначе, какъ *шиндерами*, т. е. живодѣрами, недостойными прикоснуться непосвященными руками своими ни къ живой скотинѣ, ни къ куску мяса, которое люди будутъ есть. Онъ утверждалъ, что они бить скотины не умѣютъ, а, измучивъ и напугавъ ее напередъ, портятъ у нея кровь и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасное мясо; что они рѣзать не умѣютъ, никогда не перерѣзываютъ съ перваго раза сонныхъ жилъ, не зная даже, гдѣ ихъ искать, и такимъ образомъ не спускаютъ вдругъ всей крови, отъ чего мясо дѣлается чернымъ, грубымъ и въ солонинѣ скоро портится. Онъ увѣрялъ, что ни одинъ мясникъ нашъ не умѣетъ снять шкуры съ вола, не сбавивъ съ нея нѣсколько рублей цѣнности, и доказывалъ это счетными книгами своими, по которымъ видно было, что Вилимъ точно продавалъ шкуры своей сѣмки гораздо дороже. У нѣмца на все инструментъ есть; а мы снимаемъ шкуру простымъ, острымъ ножомъ, выхватываемъ тутъ и тамъ по клочку мездры, и шкура испорчена. Строго держась своихъ правилъ, педантъ Вилимъ могъ наговорить вамъ такую пропасть о неопытности нашихъ мясниковъ, о дурномъ хозяйствѣ ихъ, незнаніи дѣла, о портѣ ими всякой, даже и лучшей говядины, о варварской выборкѣ ими почечнаго сала и проч. и проч., что даже гадко ста-

новилось его слушать, потому-что говядина изъ мясныхъ рядовъ рѣшительно опротивить, и, бывало, съ нетерпѣніемъ ожидаешь заключенія цѣлаго разсужденія, которое всегда оканчивалось тѣмъ, что Тофельсъ называлъ земляковъ нашихъ живодѣрами и салотопниками, а мясникамъ онъ не соглашался называть ихъ ни за что на свѣтѣ. «Скорѣе», говорилъ онъ, «я самъ сложу съ себя честное званіе свое, чѣмъ покривить душою и назвать салотопниковъ мясникамъ, Это двѣ вещи разныя!»

Кромѣ этого, такъ сказать, общаго предмета, который нерѣдко сгонялъ краску съ лица Тофельса, былъ для него въ Россіи еще другой недостатокъ мѣстности, но болѣе частный, который не относился до всего нашего любезнаго отечества, а собственно до губернскаго города Тугарина. Почти ежедневно отъ этого предмета бросало Тофельса въ ознобъ и въ жаръ, а иногда даже въ потъ. Много перенесъ онъ горя и досады, въ теченіе какихъ-нибудь двадцати лѣтъ, и безпрестанно былъ на-сторожѣ противъ угрожающаго ему зла, день-за-день принималъ новыя мѣры, обдумавъ ихъ напередъ хорошенько въ теченіе безсонной ночи, но мало видѣлъ успѣха: зло, которое его беспокоило, была стоглавая гидра, и, вмѣсто одной отсѣченной головы, немедленно выростала на ней другая, а иногда даже и по двѣ вдругъ. Надобно объяснить это подробнѣе, потому-что предметъ нѣсколько запутанъ и необходимо требуетъ мѣстныхъ свѣдѣній.

Заведеніе Тофельса, пріобрѣтенное имъ давно уже въ вѣчное и потѣмственное владѣніе, состояло изъ порядочнаго

жилаго дома, тыломъ къ рѣкѣ, изъ разныхъ ухажей и пристроекъ къ нему на дворѣ и, наконецъ, изъ порядочнаго сада съ огородомъ, примыкающими къ рѣкѣ. Все было устроено по-хозяйски, и даже враги Тофельса должны были согласиться въ томъ, что порядокъ и опрятность у него въ домѣ примѣрные, хотя и старались обойти это невольное признаніе насмѣшкой, назвавъ такую опрятность нѣмецкою. Съ улицы внизу устроена была образцовая мясная и колбасная лавка, гдѣ все было убрано ежедневно съ утра свѣжею зеленью, особенно петрушкой, и бѣлыми, чистыми полотнами. Крови нигдѣ и слѣда не было видно: точно Тофельсъ умѣлъ спускать ее всю; а духоты, столь знакомой намъ по нашимъ мяснымъ рядамъ, и подавно. Въ лавкѣ обыкновенно былъ самъ Тофельсъ въ бѣломъ колпакѣ и передникѣ; или жена его, въ такомъ же чепчикѣ, бѣлоснѣжномъ передникѣ и короткихъ рукавахъ; а при нихъ одна или двѣ изъ дочерей. Не смотря на то, что они всѣ возились весь день съ сырымъ мясомъ, они были удивительно чисты и опрятны. Нѣмцы, чтó и говорить! Во второмъ ярусѣ были жилые покои; на дворѣ коровники, конюшни, свинарни, овечьи закуты, птичники и даже голубятни. Садъ и огородъ, обработанные руками матери и дочерей, былъ первый въ Тугаринѣ, и въ мясной лавкѣ Тофельса продавались также молоко, сливки, масло, яйца, зелень и плоды всякаго рода. Этимъ занимались дѣвушки.

Но рядомъ съ образцовымъ заведеніемъ Тофельса, дворъ-о-дворъ, стояла проклятая аптека—сущій адъ для бѣднаго колбасника, источникъ всѣхъ бѣдъ его и огорченій. Въ

были времена, когда еще Вилимъ Карловичъ не успѣлъ обстроиться хорошенько и обезпечить себя со стороны ядовитыхъ зелій китайскою стѣною, аптекарскіе школьники похищеніями своими приводили Тофельса въ такое же отчаяніе, какъ приводятъ иногда добрую хозяйку крысы, если возьмутъ верхъ и одолѣютъ всѣ человѣческія усилія. Но послѣднія пять, шесть лѣтъ, когда дѣвочки у Тофельса подросли и, къ несчастію, всѣ три стали прехорошенькія, а школьники аптекарскіе также не отстали отъ нихъ въ ростѣ, да еще безтолковый аптекаръ набралъ полдюжины какихъ-то новыхъ болвановъ, гезелей, подгезелей, провизорскихъ помощниковъ, подлаборантовъ, рецептурныхъ бухгалтеровъ, — то бѣдному Тофельсу рѣшительно не стало отъ нихъ житья. Бывало, Вилимъ Карловичъ только-что подкараулить дерзкихъ наступателей, которые, перелѣзши черезъ заборъ вплоть у самаго дома, украдутъ голубя или пару яицъ, и только-что загородить проломъ новой задѣлкой, въ родѣ щита, какъ, глядь, палисадникъ разобранъ надъ рѣкой, и ночной набѣгъ на огурцы и картофель произвелъ совершенное опустошеніе въ огородѣ. Однимъ словомъ, бѣдный Тофельсъ не успѣвалъ затыкать пробойны подводной части своего осѣдлаго ковчега и надѣлывать на немъ борты, чтобъ оборониться отъ внезапной течи и удерживать всплески бурныхъ валовъ, какъ уже новые набѣги, то съ той, то съ другой стороны, то сверху, то снизу, требовали новыхъ заботъ и усилій для обороны. Если нельзя было перескочить черезъ заборъ, то школьники пролѣзали гдѣ-нибудь сбоку, или подползали, приподнявъ доску;

если же не было и для этого удобнаго мѣста, то негодяи вытѣзали въ слуховое окно на кровлю аптекарскаго сарая, а оттуда спускались преудобно на сосѣднюю кровлю колбасницкой копильни. Нельзя сказать, чтобъ Вилимъ Карловичъ былъ въ дурныхъ сношеніяхъ съ аптекаремъ, своимъ сосѣдомъ; напротивъ того, аптекарей перемѣнилось уже трое или четверо,—все нѣмцы и всѣ добрые пріатели Тофельса; но всѣ они были какіе-то безтолковые чудаки, которые за устройство порядка между подчиненными своими принимались лѣвшой и никакъ не могли съ ними справиться. Вы знаете, что у каждаго аптекаря есть свой конекъ, и что всѣ они смотрятъ на свѣтъ и дѣла его сквозь горькую микстуру, или сквозь бутылъ мутнаго стекла, или же сквозь полупрозрачный, разноцвѣтный леденецъ;—такой невѣрный взглядъ лишаетъ сословіе это большею частію всякой житейской обходительности. Это обыкновенно замѣтно и по наружности такихъ аптекарей; отъ нихъ не только издали несетъ ревенемъ, цытварнымъ сѣменемъ и сѣрной печенкой, но ухватки и пріемы ихъ какъ-то нелюдскіе. Первый изъ трехъ аптекарей, послѣдовательныхъ сосѣдей Тофельса, былъ рыжій, со щетинистыми волосами, въ огромныхъ веснушкахъ, и притомъ сгибалъ на ходу колѣни и носилъ локти на отлетѣ, точно будто готовъ во всякое время пуститься въ присядку. Второй былъ съ такимъ изъянцемъ, что изъ рукъ вонъ: красный носъ съ набалдашникомъ, какъ у арзамасскаго гуся, а въ прочемъ—бочка, во всѣхъ отношеніяхъ, въ прямомъ и переносномъ смыслѣ. Третій, наконецъ, наслѣдовавшій должность и званіе арза-

масскаго гуся, былъ старичишка не только сѣдой какъ лунь, но желтоволосый, соловой, какъ звала его молодежь тугаринская, или палевый, какъ прозвали его понѣжнѣ дѣвичи. Этотъ былъ самъ всесвѣтнѣйшій женихъ, который потому только до сихъ поръ не женился, какъ увѣрялъ всѣхъ, что положилъ себѣ правиломъ — вывести сперва огромные мозоли со всѣхъ десяти пальцевъ ногъ своихъ, для чего онъ изобрѣлъ по крайней мѣрѣ двадцать мазей и пластырей. Можно себѣ вообразить, въ какомъ распушенномъ состояніи была, при такомъ начальствѣ, вся аптекарская команда и въ какомъ безнадежномъ положеніи были дѣла Вилима Карловича.

Но это еще не все: мелкія хозяйственныя непріятности бѣдный Тофельсъ перенесъ бы теперь съ благодушіемъ и долготерпѣніемъ, не смотря на довольно пылкую кровь свою,—еслибъ только дѣло этимъ ограничивалось. Дѣвочки у него подросли и похорошѣли, назывались: Кетхенъ, Розхенъ и Мальхенъ и, не смотря на примѣрное благонравіе ихъ и всегдашнее занятіе по домашнему хозяйству, родителямъ ихъ не было отбоя отъ разныхъ невинныхъ шашень съ аптекарскими подмастерьями или, по крайней мѣрѣ, отъ разныхъ происковъ и волокитствъ послѣднихъ. То у дочерей появлялась, откуда ни взялась, пастилка, карамельки, или даже дѣвичья кожа; то ходили по рукамъ рожки, или сладкіе стручки; то комочки калабрійской манны, то бачки съ какою-то тамарисковою кашкой,—и не было конца гостинцамъ всѣхъ родовъ, которыми такъ богаты наши аптеки; а что всего хуже, къ нимъ подвизывались нерѣдко

какія-то цыдулки, съ виду похожія на аптечныя, но весьма сомнительнаго содержанія. Кромѣ того, стоило только одной изъ дѣвушекъ, въ бѣломъ платьѣ своемъ и опрятномъ передничкѣ, показаться на дворъ, какъ непременно, въ томъ или другомъ углу, надъ заборомъ, выказывалась мужская голова, отъ которой сильно несло тминомъ или шафраномъ. Иногда не только пара, а пять, шесть такихъ головъ подымались вдругъ изъ засады своей въ разныхъ концахъ сосѣдняго строенія и внезапно нарушали этимъ мирное спокойствіе Тофельсова семейства. Пахучія зелья и снадобья разнаго рода смѣшивались тогда въ воздухѣ, и если не заглушало внезапно запахъ ихъ какою-нибудь камедью, то нельзя было разобрать, чѣмъ именно пахнетъ. Иногда записочки опускались на ниточкахъ изъ сосѣдняго слуховаго окна, съ сѣновала; иногда летѣли онѣ дюжинами черезъ заборъ и окропляли гряды въ огородѣ. Бѣдный Тофельсъ не успѣвалъ подбирать ихъ; онъ двадцать разъ уже представлялъ такое личное самому аптекарю, жаловался, просилъ его унять вольницу и защитить мирныхъ сосѣдей своихъ; но всѣ розыски и строгіе запреты безтолковаго аптекаря не надолго успокоивали Тофельса и вели только къ новымъ и болѣе хитрымъ изобрѣтеніямъ подмастерьевъ. На записочки эти дѣвушки, правду сказать, были не очень падки; но коробочки и баночки отвязывали осторожно, украдкой, оставляя записочку на ниткѣ, которую несчастный поклонникъ, послѣ долгаго раздумья, подымалъ обыкновенно опять въ слуховое окно. Такая, видно, была судьба бѣднаго колбасника, чтобъ ему не было покоя отъ этого

сосѣдства и чтобъ всѣ гезели, помощники и подмастерья,— вся команда аптекарская влюблялась поочередно въ его дочерей!.. Народъ этотъ былъ до того догадливъ и предприимчивъ, что общими силами выстроилъ у себя на дворѣ пре-высокую голубятню, откуда можно было видѣть, какъ на ладони, все, что дѣлается на дворѣ, въ саду, огородѣ, а частію и въ домѣ колбасника. На голубятнѣ этой во всякое время дня можно было видѣть часоваго, потому-что подмастерье, которому не досталось поочереди катать пилюли и толочь солодковый корень, навѣрное сидѣлъ на этомъ наблюдательномъ посту. Чтобъ дѣти могли по крайней мѣрѣ спокойно работать въ огородѣ, Тофельсъ поставилъ въ этомъ мѣстѣ на заборѣ огромный досчатый щитъ и написалъ на вѣшной сторонѣ его двухъ повѣсь, высу-нувшихъ языки на четверть аршина. Аптекарь очень радовался этому остроумному изобрѣтенію, смѣялся отъ души, похвалилъ за это сосѣда; но успѣха не было, впрочемъ, никакого. Аптекарь утѣшалъ сосѣда только тѣмъ, что вотъ-де скоро избавится окончательно отъ 'мозолей своихъ, которые не даютъ ему теперь ступить на ногу, и тогда онъ непременно управится съ своей шайкой.

ГЛАВА II.

РАЗДѢЛКА КОЛБАСНИКА СЪ БОРОДАЧАМИ.

Но не одни только аптекарскіе подмастерья разныхъ наименованій волочились, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, за дочерьми свѣдущаго въ дѣлѣ своемъ колбас-

ника: онѣ вскружили голову не одному тугаринскому жителю, и чѣмъ менѣе сами подавали къ тому повода, тѣмъ пристальнѣе за ними ухаживали.

Въ Тугаринѣ жилъ очень зажиточный купецъ Яковъ Ивановичъ Корюшкинъ — удалой, оборотливый купчина и лихой малый. Онъ самъ нажилъ состояніе свое, чему однакожь люди не столько дивились, сколько тому, что онъ его уже давно не прожилъ опять. Не то, чтобъ въ домѣ Корюшкина, оставшагося вдовцомъ съ однимъ сыномъ, нашли, въ обыкновенные дни, какую-нибудь роскошь, кромѣ развѣ богато, хотя и безвкусно убранныхъ покоевъ; напротивъ того, будничная жизнь Якова Ивановича ничѣмъ почти не отличалась отъ убогой жизни нашихъ мѣщанъ. Часу въ пятомъ утра, пилъ онъ чашки три, четыре постнаго чайку; часу въ восьмомъ завтракалъ, т. е., выпивъ рюмку простой пѣнной, закусывалъ горячимъ пирожкомъ, лепешкой, ватрушкой, или холодной печенкой, до которой былъ большой охотникъ; въ исходѣ двѣнадцатаго, Корюшкинъ обѣдалъ щи, кашу, пирогъ, а тамъ ложился отдыхать, выпивъ еще цѣлый жбанъ мятнаго квасу; въ шесть часовъ — тотъ же скромный чаекъ; въ девять — щи да каша, и съ Богомъ отходилъ ко сну. Въ одиночествѣ своемъ, Корюшкинъ былъ молчаливъ, угрюмъ; дома говорилъ только отрывистымъ голосомъ, когда что-нибудь приказывалъ, а затѣмъ вздыхалъ часто и глубоко, Богъ вѣсть о чемъ, приговаривая шопотомъ: «О, Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!»

Но зато на Корюшкина находила нерѣдко гулявшая

полоса, которая уже ни въ чемъ не знала мѣры. Онъ тогда задавалъ, ни съ того, ни съ сего, бессмысленные и безтолковые пиры, на которыхъ только-что не купалъ сотню гостей въ такъ называемомъ шампанскомъ. Шампанское, по мнѣнію Корюшкина, одно только доказывало принадлежность общества къ образованному, высшему кругу; шампанское составляло единственное звено той важной цѣпи, которая приковывала его къ сословію баръ и отличала отъ простолюдина. При такихъ случаяхъ, Корюшкинъ готовъ былъ измѣрить степень просвѣщенія и образованія общества по числу выпитыхъ имъ ящиковъ шампанскаго.

Такіе пиры или попойки длились сутки двоя сряду, и трудно было сказать, что это такое: обѣдъ, чай, ужинъ, балъ или вечеринка. Весь городъ приглашался и свозился къ Корюшкину во дворъ и въ домъ, точно будто на какое-либо важное дѣло; всѣ должны были явиться безотговорочно, высшіе и низшіе, военные и гражданскіе чиновники, помѣщики и купечество; всѣхъ зналъ онъ наперечетъ, приглашалъ и просилъ неотступно, униженно, и если кто во-время не являлся, то посылалъ за нимъ коляску, ѣхалъ самъ; а залучивъ весь городъ, запиралъ ворота на запоръ и распоряжался самоуправно. Это были торжественные дни для Якова Ивановича, минуты наслажденія, въ которыя онъ чувствовалъ себя господиномъ полновластнымъ, гдѣ все ему покорствовало, гдѣ хлѣбосольство давало ему право говорить, на этотъ разъ, *ты* всѣмъ важнымъ и чиновнымъ лицамъ; гдѣ всѣ грязныя и сочныя шутки и остроты его принимались съ восхитительнымъ одобреніемъ, гдѣ са-

мая пошлая брань шла за острое словцо, и гдѣ можно было всякому строптивому гостю заткнуть ротъ бутылкой, не въ переносномъ, а въ прямомъ и настоящемъ смыслѣ. Въ другое время, Корюшкинъ, по поводу какого-нибудь радостнаго въ отечествѣ нашемъ событія, выставлялъ дубовые столы на дворъ и на улицу, какъ бывало великій князь Владиміръ Красное-Солнышко; тамъ раздавалъ онъ на немущую братію 500 рубахъ и по цѣлковому, откупалъ на три дня городскія бани и парилъ весь народъ Христа ради. Но зто въ буднишнее время, въ полосу нетороватую, Яковъ Ивановичъ былъ кремень, или, лучше сказать, кругляшъ булыжный, который, одѣвшись въ жесткую кору свою, не давалъ искры и не отзывался ни на какой толчокъ. Разсыпаясь въ тороватое время безконечно-затѣйливыми остротами, поговорками и прибаутками, Корюшкинъ въ скaredное безвременье свое опять погружался въ суровую молчаливость, говорилъ мало, отрывисто, вздыхалъ и поминалъ свои грѣхи... Последнее дѣлалъ онъ, впрочемъ, всегда только въ самыхъ общихъ словахъ, никогда не распространяясь въ подробностяхъ.

У Корюшкина, какъ упомянулъ я, былъ сынъ, Петруша. Этому Петрушѣ миновало уже 20 лѣтъ, а отецъ все еще держалъ его какъ ребенка, подлѣ бока. Яковъ Ивановичъ очень любилъ сына, — это знали всѣ жители Тугарина, т. е. давая ему волю во всемъ, не обременялъ его никакимъ ученіемъ, изрѣдка только колачивалъ съ сердцахъ, по случаю какихъ-нибудь торговыхъ непріятностей или сподручныхъ отеческихъ наставленій. Эти наставленія, без-

спорно, были весьма согласны съ началами доброй нравственности; но они всегда ограничивались общими, простыми, ясными и положительными истинами и никогда не касались богѣ отвлеченныхъ понятій. Сюда, напримѣръ, принадлежали наказы: «не воруй, не шатайся, не пьянствуй» и тому подобное. Наставленія эти давались не при случаѣ, а про запасъ, когда отцу приходило въ голову, «что ребенка надо учить», когда онъ попадался гдѣ-нибудь некстати на встрѣчу, и Яковъ Ивановичъ былъ не въ духѣ.

Этотъ-то Петруша, малый такъ себѣ, не задорнаго ума, но и не глупый, накинулъ какъ-то глазомъ на Розочку, вторую дочь нашего колбасника, и долго завидовалъ аптекарскимъ подмастерьямъ въ сосѣдствѣ ихъ и въ другихъ, соединенныхъ съ этимъ обстоятельствомъ, удобствахъ. Петруша былъ парень весьма неопытный по этой части, несмотря на поучительныя отцовскія наставленія, и потому долго тайлъ эту новую для него привязанность отъ всѣхъ и не искалъ даже сближенія съ Розочкой, которая, по житейскимъ отношеніямъ обоихъ семействъ, была такъ отъ него удалена. Но, и самъ того не замѣчая, Петруша день и ночь игралъ мыслию познакомиться въ домѣ Вилима Карловича и усладить себя иногда бесѣдой съ Розой. Онъ невольно придумывалъ къ тому какія-то чрезвычайно хитрыя, многосложныя и несбыточныя средства. Дѣло сдѣлалось однажды, къ крайнему изумленію Петруши, такъ просто, что малый мой не могъ опомниться и долго ходилъ на-яву какъ сонный, а во снѣ грезилъ, какъ будто вновь народился на какомъ-то новомъ свѣтѣ. Черта эта, воля ваша,

говорить много въ пользу Петруши: кто съ такимъ воспитаніемъ и понятіями могъ полюбить такую дѣвушку, какова была Роза, и забыться нѣсколько времени въ одномъ этомъ чувствѣ, — тотъ долженъ быть человѣкъ не совсемъ пошлый, а годный на что-нибудь путное, если его умѣть пустить въ дѣло. Но это умѣнье, въ скобкахъ замѣтить, также не послѣдняя вещь; и если мы часто хвалимся тѣмъ, что русскій человѣкъ всегда, вездѣ и на все пригоденъ, куда ни сунь его, — то не мѣшало бы намъ, однакоже, позаботиться иногда и о томъ, чтобъ научиться узнавать и выбирать людей, между этими на все пригодными, и ставить ихъ на то мѣсто, куда зовутъ ихъ познанія и самое призваніе.

Корюшкинъ торговалъ оптомъ, разумѣется, между прочимъ, также пенькой и саломъ; у него были салотопные заводы, и нерѣдко пригонялось туда много скота. Тофельсъ негодовалъ на варварское салотопное хозяйство Корюшкина, усчитывалъ съ сострадательною улыбкою всѣ невѣжественныя промахи и убытки его, неразсчитливыя дѣйствія и добровольную порчу драгоцѣннаго товара, — но при всемъ томъ сводилъ иногда счеты съ нимъ, когда бралъ у него скотину, которую оптовый торговецъ уступалъ нѣмцу только изъ особеннаго одолженія, потому что мелочной и розничной торговлей не занимался. По этому-то поводу Тофельсъ пришелъ однажды къ Якову Ивановичу, шаркался передъ нимъ самымъ обязательнымъ образомъ и просилъ уступить, изъ числа вновь пригнаннаго скота, штуки три, четыре, для откормки. Яковъ Ивановичъ ска-

залъ: «изволь, братъ мусье, возьми»; а Петруша тутъ какъ-то невзначай подсунулся, проводилъ нѣмца за городъ, на скотный дворъ, и похлопоталъ у приказчиковъ, чтобъ Вилиму Карловичу дали на выборъ изъ молодыхъ и крупныхъ быковъ. Вотъ и дѣло въ шлягѣ; Вилимъ Карловичъ потрепалъ по плечу Петрушу, сдѣлался большимъ другомъ его и звалъ его къ себѣ, въ будень, посмотреть заведеніе, а въ воскресенье на вечеръ, посидѣть и выпить чашку чаю.

Съ этой поры, растворились для Петруши райскія двери, и онъ почасту дивился недогадливости своей, какъ и почему онъ давно уже не избралъ этого простаго и естественнаго пути къ сердцу — если не Розы, то, по крайней мѣрѣ, ея отца, котораго также въ дѣлѣ этомъ миновать было трудно; удивлялся, для чего онъ придумывалъ несбыточныя вещи, а не пошелъ просто по ниткѣ, которая давно была у него въ рукахъ.

Торфельсъ принималъ въ домѣ своемъ немногихъ; но кто былъ вхожъ, тотъ былъ свой. Въ этомъ отношеніи, понятія его тоже не сходились съ понятіями Корюшкина-отца, котораго сынъ просиживалъ теперь цѣлые вечера у колбасника. Петруша игралъ самоучкой на гитарѣ и пѣлъ русскія пѣсни. Отецъ однажды сильно его обезкуражилъ, когда онъ затянулъ было: «Чѣмъ тебя я огорчила». — «Куда тебѣ, дураку, спѣть эту пѣсню», — сказалъ ему отецъ: — «это пѣсня нѣжная, не по твоему дурацкому горлу сложена!» Но дочери Вилима не были такъ разборчивы и не считали пѣсни этой черезчуръ нѣжною, или можетъ быть находили, что Петруша достаточно выражаетъ нѣж-

ность эту, — по крайней мѣрѣ онѣ слушали его охотно, пѣли иногда съ нимъ и проводили время пріятно. Мать и отецъ привыкли къ нему, видѣли въ немъ смирнаго и добраго малаго, а притомъ и честили его, по объясненнымъ сношеніямъ съ салотопникомъ, его отцомъ. Такимъ образомъ, время шло незамѣтно и также незамѣтно связывало невидимыя, таинственныя узы свои, которыя сулятъ на свѣтѣ столько счастья и строятъ столько бѣдъ. Петруша былъ счастливъ въ душѣ, это правда, но жилъ ли онъ въ настоящемъ? Нѣтъ; мы вѣдь и вообще никогда не живемъ, мы всегда только жить собираемся. Изрѣдка развѣ только еще вспоминаемъ мы, какъ жили, какъ живутъ другіе — и сами отъ себя всегда переносимся взадъ, впередъ или въ бокъ. Когда мы бываемъ довольны или видимъ довольство? Когда отдѣлываемъ домъ, въ которомъ собираемся пожить въ избыткѣ и покоѣ; когда надѣемся получить то, чего всею душою желаемъ; когда вспоминаемъ о быломъ и забываемся; когда видимъ сосѣда, который живетъ, какъ кажется, среди всѣхъ мірскихъ благъ — или когда слышимъ, что тамъ-то люди благоденствуютъ. Вездѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ; хороши бубны за горами; въ чужой рукѣ лопоть великъ; на людяхъ и смерть красна.

Приступаемъ къ развязкѣ любвишки Петруши, къ описанію разрушенія хрустальнаго замка его, по которому Корюшкинъ-отецъ безжалостно ударилъ изо всей силы могучимъ кулакомъ своимъ, разрушивъ игрушку эту до основанія и приговаривая истинно нравоучительныя наставленія свои: «не воруй, не таскайся, не пьянствуй!»

«А поди-ка сюда, Петруша,» сказалъ Яковъ Ивановичъ сидя прямо и бодро на диванѣ и опершись въ оба кулака на колѣни: «скажи-ка, братъ, зачѣмъ тебя чортъ носить къ колбаснику? чего ты тамъ не видалъ?» — Сказавъ это, Яковъ Ивановичъ не выждалъ отвѣта и прибавилъ только: «Нѣтъ, братъ, видно, я давно тебя не училъ; забылъ ты отцовское наставленіе. Поди-ка-сюда — да поближе, давай сюда чубъ — вотъ такъ: это тебѣ наука; не воруй, не шатайся, не пьянствуй! Чего ты съ колбасницами амуришься? что онѣ подѣ-стать тебѣ, что ли? Нѣтъ, братъ, видно пора тебя женить, а тамъ чтобъ и нога твоя не была!»

Чтобъ довершить дѣло, Корюшкинъ послалъ за Тофельсомъ. Этотъ, полагая, что его зовутъ для расчета, или для заказа на пирушку, явился тотчасъ и былъ принятъ точно такъ, будто онъ обокралъ Якова Ивановича, который только что не подралъ его за чубъ, а впрочемъ надавалъ ему, оглушительнымъ голосомъ, такихъ же добрыхъ совѣтовъ и приказаній, какъ и родному своему сыну. Бѣдный Тофельсъ, опомнившись и понявъ наконецъ въ чемъ дѣло, самъ разъярился въ невинности своей, какъ левъ, и не могши перекричать раздвижную трубу Корюшкина, подымался голосомъ все выше и выше, и наконецъ едва не заплѣлъ пѣтушкомъ. На упрекъ, что онъ сманиваетъ у него сына для мамзелей своихъ, Вилимъ вышелъ изъ себя, накричалъ что-то бойкимъ, ломанымъ языкомъ, а въ заключеніе плюнулъ и ушелъ. Разговора ихъ передавать не стоить: они сами не знали, не слышали, что кричали, и

потому все равно, что бы тутъ ни было сказано. Все испарилось и ушло, какъ ѣдкій укусъ, которымъ плеснули на раскаленный кирпичъ.

Не трудно догадаться, что аптекарскіе подмастерья услужили своему сопернику, передавъ отцу его вѣсти о похожденияхъ сына и не пожалѣвъ на такой случай умѣстныхъ для цѣли ихъ прикрасъ.

Намъ остается только описать теперь церемоніаль, или, какъ говаривали у насъ прежде, чинъ, который былъ соблюденъ со стороны разбиженнаго и крайне разсерженнаго колбасника, по случаю формальнаго разрыва съ домоу Корюшкина и отказа сыну его, на вѣчныя времена, отъ всякихъ сношеній съ бѣдной Розой. Надобно еще замѣтить, что Вилему Карловичу дѣйствительно никогда и въ умъ не приходило сдѣлать изъ Петруши жениха для своей дочери: онъ чуждался даже въ этомъ отношеніи русскихъ вообще, надѣялся выдать дочерей хоть за плохонькихъ, да за нѣмцевъ — и принималъ у себя въ домѣ Петрушу, сначала по торговымъ связямъ съ отцомъ его, а потомъ уже по привычкѣ, не подозрѣвая зла, которое изъ этого могло выйти. Мать, какъ женщина, была нѣсколько прозорливѣе и, поглядывая иногда на Розочку и на Петрушу, думала про себя: «пусть будетъ, что будетъ!»

Музыка, хотя и не слишкомъ высокаго разбора, какъ мы уже видѣли прежде, — служила одною изъ главныхъ точекъ взаимнаго соприкосновенія дѣвушекъ и Петруши; онъ точно увидѣлъ въ домѣ колбасника новый міръ, о которомъ ему доселѣ не грезилось и во снѣ. Тутъ было

столько житейского, семейного, задушевного, господствовал такой порядок и покой, что Петруша забывал себя въ домѣ этомъ и, возвратившись въ угрюмое, одинокое и молчаливое жилище свое, нерѣдко просто плакалъ про себя навзрыдъ.

По воскреснымъ вечерамъ, дѣвушки у Тофельса охотно танцовали, если случалось челоуѣка два, три гостей, а иногда и между собою и даже съ отцомъ, не забывшимъ еще настоящій брауншвейгскій вальсъ, въ которомъ пресмѣшно выкидывалъ деревянными ногами своими. При этомъ, одаа изъ дочерей, а иногда и мать, играли *Аугустина*, или ему подобное старье, на шаткомъ клавирѣ, издававшемъ звукъ почти какъ такъ называемые фортепiano съ перышкомъ или дѣтскія гусельки, гдѣ плавають утки, или маршируютъ солдатики изъ башни въ башню. У Петруши издавна былъ старинный органъ, которымъ, можетъ быть, отецъ его еще потѣшался въ молодости; органъ былъ величиною съ небольшою комодъ и наигрывалъ, съ грѣхомъ пополамъ, около дюжины разныхъ танцевъ. И въ немъ, правда, была проклятая дудка, которая никогда не умѣла вовремя замолчать, а тянула подъ конецъ всегда одинаехонька сиплую ноту, покуда мѣхъ не испускалъ послѣдняго дыханія своего; но это было для молодежи нашей не помѣха, а напротивъ придирка къ шуткамъ разнаго рода, и постоянно каждое воскресенье возбуждало общій и дружный хохотъ веселаго общества. Петруша перенесъ органъ этотъ къ Тофельсу и подарилъ его дѣвушкамъ: и съ тѣхъ поръ всегда танцовали подъ органъ и учились по немъ играть *новыя* штуки на клавирѣ.

Далѣ, Петруша однажды услужилъ колбаснику, доставъ черезъ прикащиковъ отцовскихъ какого-то ютландскаго поросенка, и подарилъ его Вилиму Карловичу, для разведенія этой знаменитой породы. Вотъ два почти единственные вещественные памятника Петруши, оставшіеся послѣ описаннаго нами происшествія въ домѣ Тофельса. Но когда послѣдовалъ разрывъ, когда Корюшкинъ оскорбилъ нѣмца, затронувъ честь его, и нѣмецъ съ нимъ разбранился такъ, что не покинулъ на мировую ни полслова, то онъ, прибѣжавъ домой, объявилъ, чтобъ и духу Корюшкиныхъ тутъ не оставалось; а какъ ему попался на глаза несчастный органъ, то онъ немедленно приказалъ работнику закладывать телегу и поставить на нее органъ, для отправленія по принадлежности. «Дѣти!» закричалъ взбѣшенный Тофельсъ: «несите сюда сейчасъ все, все, что есть у васъ отъ этого проклятаго салотопника, все! чтобъ ни одной булавки его у меня въ домѣ не осталось.» И въ эту минуту Тофельсъ вдругъ вспомнилъ ютландскаго поросенка. Поросенокъ этотъ давно уже подросъ и сложился, то-есть сталъ огромной, хорошо откормленной свиньей. Неохотно разставался съ нею Тофельсъ, потому что порода точно была хороша — но нечего дѣлать: онъ въ эту минуту не пожалѣлъ бы ничего. «Связать сейчасъ же ютландца!» закричалъ онъ: «связать его по всѣмъ четыремъ ногамъ и принести сюда!» Приказаніе было исполнено, и жирный, пре-красный ютландецъ улегся на телегѣ, позади органа. «Вези!» закричалъ Тофельсъ: «вези къ Якову Ивановичу и свали все на дворѣ у него: чтобъ и духу его здѣсь не было!»

Дѣвушки, которые привыкли братья въ домѣ за всякое дѣло своими руками, со слезами на глазахъ помогали выносить и устанавливать органъ, отправляемый въ ссылку; онѣ погладили любимаго своего ютландца, лежавшаго передъ ними на телегѣ, утерлись передниками и проводили томными глазами тронувшійся въ путь поѣздъ. Прощай, добрый ютландецъ! прощайте, готовые во всякое время вальсы и экосезы! прощай, и ты, добрый, услужливый пріятель Петруша! Розочка не выдержала, залилась слезами и пошла въ комнаты.

До Корюшкина было не совсѣмъ близко; онъ жилъ на другомъ краю города. Завернувъ за уголъ, работникъ, сядя на органѣ, сталъ разсматривать его въ раздумѣ, увидѣвъ съ лѣваго бока знакомую ему рукоятку и отъ нечего дѣлать принялся ее вертѣть. Музыка раздалась по улицѣ; а бѣдный ютландецъ, соскучившись лежать бокомъ на тряской телегѣ, началъ подергивать ногами и затанулъ также свою пѣсню, и тянулъ ее, не переводя духа, во всю дорогу. Работникъ нисколько не смущался этимъ, а, пустивъ лошадь шагкомъ, продолжалъ наигрывать, взапуски съ ютландцемъ, какой-то превеселенькій вальсъ. Люди оставались на улицѣ, смотрѣли и провожали глазами поѣздъ, выглядывали изъ дверей и оконъ и спрашивали колбасникова работника, что это такое? «Ничего,» отвѣчалъ онъ спокойно, продолжая вторить ютландцу: «отъ хозяина кладку *) обратно веземъ къ жениху — не полюбился!»

*) Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ нашихъ у крестьянъ остался

Такимъ образомъ, органъ со свиньей дружно прогулялся по всему городу и возвѣстили жителямъ Тугарина о разрывѣ между Коришкинымъ и Тофельсомъ. Молва нашла для этого много различныхъ причинъ, передавала ихъ съ большими подробностями, и Тофельсъ три дня сряду, отъ безпрестаннаго трезвона въ ушахъ, поматывалъ бѣлымъ бумажнымъ колакомъ.

ГЛАВА III.

РУССКАЯ ПРОКОПЧЕННАЯ КОЛБАСА.

Прошло нѣсколько дней, а Коришкинъ, замѣчая, что сынъ совсѣмъ на себя не похожъ, подумалъ: «И вправду пора женить мальчика, а то избалуется. Вѣдь уже ему 20 лѣтъ. Двадцати лѣтъ вѣдь и меня бы отецъ не выдержалъ такъ: все одна дурь въ голову лѣзетъ. Петруша! Позвать Петрушу ко мнѣ!»

«Я тебя, Петя, намедни побилъ, любя, — сказалъ ему Яковъ Ивановичъ: — побилъ отечески; за то, что люблю тебя, а не за то, чтобъ я осерчалъ. Гляди же ты у меня, не доведи меня, Петруша, до грѣха; не дай Богъ, чтобы довелъ ты меня до побоевъ за нелюбовь мою — не приведи Богъ! Не воруй, не шатайся, не пьянствуй — вотъ я тебѣ

обычай, что женихъ долженъ задарить отца невесты, или даже принести, по уговору, столько-то денегъ — рублей 10, 20. Деньги эти называются *кладкой* что вполне отвѣчаетъ татарскому слову *калымъ*.

что читаю, а ты слушай да казнись. А чтобъ тебѣ не избаловаться, такъ я вотъ тебя хочу женить: пора!»

Петруша все молчалъ и только раза два во время рѣчи этой кланялся отцу въ поясъ, стоя передъ нимъ, потряхивая головой и отводя послѣ каждого поклона волосы къ ушамъ.

— Ты знаешь Митрясовыхъ Палашу?

— Видалъ, батюшка, раза два.

— Ну, такъ вотъ тебѣ невѣста!

Петруша вздохнулъ тяжело, занесъ руку въ затылокъ, и слезы брызнули у него изъ глазъ.

— Что ты, съ радости, аль съ печали? спросилъ отецъ.

— Отъ воли твоей, батюшка, я ни на шагъ: власть твоя; только Митрясова Палаша... высватана, что ли, она у васъ?

— Нѣтъ, не высватана; да высватать не долго. За этимъ дѣломъ не станетъ. Да ты говори... нечего съ тобой дѣлать, говори, что хотѣлъ говорить!

— Да негодится она мнѣ, батюшка, воля твоя.

— Что же, съ изъянцемъ что ли?

— Нѣтъ, не то съ изъянцемъ, да такъ не годится, сама по себѣ.

— Экой дуракъ выросъ какой! Сама по себѣ! Да чѣмъ же не годится? Ну, ужъ говори, коли говорить: совралъ, да и поперхнулся! Говори, не бось! не чужой, вѣдь, кто тебя спрашиваетъ, отецъ!

— Да коли-бъ милость была твоя, батюшка, такъ хотъ бы и погодить еще немного: я и такъ не соскучился.

— А! не соскучился! А у колбасника для чего снюхался, а? Нѣтъ, братъ, шалишь! Да и ждать тебѣ нѣчего: ты дуракъ, а я знаю, что пора тебя женить. Дѣвка не святцы, не поставишь на полочку, покуда не понадобится: ты будешь ждать да думать, а глядь — ея ужъ и нѣтъ. Чай, за ней всякъ знаетъ, что поидетъ десятковъ пять; не бойсь, охотнички найдутся.

— Не одна же она, батюшка; не клиномъ передъ нами свѣтъ сошелся; есть и окромѣ Митрасовыхъ.

— А напимѣръ, какая же еще есть?

— Да мало ли ихъ. Всѣхъ не перечесть.

— Дуракъ! Всѣхъ не перечесть! То тебѣ ни одной не надо, то бы вотъ всѣхъ въ охапку! — И старикъ расхохотался.

— Господь съ ними, батюшка; истинно не надо ни одной.

— Ну, врешь: ужъ я знаю, что врешь. А напимѣръ, какая же еще есть? Всѣхъ нѣчего тутъ поминать, всѣхъ много будетъ, жирно, братъ, объдаешь!... Ну, а ты назви-ка мнѣ хоть одну, кто у тебя будетъ лучше Митрасовой?

— Да мало ли, батюшка! Да вотъ, коли на то пошло, вотъ хоть бы у Мирона Степановича Параша — ужъ неужто она не стоитъ супротивъ Митрасовой?

— У Мирона Степановича? спросилъ отецъ. — А что, братъ? И вправду. Вѣдь, я ея не видалъ съиздѣтельства, съ тѣхъ поръ, какъ на рукахъ нашивалъ. Не случилось какъ-то, не помню. Нѣшто она хороша стала?

— Ничего, живеть, — отвѣчалъ сынъ: — да ужь все противъ Митрасовой будетъ подобродѣтельницае.

— Ну, ладно, сказалъ старикъ, вставая съ дивана и обнимая сына: — такъ по рукамъ, братъ. И то дѣло: сосватаетъ у Мирона Степановича.

Бѣдный Петруша не успѣлъ и опомниться, какъ отецъ вышелъ уже и началъ распоряжаться въ другой комнатѣ съ прикащиками. Ни съ того, ни съ сего выбралъ невѣсту, и самъ не знаетъ, какъ это стало! «Что за пропастъ,» подумалъ Петруша: «рехнулся, что ли, я? Чѣмъ бы только молить мнѣ отца, чтобы далъ отдохнуть мнѣ еще, коли милость его будетъ, а тутъ и самъ не знаю, съ какой стати, невѣсту выбралъ! Господи Боже мой! что я стану дѣлать? какой я женихъ? Все только бы плакалъ. Авось еще успѣю. Какъ будетъ на-дняхъ въ духѣ батюшка такъ не дастъ ли Богъ какъ-нибудь отмолиться?»

Въ такомъ же печальномъ положеніи, какъ Петруша, находилось въ это время все семейство Тофельса. Розочка, еще полуребенокъ, сильно тосковала по другѣ своему, и на ней же тяготѣло все бремя родительскаго неудовольствія. Сестры ея также ходили склонивъ головки и старались зачитывать по вечерамъ отцовское сердце, то есть досаду его, читая ему вслухъ нѣмецкія академическія вѣдомости, которыя старикъ держалъ. Мать была очень привзательна дочерямъ за эту маленькую военную хитрость; но вообще все въ домѣ было какъ-то тихо и грустно. Иногда, тутъ или тамъ, шептались, будто не смѣли говорить вслухъ, чего никогда прежде не случалось; а бы-

вало все въ домѣ смѣется, хохочетъ, перекликается, отзывается,— и дружно сходила съ рукъ работа, и дружно отдыхали.

Аптекарскіе подмастерья сначала подсмѣивались въ кулачокъ, радуясь успѣху своей тактики; но вскорѣ они также стали почесываться и укорять другъ друга въ изобрѣтеніи такой неудачной продѣлки. Шумъ въ домѣ, какого не бывало прежде, напугалъ дѣвушекъ и сдѣлалъ ихъ робкими и осторожными; а изгнаніе Петруши всѣхъ ихъ огорчило за добрую Розу. Поэтому, узнавъ, откуда послѣдовалъ доносъ, всѣ они составили между собою союзъ, для мести аптекарскимъ подмастерьямъ. Местъ эта заключалась въ такомъ глубокомъ презрѣніи, что ни стручки, ни тамаринда, ни даже калабрійская манна и дѣвичья кожа не могли болѣе соблазнить лакомокъ: онѣ оставались холодными и не прикасались ни къ какимъ коробочкамъ и сверткамъ. Всѣ эти вещи отправлялись обратно, прямо къ аптекарю, который, продолжая выводить мозоли свои, бранился съ утра до вечера съ учениками за расхищеніе аптечныхъ припасовъ.

ГЛАВА IV.

ИЗГОТОВЛЕНІЕ ОКРОШКИ И НАЧИНКИ.

Миронъ Степановичъ кушалъ чай, поглаживая бороду, въ семейномъ кругу своемъ. Тутъ большихъ и малыхъ было довольно, и всѣ они привыкли и пріучились съизмала пить бережно вприкуску, такъ, чтобы растянуть

осколышъ сахара чашки на три, на четыре; а Марѳа Алексѣевна, заваривъ или засыпавъ разъ чаю и употчивавъ себя и супруга своего вдоволь, для остальныхъ домочадцевъ своихъ воды не жалѣла. Миронъ Степановичъ, выпивъ шестую или седьмую чашку, кинулъ остатокъ сахара своего сразмаху въ сахарницу, вздохнулъ и, отдувшись на обѣ стороны, завалился въ кресла и продолжалъ молча думы свои, отрывчатая и несвязныя: у него въ головѣ шли рядкомъ, но немножко сбивчиво, какъ плохо пріѣзженная пара коней, коренная и пристяжная, двѣ думы: одна насущная, торговая, купеческая; другая — подивитесь причудамъ человека! — другая дума почетная, чиновная, знатная. Первая отвѣчала нѣкоторымъ образомъ за коренную, вторая за пристяжную; но онѣ путались какъ-то, ртачились, заступали постромки, закусывали удила, рвались — одна въ одну, другая въ другую сторону — и шли нескладно. Итогъ мѣсячнаго торговаго оборота, который, мимоходомъ сказать, не записывался никогда въ заморскія счетныя книги, а хранился просто въ памяти Мирона Степановича, въ этомъ объемистомъ и надежномъ архивѣ, который не боялся ни крысъ, ни пожаровъ, — итогъ мѣсячнаго оборота несвязно путался съ какою-то лѣствицею чиновъ; а тутъ мелькалъ еще въ воображеніи Мирона Степановича прикащикъ съ безменомъ, а тамъ пара эполетъ; умственный расчетъ процентовъ, которые слѣдовало уплатить и получить въ теченіе будущей недѣли — все это Миронъ Степановичъ зналъ и соображалъ на память, — расчетъ этотъ не могъ отцѣпиться отъ крестика, который давалъ еще въ то время дво-

ряństwo. Крестикъ этотъ впи́лся и впу́тался во всѣ торговые разсчеты Мирона Степановича, ровно въ беремѣ шемаханскаго шелка, и почтенный хозяинъ крякнулъ наконецъ, погладилъ бороду, всталъ и вышелъ въ другую комнату.

«Ты ужь старъ, Миронъ Степановичъ!» сказалъ онъ самъ себѣ, покачивая головою: «вѣкъ свой отживаешь; тебѣ объ этомъ для себя думать нечего. Расторгуйся ты понынѣшнему годовъ двадцать раньше — ну, тогда иное дѣло. А вотъ теперь хоть для дѣтей позаботься, чтобъ не пеняли послѣ, на тебя, коли денегъ имъ покинешь, да чести не дашь, — для дѣтей позаботься. Жизнь нашего брата извѣстная: честь отъ утра до вечера; полюбился кому, ладно; не полюбился, что захочетъ, то надъ тобой и сдѣлаетъ: ты, говорить, мужикъ, бородачъ, тебѣ мѣсто въ передней. Кабы не совѣстно своихъ стариковъ, влѣзъ бы ину пору въ нѣмецкое платье, ей, право, влѣзъ бы; хоть чести съ нимъ тебѣ не прибудетъ, да все какъ-то у людей рука не такъ подымается на человѣка въ нѣмецкомъ платьѣ: все онъ какъ будто баринъ. А нашъ братъ что? вотъ» — и толкнулъ ногою мимоходомъ стулъ, такъ что онъ полетѣлъ со стукомъ объ двери.

Мароа Алексѣвна выглянула къ мужу съ вопросомъ: «что тутъ такое дѣлается?» Онъ отвѣчалъ: «такъ, ничего, стулъ хозяина не призналъ, не посторонился.» И Мароа Алексѣвна хотя и не поняла отвѣта, но и не призадумалась надъ нимъ, а успокоилась.

Между тѣмъ, вошла черезъ заднее крыльцо пріятель-

ница Марѣи Алексѣевны, Акулина Герасимовна, которую прозвали въ городѣ Акулинушкой. Хозяйка съ гостѣй, употчивавъ другъ друга взаимными лобзаніями, поклонами, величаніемъ по отчеству и освѣдомленіями о здоровьѣ, устѣлись на диванѣ и снова принялись за чай. Акулинушка также пила очень искусно вирикуску и ставила блюдечко, наливъ въ него чаю, вѣжливо и почтительно донышкомъ на поднятые кверху пять перстовъ и только изрѣдка позволяла себѣ, для перемѣны, брать его въ распорочку большимъ и четвертымъ пальцемъ снаружи, прихватывая указательнымъ сверху и оставивъ средній и мизинецъ рогульками.

Акулинушка была что-то очень весела, осматривалась, оглядывалась, усмѣхалась, улыбалась, лестила хозяйкѣ, ласкала ее при всякомъ удобномъ случаѣ и наконецъ свела рѣчь искусно вотъ на что:

— Ну, что же, матушка Марѣа Алексѣевна, ваше яблочко наливчатое, чай, ужъ не зелено, дошло, доспѣло: нѣтъ ли у васъ, матушка, какого товару для сбыту? Я бы, можетъ статься, и купца нашла — хорошаго человѣка, и такого таки хорошаго, что стали бы вы жить за нимъ припѣваячи, меня, слугу вѣрнаго, поминаючи. Какъ вы думаете, матушка Марѣа Алексѣевна?

— А не знаю, матушка Акулина Герасимовна, какъ вамъ сказать; я безъ Мирона Степановича, сами знаете, не рядитель: онъ голова, онъ и правая рука. А кто бы это такой, наприимѣръ? изъ какихъ?

— Хорошій человѣкъ, матушка Марѣа Алексѣевна (тутъ

что-то щелкнуло подъ платкомъ Акулинишны, ровно орѣхъ), хороший; благодарить будете, ей-богу; только ударьте по рукамъ!

— Не знаю, матушка, право не знаю. Да кто же бы это такой, сказывайте!

— Что вамъ сказывать, матушка! извѣстное дѣло: вы, слава Богу, знаете меня; я не такая, не пойду на такое дѣло, чтобъ васъ обманывать какъ, или чтонибудь... Ужь я говорю, что хорошій человѣкъ, и благодарны будете. Красавецъ, ужъ сказать, что молодецъ! Не стыдно въ люди показать. И смирный такой, ничего за нимъ никогда не слышно, и не такой, чтобъ нахлѣбникомъ думалъ жить у васъ: ваше добро таки по себѣ, чѣмъ Господь и отецъ благословятъ, а ужъ и онъ не изъ дому понесетъ, а въ домъ: припасайте только ларцы!

— Охъ, не знаю, матушка Акулина Герасимовна, право не знаю, чтó и сказать тебѣ. Вотъ развѣ поговорить со старикомъ своимъ, чтó онъ скажетъ еще.

Марѳа Алексѣевна вышла въ другую комнату и воротилась черезъ минуту съ мужемъ.

Миронъ Степановичъ раскланялся, сѣлъ на кресла, сталъ почтительно освѣдомляться о здоровьѣ гости и всѣхъ родныхъ ея и не прежде, какъ черезъ полчаса разговора, перешелъ къ дѣлу и потребовалъ, чтобъ сваха назвала жениха, безъ чего-де отвѣта не будетъ никакого. Она продолжала еще нѣсколько времени загадочными намѣками, куда, наконецъ, Миронъ Степановичъ не добрался, что она прочитъ дочь его, Парашу, за сына купца Корюшкина.

Старикъ наморщилъ немного брови, погладилъ бороду, почесалъ затылокъ и, казалось, не рѣшался, какъ на это отвѣчать; онъ оглянулся къ дверямъ, гдѣ люди незастѣнчиво подслушивали, о чемъ идетъ рѣчь, сказалъ: «Подите вы! чего вамъ тутъ надо? тутъ не ваше дѣло»; потомъ обратился къ свахѣ и, повторивъ нѣсколько разъ: «не знаю, право не знаю», между тѣмъ какъ та увѣряла, что «кому же и знать, батюшка, кромѣ васъ» и что «женихъ хорошій, очень хорошій человекъ», — Миронъ Степановичъ сказалъ наконецъ: «Нѣту, матушка, Акулина Герасимовна; спасибо за доброе старанье ваше, а не прогнѣвайтесь, вы дѣла-то не знаете. Параша у насъ молода еще; Богъ милостивъ, подождемъ, что впередъ будетъ; торопиться нечего.»

Акулинишна распѣвала еще долго, и уговаривала, и приговаривала, но никакого рѣшительнаго отвѣта не получила. Испросивъ позволенія навѣдываться, она отправилась домой.

Параша узнала тотчасъ отъ людей, что тутъ дѣлалось, и ходила нѣсколько дней застыдившись, ожидая спокойно участи своей отъ воли родительской.

И сама Марѳа Алексѣевна не знала, чего хочетъ Степановичъ ея и для чего онъ отказывается, но и не смѣла спрашивать его о томъ, полагая, что это-де его дѣло и онъ про то самъ знаетъ: на то онъ отецъ.

Акулинишна отправилась домой не безъ надежды: она, изволите видѣть, развѣдавъ напередъ о препятствіяхъ, приняла мѣры свои и если не припаивала и не прикарм-

ливала невѣсты зельемъ, не давала ей любви, то по крайности припасла и пустила въ дѣло штуку въ родѣ этого: она сняла съ сундука своего, какъ пошла сватать, большой висячій замокъ, держала его во время сватанья скрытно подъ платкомъ и на самомъ причинномъ мѣстѣ бесѣды своей повернула ключъ, щелкнула и попробовала за дужку, точно ли замокъ замкнулся. Увѣрившись въ этомъ и проговоривъ мысленно: «слово мое крѣпко», она не испугалась отказа, а укрѣпивъ такимъ образомъ за собою слово, надѣялась еще современемъ успѣть. Опытъ — важное дѣло, а многократный опытъ ручался Акулинишичъ за успѣхъ этой мѣры.

Объяснимъ, между тѣмъ, почему Миронъ такъ призадумался, когда посватали Парашу за Петра Корюшкина, жениха во всѣхъ отношеніяхъ завиднаго, а по наслѣдству — одного изъ первыхъ богачей Тугарина. Мы видѣли уже, что Мирона Степановича мучила суета суеть другаго разбора; деньги у него были порядочныя у самого и, какъ у хорошаго хозяина, держались. Но ему хотѣлось пуше всего выйти въ люди, если не чрезъ себя самого, то по крайней мѣрѣ чрезъ дѣтей. Вотъ почему онъ сына прочилъ, во что бы ни стало, въ военную службу, а дочь хотѣлъ выдать за чичовника. У него была маленькая надежда на губернаторскаго адъютанта, около котораго ходили вѣрные люди, и потому Миронъ началъ немного зазнаваться. Не будь этого, онъ бы обѣими руками ухватился за Корюшкина, а развѣ изъ одного только приличія далъ бы на первый разъ неопредѣлительный отвѣтъ. Обдумывая все это, Миронъ

былъ, однако же, доволенъ въ душѣ, что у дочери его такіе почетные женихи, и сказалъ про себя: «знаемъ мы васъ — Корюшкиныхъ, послѣдняя копѣйка ребромъ! Нѣтъ, коли судить Богъ быть намъ сватами, такъ изволь отписать на имя невѣсты сотенку тысячъ, а безъ этого въ долгъ не повѣримъ..»

Хитрая сваха прилетѣла къ Якову Ивановичу въ полномъ удовольствіи, точно будто покончила все дѣло. Она разсыпалась мелкимъ бѣсомъ, обнадеживала, выхваляла Парашу, льстила самому Якову Ивановичу, на котораго-де на самого еще невѣсты заглядываются, и, отвертѣвшись общими словами и не сказавъ ничего положительнаго, юркнула и провалилась.

Акулинишна не даромъ слыла свахой, на которую можно было положиться. Она усердно бралась за дѣло, особенно за такое, гдѣ отцы жениха и невѣсты поговаривали о сотняхъ тысячъ, и успѣвала сводить концы. Весь городъ подымала она на ноги, если встрѣчала препятствія; всѣ ворожбы и заговоры знала, всякую дурную и хорошую славу умѣла распускать, гдѣ и какъ нужно, чтобъ достигнуть своей цѣли. Гдѣ нельзя было покончить дѣла вдругъ, тамъ Акулинишна не горячилась: она работала, какъ муравей, круглый годъ и болѣе надъ одной кучкой, и Тугаринъ не даромъ преисполненъ былъ рассказами о ея дѣланіяхъ. Отхлопать невѣсту у жениха и передать ее другому — это ей какъ стаканъ воды выпить, ни по чемъ.

Разузнавъ все, что ей знать было нужно, Акулинишна подпустила напередъ надежную лазутчицу подъ адъютанта

и растрезвонила отвѣтъ его по всему городу, и притомъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя должны были дойти до Мирона Степановича и оскѣбѣть его самолюбіе. Словомъ, она вывела въ три дня — чужими руками — адъютанта на чистую воду, и Миронъ Степановичъ увидѣлъ, что тутъ ожидать нечего, что тутъ, какъ выразился онъ слегка, одно перомыжничество. Съ сердцовъ и съ горя, сталъ онъ уже крѣпко жалѣть, что обошелся сухо съ Акулинишной, и ждалъ съ нетерпѣніемъ, чтобъ она опять пожаловала. «Корюшкинъ, какъ бы то ни было, позажиточнѣе меня», подумалъ Миронъ: «а Петя будетъ Парашѣ моей дружка не дурная; только надо обезпечить ее, чтобъ старикъ за-живо не прокутилъ нажитого.»

Между тѣмъ, Корюшкина нѣсколько беспокоила затяжка этого дѣла, и какъ ни виляла Акулинишна, а надо было ей что-нибудь придумать. Она шопотомъ намекнула Корюшкину на извѣстныя похвальныя качества Парашы, которымъ завидуютъ всѣ отцы и матери: «Дѣвка, сударь батюшка, такая гордая, такая пышная, царица настоящая, что твоя королевна! Жаль ей, вишь, разставаться съ дѣвичьей долей своей, не хочется расплетать русой косы своей, боится, сударь батюшка, теперъ, говорить, у отца-матери за пазушкой сижу, а тамъ будутъ ли меня жаловать да миловать? не раскинуть бы мнѣ печаль по плечамъ, не пустить бы мнѣ сухогу по животу? И заплачетъ, моя сердечная; какъ накроетъ бѣло личико-то руками, словно тучами бѣлый мѣсяцъ заволокло, а какъ глянетъ опять, моя раскрасавица, то вотъ ровно красное солнышко проглянуло на

тебя: такъ вотъ, батюшка, рублемъ подарить! Въдь много, сударикъ ты мой, за нею беспокоятся, много всякихъ стараются: тотъ къ себѣ ее и тотъ къ себѣ—всякому тоже хочется, вотъ и Комариха ходитъ въ домъ Мирона Степановича, и косая въдьма чухломская, Осиповна, тоже тамъ старается; да шишъ возмуть, ничего не выстароятся! Ужь кромѣ Акулины Герасимовны, просто сказать, никому этого дѣла не сдѣлать, таки вотъ ни мать, ни отецъ безъ меня ничего не сдѣлаютъ — ужъ нѣтъ, нѣтъ, а все-таки опять зашлютъ къ Акулинѣ Герасимовнѣ! Будьте, батюшка, спокойны; все въ нашихъ рукахъ, не минуетъ насъ власть Господня. Слава Богу, не стыдно въ люди показаться съ такимъ женихомъ, съ Петромъ Яковлевичемъ; въдь нечего тутъ ломаться, надо правду говорить: дѣвки-то пальчики свои по немъ облизываютъ; это не другой кто!»

Миронъ Степановичъ ѣздилъ кой-куда и воротился домой крѣпко не въ духѣ. Марѳа Алексѣевна разспрашивала его съ осторожностью о случившемся: Миронъ Степановичъ надулся-было, но вдругъ его прорвало, и онъ выкричалъ все, что было у него на душѣ.

«Чего», говоритъ, «провалился онъ совсѣмъ (вы видите, что рѣчь шла объ адъютантѣ). Иду я по новой прѣсадѣ, а дрожки мои ѣдутъ рядомъ. Попадается мнѣ обтяжной этотъ, я думалъ — было я отворотиться, — пусть идетъ съ Богомъ своимъ путемъ—да такъ вотъ дернуло меня, снялъ шляпу, раскланялся, пошелъ съ нимъ по дорогѣ да разговорился про то, про сѣ, какъ прошли мы прѣсадъ ту, — а онъ сказалъ, что ѣдетъ въ больницу, — такъ я, не быть бы неучемъ,

и прошу, что неуждно ли съѣздить, вотъ-де и парныя дрожечки мои, прошу за одолженіе; а онъ: нѣтъ, говорить, благодарю, я и пѣшкомъ дойду; да и отворотилъ носъ въ сторону. Ну, я и подумалъ: провались же ты, коли зазнаваться сталъ; еще ты такихъ-то дрожекъ, можетъ статья, и не видалъ, а не то что сиживалъ на нихъ; чего ты рыльце-то отворачиваешь? Это не деньщичишко сидитъ бритый, на столбикахъ, не сапаты артельныя меренья; эти дрожечки 800 даны въ Казани, да лошади 500, да упряжь 250, да кучеръ откупленъ у меня за 700; стало быть, не на дровни жъ я его сажалъ, а люди говорятъ, будетъ вся закладка 2250; поди жъ ты, коли хочешь пѣшкомъ! кума съ возу, куму легче!»

Марѳа Алексѣевна только развела руками, да ударила объ полы:

«Плюнь, батюшка Миронъ Степановичъ, право, плюнь! Голь эта вся такова. Вотъ и у братишки его, у старшого, вѣдь ни посудинки, говорятъ, нѣтъ; вѣдь забиралъ, забиралъ у добрыхъ людей по рядамъ да по лавкамъ, что, чай, и счетъ потеряли; со дня на день перебивается, а въ который день не сорветъ съ кого, такъ и ѣсть нечего; а хозайка-то, гляди, въ какихъ атласахъ разѣзжаетъ, словно княгиня!»

На другой день послѣ этого случая Миронъ Степановичъ, надумавшись, поѣхалъ съ утра на скотную площадь, зная, что встрѣтитъ тамъ Корюшкина, который въ торговые дни всегда тамъ бывалъ. Они и точно сошлись, поздоровались и понемногу разговорились. Но чтобъ читатели

видѣли ихъ передъ собою и отличили Мирона отъ Якова, то надо хоть немного показать сходство ихъ и несходство.

Миронъ Степановичъ былъ годовъ пять постарѣе, уже подъ шестьдесятъ, пониже ростомъ, но плотнѣе, пошире въ плечахъ, почернѣе волосомъ, съ небольшою просѣдью, лицо, какъ у любого извозчика; синій сюртукъ, разрѣзной, тонкаго сукна и нѣмецкіе сапоги, т. е. такіе, которые чистились ваксой. Изъ всего этого слѣдуетъ, что Миронъ Степановичъ походилъ на кулебяку съ бородой. Яковъ Ивановичъ былъ порослѣе, пожилистѣе, порусѣе волосомъ, а лицо чутунное, холодное; глаза темносѣрые, очень живые, ротъ сжатый, губы прикушены, сюртукъ также синій, но толстый, неопрятный, съ оборванными обтяжными пуговицами; цвѣтная, истасканная жилетка, черный каленкоровый платчишко и воротникъ ситцевой рубашки всегда выказывались тутъ и тамъ, на груди и около шеи, — а сапоги сличные, смазные. Сверхъ того, Миронъ Степановичъ носилъ въ правой рукѣ распущенный шелковый платокъ и даже иногда таскалъ его за собою, обмотавъ кончикъ во кругъ пальца; Яковъ же Ивановичъ сморкался всегда въ бумажный, клѣтчатый, красный платокъ, какъ въ книгу, не распуская его, а разгибая только пополамъ, какъ былъ сложенъ прачкой, и опять совалъ его въ карманъ. Миронъ Степановичъ наконецъ нашивалъ большіе часы съ печатями, на золотой цѣпочкѣ; а Яковъ Ивановичъ, напротивъ, если при немъ кто-нибудь вынималъ изъ кармана часы, сухо отворачивался и, взглянувъ мелькомъ на солнышко, при-

говаривалъ: «первый», или «пятый», — и никогда не ошибался.

— А что, Яковъ Ивановичъ, — сказалъ Миронъ: — правда ли, нѣтъ ли, говорятъ, сало въ Питерѣ вздорожало?

— Вѣрь ты имъ! — отвѣчалъ тотъ: — какъ нѣтъ его, такъ и подымутъ, а привези только, такъ и сядешь. Знаемъ мы ихъ!

— Кому же и знать, коли не вамъ! А дома какъ у васъ, благополучно?

— Да вотъ сорванецъ мой, того, подросъ и, благодаря Бога, ничего; только скучать сталъ что-то, уши развѣсить, да такъ себѣ и ходить.

— Извѣстно, человѣкъ молодой. Только смирный долженъ быть Петръ Яковлевичъ у васъ и почтенный человѣкъ, всѣ хвалятъ. Вотъ дастъ Богъ устроите его, такъ ничего, покинетъ скучать.

— Чего его устраивать! Извѣстно, все его, что нажито. Съ собой не возьмемъ. Будетъ съ него.

— Про это, благодаря Бога, и говорить нечего; а я говорю, что, то-есть, какъ устроите его хозяйшкой молодой, такъ и сами поуспокойтесь.

— Да, пора-то, пора. Не на веревкѣ же его держать. Что правда, то правда. Ну, а у васъ какъ дѣла?

— Да благодаря Бога, живемъ, поколѣ Господь грѣхамъ нашимъ терпитъ.

— Вотъ, вѣдь вамъ-то хорошо было меня спрашивать, Миронъ Степановичъ: у меня одинъ однимъ, какъ перстъ;

а вамъ Богъ далъ радости много, такъ тутъ и не знаешь, какъ за что взяться. Спросишь, такъ и назвать надо!

— Ну, что же, Яковъ Ивановичъ, такъ и назовите, коли потрудиться угодно будетъ; истинно, за честь примемъ!

— Да ты думаешь про кого, про Марѳу Алексѣевну твою, что ли, стану я спрашивать? Я, братъ, про старухъ не спрашиваю никогда!

— Ну, про молодыхъ спросите, милости просимъ! Известно, старухи живутъ да покрываютъ, молодыя живутъ да поглядываютъ!

— Вишь, старый хрычъ! — сказалъ Корюшкинъ разгулявшись: — договорились мы таки съ тобою до того, что и называть не надо! коли такъ, такъ чего же ты пожимаешься?

— Кто? я? ни ни, Яковъ Ивановичъ! что мнѣ пожиматься?

— Ну, такъ о чемъ же толковать? отдаешь, что ли?

— Отдаю, Яковъ Ивановичъ, ей-богу, отдаю!

— Давно бы такъ! — закричалъ Корюшкинъ, обнимая свата: — мы, чай, другъ объ друга не замараемся, хоть кафтанъ-то на тебѣ и потоньше моего: нужды нѣтъ.

Г Л А В А V.

ПАРНАЯ ПОДБОРКА КОЛБАСЪ.

Воротившись домой, Миронъ Степановичъ засталъ у себя Акулинишну, которая сидѣла у Марѳы Алексѣевны за кофейкомъ уже болѣе часа и ждала его пріѣзда. Она очень искусно рассчитала для этого втораго посѣщенія время и

обстоятельства, но не могла предвидѣть, что сваты съѣдутся и столкнутся сами; она бы хоть черной кошкѣй между ними пробѣжала, а ужь не дала бы имъ самимъ кончить дѣло.

Акулина Герасимовна такъ и залилась трещоткой, увидѣвъ Мирона, да такую понесла, что ему, у котораго давно дѣло было въ шляпѣ, не втерпѣжъ стало слушать, и онъ вздумалъ надъ ней подшутить. «Нѣту, нѣту, ма-тушка сударыня моя, Акулина Герасимовна», сказалъ онъ, замахавъ руками: «милостивица ты наша,— и не говори и не поминай; не знаешь ты, золотая, дѣла; нѣту! ну вотъ тебѣ наотрѣзъ: нѣтъ! А впередъ милости просимъ, будьте гостей нашей! Прошу, сударыня, завтра на вечеръ, такъ вотъ увидите сами, какія у насъ дѣла; покорно прошу.»

Этотъ неожиданный отвѣтъ до того поразилъ Акулинишну, что она, баба неробкаго десятка, выдавшая много на свѣтъ, насилу перевела духъ. Не стало у нея на такой случай никакихъ запасныхъ поговорокъ, и она, заохавъ, залилась горькими слезами. Облегчивъ этимъ сердце, принялась она невпопадъ причитывать утраченной невѣстѣ, словно покойницѣ, и разсердила отца и даже мать. За это онъ не открылъ ей дѣла, а далъ уѣхать въ слезахъ и въ простодушномъ невѣдѣніи.

Когда Миронъ объявилъ хозяйкѣ своей, что дѣло кончено, то и она заплакала. Степанычъ не гнѣвался на это, а утѣшалъ ее; она же больше вздыхала, чѣмъ говорила, и посторонній зритель никакъ бы не разгадалъ, съ горя ли она плачетъ, отъ радости ли, или инаго рода чувство ее

тревожить. Степанычъ объявилъ затѣмъ, что на завтра къ вечеру назначены смотрины, по-пріятельски, и тутъ же быть помолвкѣ. Марѳа Алексѣевна опять испугалась немного, но ужъ плакала не долго, потому что надо было подумать о хозяйствѣ и кой-что принасти.

Позвали Парашу, поцѣловали ее и объявили, что завтра быть помолвкѣ; она, правду сказать, ждала этого со дня на день, подготовленная стараніемъ Акулинишны, и съ того времени, какъ началось сватовство, у нея съ дѣвушками только и рѣчи было, что о женихѣ. Онъ молодецъ, хорошъ собою, очень богатъ; чего жъ ей больше? Всѣ подружки будутъ завидовать!

— Ну, братъ Петя, — сказалъ Корюшкинъ, пріѣхавъ домой и поцѣловавъ сына: — вотъ задамъ пиръ, такъ задамъ! Сколько есть вина у жидомора нашего, откупщика, все беру, все, до послѣдней косушки; 1,000 бочекъ, и то беру, колодцы, братъ, подѣлаемъ и журавли поставимъ, только бы народъ проклятый не ввалился туда, а то отвѣчать будешь! Бани на три дня беру, и вѣники мои, и кто хочетъ квасомъ парься, пивомъ, медомъ запивай, всего вволю!... Да ты что глядишь у меня мокрицею такой? а? Пойди-ко сюда, сюда, нагнись, дай-ко чубъ; вотъ такъ: не воруй, не пьянствуй, не шатайся; слышь, я что тебѣ говорю? молчи, дуракъ! я любя подралъ тебя. Вѣдь отецъ родной, не чужой кто. Молчи: дѣвка наша, засватана. Завтра смотрины у насъ; вѣдь, я ея и не видалъ, мнѣ смотрины, а тебѣ помолвка! Да ну, что ли, шевелись! Рабъ Господень, если отцовскій сынъ! Тьфу, бабенка ты какая! Она, чай,

плачетъ теперь, такъ и тебѣ плакать! Ну, она дѣвка: нельзя въ такомъ случаѣ не поплакать... вотъ, слышалъ, Акулинишна говорила намереніи, что русой косы своей жалѣть невѣста твоя; ну, а ты чего? толкуй съ нимъ! Поди, зови сюда прикащика!

Акулинишна едва успѣла дойти домой, какъ уже узнала отъ прибѣжавшихъ съ поздравленіями добрыхъ пріятельницъ настоящее положеніе дѣла. Несмотря на чрезвычайное разстройство свое, огорченіе и недоумѣніе, она сумѣла однакожь такъ хорошо прикинуться и выѣхать на обинякахъ, что, выпросивъ все, что ей было нужно, сама и вида не показала, будто это для нея новость: она, напротивъ, сумѣла оставить разскащицъ въ убѣжденіи, что она-то сама и состряпала эту свадьбу. Такой оборотъ было ей тѣмъ удобнѣе дать дѣлу, что вѣстовщицы не знали разговора стариковъ на скотной площади, а знали только, черезъ людей, что завтра вечеромъ смотрины и помолвка у Мирона Степановича, и что Корюшкинъ также готовится отпировать свадьбу сына. Теперь Акулинишна поняла также, для чего Миронъ Степановичъ звалъ ее на завтрашній вечеръ, и догадалась, что именно она тамъ увидитъ. Непонятно и до отчаянія огорчительно было ей только то, какимъ образомъ могло дѣло такъ внезапно состояться, и при томъ безъ нея! Не долго думавъ, она стала догадываться, что, видно, планы Мирона относительно адъютанта какъ-нибудь внезапно рушились, и старикъ вдругъ, не выждавъ вторичныхъ стараній ея, ударилъ по рукамъ. Она, какъ видите, и при неудачахъ рѣдко ошибалась въ

своихъ догадкахъ и расчетахъ. На этомъ основаніи, Акулинишна видѣла предъ собою два пути: или разсердиться не шутя, надѣлать шума, разбранить въ глаза сватовъ, за непозволительное самоуправство ихъ, и стараться всѣми силами разстроить свадьбу; или же смолчать, будто ничего не бывало, выставить себя передъ цѣлымъ свѣтомъ свахой въ этомъ дѣлѣ и принять видъ, будто сама его устроила. Она предпочла последнее, потому что оно было выгоднѣе и положеніе ея при такихъ обстоятельствахъ несравненно почетнѣе. Она дѣло начала, это знали всѣ; надѣясь на наглый языкъ свой и ничѣмъ несмущаемые глаза, Акулинишна была увѣрена въ успѣхъ и, конечно, не боялась никакой очной ставки, до которой, впрочемъ, по ея расчету, не могло и дойти. Какая кому до этого нужда? Старикки сами постыдятся выставить себя передъ міромъ сватами и уже для одного приличія примутъ Акулинишну въ подставныя посредницы. На этомъ основаніи, она тотчасъ же отправилась къ Корюшкину, увѣрилась осторожными разспросами въ передней въ истинѣ полученныхъ ею свѣдѣній и затѣмъ, пріосанившись, пошла представиться самому хозяину.

— А я къ вамъ, батюшка Яковъ Ивановичъ, съ хорошею вѣстью, аль у васъ уже сердце слышитъ? Королевна-то пышная наша, недотрога-царевна, плачетъ сидитъ, а русу юсу-то расплетать не боронитъ; иду, говоритъ, иду. И залилась слезами, сердечная моя, слезами!»

— Полно, такъ ли, матушка? — спросилъ Яковъ Ивановичъ, хитро мигнувъ однимъ глазомъ.

— Видить Богъ, такъ! Вѣдь я сейчасъ отъ нихъ. Помилуйте, шутить что ли я стану. такимъ дѣломъ! Вѣдь ужъ я, батюшка, передъ вами отвѣтчица, коли говорю, что идетъ, а не они; что? разумѣется, отецъ и мать — ну, и только; власть отцовская, а старанье мое; безъ этого нельзя. А ужъ сколько было безпокойства, батюшка! Вѣдь извѣстно, дѣвичій обычай; ну, а стерпится — слюбится.

— А тебѣ слюбилось? перебилъ ее Корюшкинъ.

— И, батюшка! что про это поминать! Самъ знаешь, моя доля не такая была, покуда былъ живъ покойникъ; вотъ вѣдь мундиръ цѣлъ у меня и теперь,—царство ему небесное! — берегу, батюшка, былъ живъ, такъ и я чиновная была, а теперь, кабы свѣтъ не безъ добрыхъ людей, вотъ хоть какъ вы, Яковъ Ивановичъ съ Миромомъ Степановичемъ—тузы, ужъ нечего говорить,—такъ что жъ бы я, сирота горемычная, стала дѣлать?

— Ну, благо кончили, матушка: такъ ли, саякъ ли—да дѣло въ шапкѣ. Не станемъ поминать старое. Вотъ вамъ за благодарность мою, да еще припасовъ хозяйскихъ, того сего, прикажу вамъ прислать; молитесь Богу за молодыхъ, а мы, старики, помолимся сами за себя. Господь проститъ согрѣшенія наши!

Такимъ образомъ Акулинишна, уладивъ дѣло, явилась на смотрины не только какъ посвященная во всѣ тайны, но и въ родѣ правой руки хозяйки и распорядительницы....

Вечеръ этотъ въ свое время пришелъ. Позваны были только свои да близкіе, но и ихъ набралось довольно. Въ

то время еще стеариновыхъ свѣчъ не было, и Марѳа Алексѣевна, расхаживая между гостями, принимая поздравленія и привѣтствія, оборачивалась то направо, то налево и своеручно снимала со свѣчей. Для барынь подавали темныя чарочки, чтобъ невидно было со стороны, много ли въ нихъ налито; а коли гостя жеманилась, то смѣтливая хозяйка отводила ее во внутренніе покои, посмотрѣть домъ, а въ спальнѣ доставала изъ маленькаго поставца штофчикъ. Когда гостя и тутъ еще отказывалась, то Марѳа Алексѣевна оглядывалась, подходила къ дверямъ, нѣтъ ли свидѣтелей, и если не было никого, то она вовсе становилась втупикъ, не понимая, что бы это такое значило, что гостя не пьетъ?.. Вообще, угощенія разносились на подносахъ огромной величины, и прислуга обоего пола при этомъ кланялась каждому гостю, указывая носомъ на рюмки, стаканы или тарелочки. Впрочемъ, такой подносъ обыкновенно пускался въ круговую, въ сопровожденіи одного изъ членовъ благословеннаго семейства, съ обязанностию кланяться, потчивать и угощать.

Акулина Герасимовна сыграла комедію свою превосходно; иногда, правда, сыпались шуточки и намеки со стороны того и другаго изъ сватовъ, насчетъ не совѣмъ удачнаго сватовства ея; но она отыгрывалась такъ мастерски, что никто изъ постороннихъ не могъ понять настоящій смыслъ дѣла, и притомъ громогласно выражалась объ этой свадьбѣ, какъ о своемъ стараніи.

Яковъ Ивановичъ вошелъ такимъ козыремъ, такимъ молодцомъ, что любо было на него посмотрѣть. Голова была

примаслена и хорошо расчесана, волосы вились легкой волной. Новый праздничный сюртукъ, саржевый платокъ на шеѣ и нѣмецкіе сапоги довершали благоприличный нарядъ.

Въ одной рукѣ, Яковъ Ивановичъ держалъ на отлѣтъ пуховую шляпу съ низкой тульей, въ другой—красный бу-мажный клѣтчатый платокъ, сложенный какъ вышелъ изъ-подъ утюга.

За Яковомъ Ивановичемъ шелъ сынишка его, какъ онъ называлъ его сегодня во весь вѣчеръ, рослый, хорошо сложенный женихъ, но немного необтѣсанный, да и вовсе не съ жениховской осанкой. Онъ болтался какъ-то на ходу со стороны въ сторону, въ длинномъ синемъ сюртукѣ по самыя пятки, какъ чубукъ въ чехлѣ, глядѣлъ въ землю и будто прятался за отца.

Корюшкинъ обнялъ встрѣтившихъ его хозяевъ, наговорилъ нѣсколько шумныхъ пожеланій и сейчасъ же просилъ показать суженую, примолвивъ: «Мнѣ, мнѣ покажите, а не ему; ему не надо; онъ наглядится еще; а мнѣ поцѣловать дайте ее, чтобъ всѣ люди видѣли, какихъ красавицъ старикъ цѣлуетъ, что и не всякому молодому удастся, а? Ха, ха, ха!»

Корюшкинъ, исполнивъ все это на дѣлѣ, разсказалъ невѣсткѣ, какъ онъ берегъ сынишка для нея и строго его держалъ, билъ его любя и наказывалъ не воровать, не пить, не шататься; совѣтовалъ невѣсткѣ также и впередъ не баловать муженька, держать его въ рукахъ и прочее.

Параша была недурна собой, но и не изъ-ряду-вонъ хороша. Кругленькое, пухленькое, чистенькое личико, пло-

сковатое, носикъ маленькій, брови тонкой дугой, глаза хоропенькіе, но безъ души. Роста она была небольшого, но когда сидѣла, то казалась выше, потому что была, какъ большая часть русскихъ женщинъ, коротконожка. Одѣвалась она по новому, въ нѣмецкое платье; платочекъ носила, свернувъ его въ клубочекъ и взявъ въ два кулачка передъ собою. Сложеніе ея показывало, что плоть вскорѣ должна одолѣть духовное начало, и что забота о житейскомъ и насущномъ составитъ единственную потребность этого существа, теперь еще довольно миловиднаго. Ей, впрочемъ, въ томъ кругу, гдѣ она выросла, легко было казаться любезною: говорить не приходилось ей, какъ дѣвушка, никогда, и стоило только молчать, присѣдать и слегка улыбаться.

Кончивъ привѣтствіе будущей невѣсткѣ своей, Яковъ Ивановичъ присѣлъ тутъ же и смолкъ, какъ будто прикусилъ языкъ, а между тѣмъ не спускалъ молодой съ глазъ. Взявшись раза два за бороду, онъ какъ будто призадумывался, потомъ оглядывался кругомъ, какъ будто кого искалъ, — наконецъ вздохнулъ, испросилъ вполголоса прощеніе грѣхамъ своимъ, всталъ и вышелъ въ залу.

Тамъ мужчины собрались вокругъ стола и дивана, стояли, сидѣли и шумно бесѣдовали. Между ними былъ и самъ хозяинъ и молчаливый женихъ. Этотъ, впрочемъ, сначала глядѣлъ на все скучно; но какъ о колбасницѣ онъ не смѣлъ думать, и жениться на ней никогда не приходило ему въ голову, то новое положеніе жениха согрѣло его понежливую, взглядъ на пригоженькую невѣсту, которую онъ такъ

сказать, самъ выбралъ, обольстилъ его на время; поздравленія и привѣтствія, произносимыя со всѣхъ сторонъ съ такимъ видомъ, что есть-де съ чѣмъ поздравить и есть чему позавидовать, — поздравленія эти немножко тронули самолюбіе его и какъ ему дѣваться было некуда, то онъ пріободрился и считалъ судьбу свою не совсѣмъ дурною.

Въ это время подошелъ къ кружку твердымъ шагомъ старикъ Корюшкинъ, съ лицомъ важнымъ и нѣсколько озаченнымъ; окинулъ молча всѣхъ глазами и присѣлъ на диванъ; среди круга ему тотчасъ же очистили почетное мѣсто. Онъ взглянулъ раза два на сынишку своего, который какъ-то взгляда этого не понималъ, а потомъ опять на другихъ собесѣдниковъ и, кивнувъ на сына бокомъ головой, между тѣмъ какъ самъ уставилъ глаза на третьяго, сказалъ: «Каковъ молодецъ? а? Да ты, Петя», продолжалъ онъ, положивъ правый локоть на столъ и подпершись лѣвымъ кулакомъ въ бокъ: «да ты, Петя, какъ я погляжу на тебя, не вовсе дуракъ; ты, даромъ глядишь свинкой, а толкъ таки знаешь! Ну, куда же тебѣ за такую дѣвку свататься? Ну, по тебѣ ли, хоть на людей пошлюсь, по тебѣ ли такая невѣста? а? и откуда ты въ голову себѣ забралъ, чтобъ быть ей тебѣ ровней? Сватушка? плюнь ты на него, сдѣлай милость плюнь, да ударимъ по рукамъ со мной; вотъ тебѣ женихъ, такъ женихъ! Да, братъ, Петръ Яковлевичъ, не таращъ глаза-тѣ, такая несмѣяна царевна и нашему брату подъ-стать будетъ, не только тебѣ! по рукамъ, что ли, сватушка? вотъ при всѣхъ добрыхъ людяхъ рѣшай; половину добра отпишу на ея имя—не тогда, какъ

Богъ по душу пошлетъ, не въ завѣщаніи, а теперь опишу, заживо, хоть сегодня. Ну? что жъ ты глядишь на меня, ровно я тебѣ сказки сказываю? Нужды нѣтъ, что старики; мы съ тобой заткнемъ за поясъ молодёжь нынѣшнюю. Пузыри, ей-богу, пузыри! Ну? не учиться стать намъ съ тобой невѣстѣ просватывать, не за Акулинишной же посылать!»

— Что такое, что такое? кто меня?—кричала Акулина Герасимовна, вбѣгая изъ сосѣдней комнаты.

— Да что же,—сказалъ въ раздумьѣ Миронъ Степановичъ:—коли дѣло сталъ говорить, сватушко, такъ быть по твоему; некуда дѣваться мнѣ: вѣдь вотъ свидѣтелей довольно!»

— Что такое? — кричала Акулинишна, положивъ руку на плечо одного изъ озадаченныхъ слушателей, который растянулся въ креслѣ и опустилъ руки: — что такое?

— Ничего, матушка, — отвѣчалъ тотъ, въ какомъ-то недоумѣніи: такъ — они, промежь собой шутятъ.

Новый женихъ всталъ, обнявъ Мирона Степановича, поцѣловалъ его трижды, справа и слѣва. Всѣ встали, и когда Яковъ Ивановичъ повернулся кругомъ на каблучкѣ, свиснулъ, притопнувъ: «вотъ вамъ женихъ-отъ, господа!» то бородачи вдругъ закричали ему «ура!», всѣ двинулись въ гостиную, гдѣ дѣло кончено было въ двухъ словахъ, и Корюшкинъ обнявъ опять — ужъ не невѣстку свою, а невѣсту, которой было сказано тутъ же, что Яковъ Ивановичъ отписываетъ ей половину своего имѣнія. Она при этой перемѣнѣ судьбы своей даже не измѣнилась въ лицѣ: она сѣла такъ же спокойно и скромно, какъ прежде, на свое мѣсто.

Поздравленія начались снова, потчиванье также; удалая штука Корюшкина оживила и развеселила стариковъ, которые всё считали себя въ эту минуту двадцатью годами моложе. «Ай да мы! вотъ какъ наши!» раздавалось со всѣхъ сторонъ и въ шумномъ кругу около жениха. Акулинишна мастерски пристала подъ этотъ ладъ, пошла плясать, прищелкивая и припѣвая: «таки высватала, высватала», ко всеобщей утѣхѣ расходившейся братіи. Долго еще никто не замѣтилъ, что Петруши ужъ тутъ не было.

Все такъ ловко и хорошо уладилось, что гости, разъѣжаясь по домамъ, едва только могли вспомнить и сообщить, что званы были на помолвку Корюшкина-сына, а не отца; отецъ же, только выходя на крыльцо, спохватился Петруши и сказалъ: «экой пострѣлъ!» и отвѣчалъ сосѣду, который спросилъ: «ну, а съ нимъ теперь какъ же будете, Яковъ Ивановичъ?» — Онъ что? молокососъ, еще мозглякъ, его еще вотъ поучить надо сперва путемъ, а тамъ успѣемъ, не уйдетъ!

ГЛАВА VI.

КОЛБАСА ПРОГОРКЛАЯ, ЯДОВИТАЯ.

Между тѣмъ, Петруша пришелъ домой въ горькомъ отчаяніи: его такъ сильно позывало теперь къ Розочкѣ, какъ, можетъ быть, и въ прежнее время не случалось. Чувства его снова пробудились съ такою силою; что онъ готовъ былъ наложить на себя руки. Но Вилимъ Карловичъ самъ не пустить его къ себѣ въ домъ; объ этомъ и думать не-

чего. Петруша сидѣлъ подлѣ роковаго органа, облокотившись на него, и рукоятка какъ-то попалась ему въ руку. Много, много воспоминаній погребено было для него въ этихъ вальсахъ и экосезахъ, даже въ фальшивой дудкѣ, которая перекрикивала всѣхъ товарищей своихъ и заканчивала некстати каждую штучку, даже и въ этомъ! Сколько веселыхъ, невинныхъ шутокъ, бывало, раждали звуки эти и — никто не ворчалъ тогда на Петю, никто не бранилъ его и не попрекалъ, то и дѣло, отеческою властію и правомъ своимъ: такъ все было хорошо, укромно и сладко!

Петруша повернулъ въ раздумьѣ рукоятку, плакалъ въ три ручья, облокотившись на завѣтный органъ свой, и мечталъ, заносился думами и все вертѣлъ да вертѣлъ, наигрывая веселенькія штучки.

«И опозорилъ меня передъ глазами всего города», думалъ Петруша: «позвавъ, какъ дурака, на помолвку эту; родной отецъ отбилъ невѣсту у сына — годится ли это? Не надо мнѣ ея, ей-богу не надо! не то на душѣ, и слава Тебѣ, Господи, что избавилъ отъ нея; а все-таки горько, что ничего не дается мнѣ! При всѣхъ людяхъ, на стыдъ мнѣ, имѣнье отписалъ ей — Господь съ нимъ: не зарился я на него никогда. — Вездѣ я дуракъ; тамъ только, у Вилима Карловича, не былъ я дуракомъ: тамъ было мнѣ хорошо. Бывало, подъ этотъ вальсъ (онъ все еще вертѣлъ органъ) она всегда подпѣвала и какія-то нѣмецкія слова подбирала....»

— Вотъ какъ Петруша мой забавляется! — сказалъ Яковъ Ивановичъ, вступая въ комнату, куда привела его неждан-

ная музыка: — ай да Петя! Ну, вотъ за это похвалю, ей-богу похвалю! Уважай отца, Петруша, знай, что ему вездѣ впередъ дорога передъ тобой, а ты ужь за нимъ. У самого дѣти будутъ, тоже скажешь. Не тужи, найдемъ; ты подумай-ка о Митрясовой, чуть ли она тебѣ не сподручнѣй будетъ!

— Не хочу, батюшка, видить Богъ не хочу, — сказалъ Петруша: — и этой не хотѣлъ и не тужу по ней, — передъ тобой, батюшка; и той не хочу... Охъ, дайте отдохнуть!

Отецъ посмотрѣлъ на него и, видя его въ большомъ разстройствѣ, сказалъ первое умное слово изъ всѣхъ, какія мы доселѣ отъ него слышали. Ему таки жалъ стало сына; онъ успокоилъ его, общалъ не неволить и предложилъ, не хочетъ ли онъ провѣтриться и протрястись, съѣздить по торговымъ дѣламъ въ Украину. Старикъ какъ-то самъ почувствовалъ, что лучше сына сбыть на время и сыграть свадьбу безъ него; что онъ тутъ будетъ лишній человѣкъ. Петруша упалъ отцу въ ноги: такъ онъ этому предложенію обрадовался, и оба разстались въ самомъ веселомъ расположеніи и были другъ другомъ довольны, какъ давно не бывали.

Черезъ нѣсколько дней Петруша ускакалъ уже изъ Тугарина, въ такомъ же спокойномъ и веселомъ расположеніи духа. Ему казалось, что у него гора съ плечъ свалилась: такъ у него отлегло отъ сердца, такъ легко онъ дышалъ, такъ привѣтливо встрѣчалъ всякій новый предметъ на пути.

Вскорѣ за тѣмъ состоялась и свадьба Якова Ивановича,

которую старики о-сю-пору помнятъ въ Тугаринѣ. Тутъ Корюшкинъ не запиралъ воротъ на запоръ, залучивъ къ себѣ гостей; двѣ недѣли сряду ворота и всѣ двери въ домѣ стояли настежь, и не только изъ домовъ гостей, съ улицы зазывали всѣхъ прохожихъ, какого-бъ звания ни были, и для всѣхъ, съ девяти часовъ утра до поздней ночи, были накрыты столы въ разныхъ покояхъ. Двѣ недѣли сряду день и ночь не успѣвали готовить и подавать питія и кушанья, и долго еще хвалился Яковъ Ивановичъ, что у него въ это время одного серебра украли тысячи на три; а полы такъ выбили сапогами, что надо было строгать ихъ и перебрать снова. Полиція принуждена была унять Якова Ивановича, потому что весь народъ въ Тугаринѣ былъ пьянъ съ утра до ночи и весь городъ пошелъ было кверху ногами; поэтому разливанное море и ограничилось, къ прискорбію Якова Ивановича, двумя только недѣлями.

Обратимся теперь къ дому Вилима Карловича, гдѣ ничего не вышло изъ обыкновеннаго порядка вещей, но гдѣ, между тѣмъ, также произошли значительныя перемѣны. Мы беремъ теперь всего слишкомъ годъ спустя послѣ размолявки Тофельса съ Корюшкинымъ, или со дня отправленія отъ перваго къ послѣднему вокальной и инструментальной музыки — въ лицѣ отчаянно-хрюкающей ютландской свиньи и вторившаго ей органа. Петруша не возвращался еще изъ своей поѣздки.

Принявъ одобрительно объявленіе старшей дочери, Катерины, по поводу неоднократнаго сватовства, что она замужъ идти не хочетъ, а остается при старикахъ, помогать

по хозяйству, Вилимъ Карловичъ только было расположился отдохнуть послѣ такихъ важныхъ событій, какъ нашелся женихъ для второй дочери его, Розочки. Слабость Тофельса была — отдать дочерей за нѣмцевъ; а потому нѣмцы средняго званія всѣхъ окружающихъ городовъ, зная хорошее состояніе Тофельса, пріѣзжали знакомиться съ нимъ и попытаться счастья. Тутъ черезъ Акулинишну нельзя было дѣла сдѣлать, и потому женихи являлись на-лицо.

Розочкинъ женихъ былъ мелкій чиновникъ изъ уѣзднаго города; выжига, коли хотите, а все-таки нѣмецъ. Выжига былъ онъ не въ томъ смыслѣ, какъ даютъ названіе это чистому серебру, которое добывается огнемъ изъ поношенныхъ галуновъ, а въ томъ значеніи, которое придаютъ этому слову, говоря о людяхъ и въ особенности о чиновникахъ. Онъ прошелъ огонь и воду, какъ тройной спиртъ, и такъ обтерпѣлся, что не боялся болѣе ни огня, ни воды.

О татарахъ нашихъ говорятъ обыкновенно, что татаринъ или совсѣмъ честный и надежный человѣкъ, котораго можно обсыпать золотомъ,—или, ужъ если онъ мошенникъ, то мошенникъ весь, душой и тѣломъ. Нѣчто въ этомъ родѣ, кажется, можно бъ было сказать вообще объ иностранцахъ, поселившихся въ Россіи; по крайней мѣрѣ, они иногда съ удивительною способностію входятъ въ мѣстные нравы и въ самое короткое время вполне къ нимъ пріурочиваются. Такихъ продувныхъ плутовъ и отъявленныхъ негодяевъ, какъ наворачиваются иногда изъ числа полуобрусѣвшихъ иностранцевъ, надо искать и между своими.

Шифбрухъ, человѣкъ, о которомъ мы теперь говоримъ,

малый очень благовидный, взялся Богъ въсть откуда, и, вступивъ, изъ отставки, на службу въ одинъ изъ уѣздовъ Тугарина, обратилъ на себя вниманіе цѣлаго городка: такой онъ былъ развязный, говорливый, расторопный, ловкій; а вскорѣ показалъ и служебную рысь свою, сдѣлавшись, при ничтожномъ мѣстишкѣ, человѣкомъ довольно значительнымъ. Онъ, правда, бралъ на себя часто гораздо болѣе того, что могъ сдѣлать или исполнить; при всемъ томъ, однакожь, у него, повидимому, было какое-то вліяніе свыше настоящаго значенія его, путями темными, неисповѣдимыми — и была большая оборотливость и сноровка. Онъ одѣвался всегда очень благовидно, принималъ какую-то осанку, вызывающую неопытныхъ на почтительность, и съ большою обязательностію брался за всякое, сколько-нибудь лакомое дѣло. Чтобъ нѣсколько съ нимъ познакомиться, приведемъ примѣръ.

Въ томъ же уѣздномъ городкѣ жилъ скорнякъ, принимавшій на лѣто шубы для сохраненія отъ моли. Почти каждому изъ жителей случилось убѣдиться на дѣлѣ, что сохранность шубъ у скорняка была крайне сомнительна, или, лучше сказать, случайная; большею частію шубу съѣдала моль, или изъ нея выпарывали лучшія части и вставляли прѣлые, облѣзлые лоскутья; иногда шуба и вовсе пропадала. Скорнякъ этотъ, повидимому, былъ того же мѣтнія о шубѣ, какъ цыганъ о лошади, — то есть, что краденая обойдется непримѣръ дешевле купленной. Несмотря на это, однакожь, у скорняка къ лѣту всегда опять набиралось нѣсколько десятковъ шубъ и нѣкоторыя изъ нихъ

возвращались въ цѣлости. Но въ число сихъ послѣднихъ не угодила зимняя одежда одного изъ вновь прибывшихъ жителей помянутаго городка: енотовая, довольно хорошая шуба, возвратилась съ большими вставками изъ «сторожковаго», или по-просту сказать, собачьяго мѣха. Хозяинъ шубы поднялъ страшный крикъ, никакъ не хотѣлъ признать собачій мѣхъ енотовымъ, а скорняку не хотѣлось отвѣчать за продѣлку свою, и потому онъ, по совѣту опытныхъ людей, забѣжалъ, на всякій случай, къ Шифбруху, просить у него защиты.

— Такъ въ чемъ же дѣло? — спросилъ Шифбрухъ.

— Да вотъ, батюшка, грозятся, изволите видѣть, обидѣть нашего брата. Взялъ я, признаться, шубу Ивана Карповича подъ сохранность и берегъ-таки ее пуще глазу, все въ чуланчикѣ висѣла подъ рѣшетами — и припорашивалъ и выколачивалъ, какъ слѣдуетъ, и таки нечего сказать, что берегъ; да какъ-то вотъ стало, что не признаетъ Иванъ Карповичъ шубы своей; вставки, говорить, есть, выкрали мѣхъ. Я сперва было поуспокоить ихъ хотѣлъ и далъ на поддержаніе свою шубу, попроще, — ну, и передѣлалъ ихнюю опять, перебралъ, какъ слѣдовало быть, и таки настоящаго енота поставилъ; а все не признаютъ, не принимаютъ; ну, что же я стану дѣлать? требуютъ съ меня 800 рублей, а мы, извѣстно, люди бѣдные, что зарабатываемъ, то и съѣдимъ; гдѣ же я ему возьму, чего нѣтъ? такъ не оставьте, батюшка, своими милостями!

Не говоря ни слова, Шифбрухъ взялъ перо въ руки и началъ писать съ большимъ одушевленіемъ. Повременамъ

только онъ обращался къ скорняку съ короткими вопросами,— о цѣнѣ шубы, о времени отдачи и тому подобное. — Ну, слушай,— сказалъ онъ,— такъ что ли будетъ? — и началъ читать:

«Такого-то числа и мѣсяца здѣшній помѣщикъ Иванъ Карповъ отдалъ мнѣ весьма поношенную и вытертую енотовую шубу свою, съ тѣмъ, чтобъ ее перешить, перебрать всю и прибавить одиннадцать енотовыхъ шкурокъ, которыя самъ тутъ же и осмотрѣлъ. Условившись въ цѣнѣ, я сказалъ ему, что на срокъ сработать шубы не берусь, потому что у меня работы много; на что онъ и согласился, прося меня въ такомъ случаѣ оставить у себя на сохраненіи, до осени, и обѣщавъ за это также уплатить причитающіеся 10 рублей. Впослѣдствіи онъ, однакожь, не принялъ отъ меня исправленной и перебранной шубы, съ прибавкою одиннадцати енотовъ, подъ предлогомъ, будто она не вся перебрана и еноты не хороши. Во избѣжаніе обидъ и притѣсненій, я вынужденъ былъ снова передѣлать шубу, на что пошло не мало времени, трудовъ и мѣха; но какъ настали холода, то г. Карповъ просилъ меня дать ему изъ проката другую шубу, до изготовленія его собственной; посему я и отдалъ ему, съ платою по десяти рублей въ мѣсяцъ, енотовую же шубу, стоившую 500 рублей. Наконецъ нынѣ, когда я перебралъ еще разъ шубу его всю снова и поставилъ всего 13 своихъ шкурокъ, г. Карповъ, проносивъ мою шубу въ теченіе цѣлой зимы и сдѣлавъ ее совершенно негодною къ употребленію, отъ платежа всякихъ денегъ, по вышеозначенному условію

отказывается. Посему я прошу покорнѣйше удержать его отъ такихъ дѣйствій, клонящихся къ крайней обидѣ моей и разоренію, и взыскать съ него, г. Карпова, слѣдующія мнѣ деньги, а именно:

| | |
|--|-----------|
| За сохраненіе енотовой шубы его у меня | |
| въ теченіе пяти мѣсяцевъ | 10 рублей |
| За двукратную передѣлку шубы по 25 руб. | 50 „ |
| За 13 лучшихъ шкурокъ енота, по 25 руб. | 325 „ |
| За прокатъ шубы моей, за четыре мѣсяца . . | 40 „ |
| За самую шубу, которая не годна болѣе къ | |
| употребленію и взять ее обратно не желаю . . | 500 „ |

Итого . . . 925 рублей.

«Хотя я, по бѣдности своей, понесъ при семь случаѣхъ большіе убытки, но будучи въ крайнемъ положеніи и притомъ обремененъ большимъ семействомъ...»

— У тебя дѣти есть? — спросилъ онъ скорняка.

— Нѣтъ, батюшка, Богъ не далъ, что впередъ развѣ... я человѣкъ одинокій, холостой.

— Ну, племянники, племянницы есть?

— Есть, батюшка, въ Бѣлевѣ есть, и въ самомъ Орлѣ есть два племянника.

Шифбрухъ сталъ читать дальше... «семействомъ, желаю получить хотя малое вознагражденіе и, заботясь о прекращеніи нанесенной мнѣ обиды, я другихъ счетовъ не вывожу и не полагаю никакихъ на капиталъ свой пропен-товъ, а прошу униженно о избавленіи меня отъ жестокихъ притѣсненій, разоряющихъ все мое малое достояніе,

приобрѣтенное честными трудами; вслѣдствіе того, прошу только объ уплатѣ мнѣ г. Карповымъ 925 рублей, съ оставленіемъ за нимъ, какъ его собственной, передѣланной мною шубы, такъ и моей, изношенной имъ и негодной болѣе ни къ какому употребленію.»

Когда Шифбрухъ кончилъ и взглянулъ на скорняка, то этотъ бухнулся ему въ ноги и чуть не залился слезами: такъ обрадовался онъ новому и неожиданному обороту дѣла. Шифбрухъ придержалъ просьбу правой рукой, отвелъ лѣвою отъ себя скорняка, который, вслѣдъ за поклономъ, погѣзъ было цѣловаться сдуру — и просьба была передана не иначе, какъ на извѣстныхъ условіяхъ, коихъ часть выполнена, со стороны просителя, на мѣстѣ. Къ этому очерку остается присовокупить только, что скорнякъ, отъ котораго Карповъ не хотѣлъ принять испорченной шубы своей, дѣйствительно далъ ему на поддержаніе какую-то сторожковую шубу, съ просьбою взять ее на нѣсколько дней и съ обѣщаніемъ исправить енотовую шубу за-ново, вынуть всѣ вставки и заплатки собачьяго мѣха и поставить опять на мѣсто ихъ енотъ; но, не сдѣлавъ ничего, потому что давно уже пропилъ выкраденныя шкурки, не зналъ какъ раздѣлаться и былъ чрезвычайно изумленъ и обрадованъ этою неожиданною помощію. Въ замѣчательной прдсбѣ этой, впрочемъ, все было солгано, съ неимовѣрною наглостію, хотя весь разсказъ походилъ на правду и все сплетено было довольно правдоподобно; и бѣдному Карпову, вмѣсто вознагражденія за шубу его, навязали на шею тяжбу, по которой съ него же требовалось 925 рублей.

Это же самое дѣло, по которому возникло нѣсколько опасное разбирательство, привело Шифбруха въ губернскій городъ. Самъ Шифбрухъ, конечно, былъ при этомъ, какъ и всегда, въ сторонѣ; онъ рѣдко мѣшался въ подобныя дѣла своимъ лицомъ, и на бумагахъ имени его не было; просьбу переписалъ какой-то пригодный къ этому писа-ришко и подписался: «просьбу со словъ просителя сочинилъ и набѣло переписывалъ такой-то». Но, при всемъ этомъ, дѣло приняло немножко опасный оборотъ: могли выдать молодца, и потому онъ прикатилъ заблаговременно предупредить подобную неприятность.

Познакомившись въ домѣ у Тофельса, Шифбрухъ въ три дня былъ у него свой. Матери прислуживался онъ рѣзными и клееными подмочками, важными хозяйственными секретиками и досталъ ей какихъ-то рѣдкихъ сѣмянъ; отцу угождалъ веселымъ нравомъ своимъ, шуточками, отъ которыхъ всѣ хохотали до упаду, пикетомъ и дѣльвыми, по наружности, сужденіями о многихъ предметахъ; дѣвушкамъ же рѣшительно не давалъ опомниться; такъ онъ закидывалъ ихъ забавами всякаго рода и увеселялъ бесѣдой. Онъ игралъ на клавирѣ множество новыхъ — для семейства Тофельса, которое училось играть по органу Корюшкина — танцевъ и пѣсенокъ; пѣлъ, для старика, любимую нѣмецкую пѣсню его о кнастерѣ и штетинскомъ пивѣ; онъ дѣлалъ множество искусныхъ штукъ картами, монетами, ниточкой — всѣмъ, что попадалось ему подъ руку; зналъ безчисленное множество загадокъ, шарадъ и анекдотовъ. Нельзя сказать, чтобъ все это выходило у него въ лучшемъ

тонъ; но на обращеніи его былъ какой-то поверхностный лоскъ и для средняго, мѣщанскаго сословія, къ которому принадлежало семейство Тофельса, этого было за глаза достаточно. Старикъ именно указывалъ на него, на земляка по языку, какъ на примѣръ образованности, въ сравненіи съ приказными мѣстнаго происхожденія.

Такимъ образомъ, Шифбрухъ опуталъ въ самое короткое время все семейство Тофельса невидимыми тенетами своими; всѣ были въ восторгѣ отъ него, и старикъ часто восклицалъ: «Вотъ это человѣкъ, такъ человѣкъ!» Налгавъ имъ съ три короба о похожденіяхъ своихъ, которые занесли его, при такихъ достоинствахъ и дарованіяхъ, въ этотъ край, Шифбрухъ объяснилъ загадку, повидимому, самымъ удовлетворительнымъ образомъ и усилилъ участіе къ себѣ добродушнаго старика.

— Ну,— сказалъ однажды Тофельсъ, снимая вечеромъ рабочій бѣлый нарядъ свой и облекаясь въ бѣлый домашній, канифасный, долгополый сюртукъ: — ну, любезный мой Шифбрухъ, теперь засядемъ въ пикетецъ, не правда ли? а маменька намъ подастъ чайку?»

— Нѣтъ! я не стану съ вами больше играть на мѣлокъ,— отвѣчалъ тотъ: — что въ этомъ проку? Ну, дайте мнѣ хоть разъ обыграть васъ хорошенько!

— Экой злодѣй! онъ же меня хочетъ обыграть! Ну, еслибъ я не каялся разъ навсегда играть на деньги — да я и отъ роду на нихъ не игрывалъ — то проучилъ бы хвастуна!

— Что же, Вилимъ Карловичъ, зачѣмъ дѣло стало?

закаялись играть на деньги — сыграйте на что-нибудь получше!

— А напимѣръ?

— Да позвольте, я у васъ выиграю Розу?

Старикъ захохоталъ.

— Хороши вы! Слышишь, Роза, какіе замыслы? Да какая же мнѣ въ томъ польза, что же я могу на эту ставку выиграть?

— Меня самого, — отвѣчалъ Шифбрухъ, приподнявъ руки и повернувшись на каблучкѣ: — и тогда вы всячески въ барышахъ, или, можетъ быть, въ проигрышѣ: выиграла — такъ проиграла; проиграла — такъ выиграла.

Шифбрухъ шелъ немножко быстро къ цѣли, какъ мы видимъ, и нельзя сказать, чтобъ это было совсѣмъ по вкусу скромному семейству колбасника; не менѣе того остроты Шифбруха ходили въ домѣ Тофельса, какъ ходячая монета, и на этотъ разъ такая выходка была такъ же принята, какъ невинная шутка, которая, можетъ быть, предвѣщала нешуточную развязку. Шифбрухъ не ошибся, считая дѣло свое выиграннымъ. Розѣ онъ уже много и часто нашепывалъ, и хотя не слышалъ отъ нея привѣта, но надѣялся не получить и положительнаго отказа. Переговоривъ на другой день со старикомъ глазъ-на-глазъ, Шифбрухъ убѣдилъ его въ пожизненной любви своей къ Розочкѣ и получилъ отвѣтъ, что надо объ этомъ дѣлѣ подумать; онъ уѣхалъ въ свой уѣздъ, черезъ недѣлю опять пріѣхалъ, опять настаивалъ и, какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ бываетъ, когда «подумать» значитъ только привыкнуть къ

новой мысли — получилъ согласіе и въ скоромъ времени обвѣнчался.

Что думала Роза, отдавшись этому человѣку, чего надѣялась и каково ей было — можемъ рѣшить только по догадкамъ. Она, конечно, не вышла за Шифбруха по страсти; склонность ея къ нему была дѣтская, поверхностная и возбуждена была свѣтскостію, веселостію и притворнымъ добродушіемъ его, — а еще болѣе, можетъ быть, вліяло на нее отцовское мнѣніе и желаніе. Она отцу повѣрила на слово. Нѣсколько времени не могла она забыть Петрушу, послѣ отъѣзда его, — но быть его былъ слишкомъ далекъ отъ ея быта; опомнившись, она поняла, что ей нѣтъ никакой надежды на него; кромѣ того, склонность эта, едва возникшая, была принята отцомъ съ такимъ негодованіемъ, что Роза сама готова была считать ее преступною. Шифбрухъ былъ свой братъ, сверхъ того и чиновникъ, лихой малый, очень милъ и потому можетъ быть немножко вскружилъ голову Розѣ мимолетнымъ вертижемъ. Этою-то минутой судьба воспользовалась; отецъ и мать, даже сестры уговаривали и настаивали, и Роза, не успѣвъ опомниться, стала невѣстой и — женой.

Двѣ дочери остались еще въ домѣ у Тофельса, а все-таки казалось ему вокругъ пустынько. У каждой были въ домѣ свои занятія, свои дни и часы для всякаго дѣла; куда ни поди, бывало, вездѣ попадаются на встрѣчу то одна, то двѣ, то всѣ три — а теперь стали онѣ встрѣчаться порѣже, и все какъ будто тутъ или тамъ одной недоставало.

Спокойствіе и семейное довольство отъ этого не измѣнились; но сдѣлалось тише въ домѣ, а иногда посматривали другъ на друга съ какимъ-то грустнымъ спокойствіемъ. Въ Катеринѣ укрѣпилось намѣреніе, тверже прежняго, не выходить замужъ, а остаться при родителяхъ. Она съ усиленными заботами принималась съ утра за дѣло и, взявъ на себя половину работы и присмотра, много помогала старикамъ, содержала все въ отличномъ порядкѣ и сама была очень довольна.

ГЛАВА VII.

СУДЬБА ВУДУЩАГО КОЛБАСНИКА.

Корюшкина, Якова Ивановича, мы женили; Розочку отдали замужъ, и такимъ образомъ почти покончили дѣла свои на этотъ разъ въ Тугаринѣ. Остался нашъ Петруша, нашъ турецкій чубукъ въ чехлѣ, и надобно теперь послѣдовать за нимъ.

Какъ неопытному юношѣ, который выросъ на сайкахъ и только для науки получалъ иногда, мимоходомъ, тумака, и притомъ какъ человѣку, который отъ природы хотя нѣсколько мыслилъ, Петрушѣ все показалось ново и странно, когда онъ, потянувшись въ первый разъ изъ пеленъ своихъ, вышелъ на вольный свѣтъ. Полной воли ему отецъ не далъ въ дѣлахъ, но все-таки поручилъ поучиться, присмотрѣть за прикащиками въ Ростовѣ, Саратовѣ, Коломнѣ и Харьковѣ, посоветоваться съ ними и сдѣлать кое-какіе закупы. Проходя съ гуртами скота изъ одной губерніи въ

другую. Петруша узналъ на дѣлѣ много и понялъ, какимъ образомъ самыя благія распоряженія могутъ дѣйствовать превратно, если они написаны съ-лица, а исполняются съ-изнанки: онъ узналъ, какъ обстоятельство это можетъ затруднять торговлю, обороты и общительность, болѣе чѣмъ самый недостатокъ всякихъ мѣръ и распоряженій и дикое состояніе страны. Тутъ подгородные луга всѣ взяты были на откупъ однимъ барышникомъ, который беретъ съ гуртовъ что хочетъ и выручаетъ 500 на сто; тамъ принято за постоянное правило взыскивать съ прогоннаго гурта, кромѣ условнаго, еще за потраву, которой и не было во-все, но за которую гуртовщики должны были расплачиваться, чтобъ только высвободиться и угнать скотъ, потому что имъ каждый день задержки будетъ стоить не меньше небывалой потравы. Всюду свидѣлствуютъ, здоровъ ли скотъ, нѣтъ ли чумы, и безъ этого не пропускаютъ, — а это опять стоитъ гуртовщику по нѣскольку копеекъ съ головы. Не давай, говорятъ; самъ виноватъ, коли даешь; и Петруша было попытался не дать, да только одинъ разъ, а послѣ опять расплачивался честно, да еще кланялся и просилъ, чтобъ взяли: свидѣтельства не выдадутъ, такъ уйти нельзя; и сиди съ гуртомъ, который съѣстъ въ трои сутки всѣ кормежныя деньги. Но бывало не только это, а бывало и то, что незнакомые люди, называвшіе себя сильнымъ въ этомъ кругу званіемъ, встрѣчали гурты на границахъ cadaго уѣзда и взиали проходную пошлину за пропускъ. Самая прописка паспорта, въ каждомъ городѣ, никогда не обходилась у Петруши безъ почеса затылка:

такую принялъ онъ привычку, когда стаиваль у воротъ или у подѣзда заведенія, иногда по цѣлымъ днямъ, между тѣмъ какъ по своимъ расчетамъ прошелъ бы дальше, не запнувшись въ этомъ городкѣ ногой. А между тѣмъ, скотина хочетъ ѣсть, и прописчики, хорошо зная справочныя цѣны, хорошо рассчитываютъ, во что можно оцѣнить каждый часъ или день простоя.

Петруша увидѣлъ и узналъ на дѣлѣ, что значитъ прижимка и задержка гуртовщика на переправѣ, гдѣ берутъ съ него что захотятъ или переправятъ одну часть гурта, а другую держать, и зная, чего станетъ бѣдному хозяину такое разстройство, вымогаютъ съ него послѣднее. А что тогда, если еще погрозятъ гдѣ-нибудь признать одну или двѣ скотины сомнительными, остановить и оцѣнить весь гуртъ и заставить хозяина кормить его сухимъ кормомъ, чтобъ не заразить на пастбищѣ другой скотины? Словомъ, Петруша теперь только понялъ, какимъ образомъ скотопромышленнику каждые 30 рублей, съ поставкой на мѣсто, обходятся въ 60; сколько горя надо перенести бѣдному хозяину и сколько у него испортится крови, покуда онъ пригонитъ благополучно гуртъ свой на мѣсто. А дѣло такъ просто; такъ спокойно, казалось бы, можно пройти съ добромъ своимъ ты сячу другую верстъ и продать на мѣстѣ по дешевой цѣнѣ, потому что самому сходно досталось! Вотъ откуда и поговорка наша: за моремъ телушка полушка, да рубль перевозу!

— Какъ же тебѣ не грѣшно, — сказалъ Петруша однажды должностному крестьянину: — какъ тебѣ не грѣшно драть

этакъ, ни дай, ни вынеси, съ прохожаго человѣка! Побойся ты Бога!

— Да, братъ, — сказалъ тотъ: — побудь-ка ты на нашемъ мѣстѣ, такъ узнаешь. Вѣдь и я ѣсть хочу, не хуже тебя, хотъ и съ посохомъ хожу; а пашню-то за меня никто не обработаетъ!

— Да вѣдь вы за то на жалованьѣ; вамъ же съ міру за службу вашу и положено не мало, замѣтилъ Петруша.

— Не развѣшья ты имъ, — отвѣчалъ спокойно тотъ, — какъ въ другихъ мѣстахъ, а у насъ, братъ, хотъ иной дуракъ, вотъ какъ и ты, попрекнетъ нашего брата, да понапрасну. Коли я въ должности, такъ хозяйство у меня безъ рукъ и безъ пригляду; а какъ запустишь его, такъ послѣ не скоро и поправишь. Жалованьемъ нашъ братъ не разживется; оно хотъ и, казалось бы, не совѣмъ его мало, да у должностнаго человѣка и расходы не тѣ; тутъ гоньба день-деньской, а ину пору наѣдутъ да живутъ; а у кого, не у кого, какъ у меня таки; кто ни заѣхалъ, все къ намъ да къ намъ. Тутъ, братъ, одного вина въ годъ выйдеть, что дай Богъ жалованьемъ покрыть; а заѣзжаютъ-то, братъ, такіе, что безъ хлѣба-соли не выпроводишь, противъ обычая не пойдешь.

— Для чего же, — спросилъ Петруша стараго, бывалаго прикащика своего, въ другомъ мѣстѣ: — для чего же подгородныя пастбища отдаются оброчнику за малую плату, а ему даютъ волю драть съ нашего брата, что хочеть? Ужь лучше бъ городъ бралъ прямо съ насъ, такъ и намъ бы сходнѣе, да и ему бы выйдеть.

— Нельзя,—отвѣчалъ тотъ:— угоды городскія отдаются у нихъ съ торговъ да съ утвержденія начальства; нашъ братъ со скотомъ подойдетъ, такъ тутъ писать въ губернский городъ да утвержденія выжидать некогда; а по ряду у нихъ отдать нельзя, а все, вишь, съ торговъ.

Отправивъ по принадлежности нѣсколько гуртовъ, въ теченіе болѣе полугода, Петруша сдѣлалъ новые закупы, также отправилъ ихъ и, не получая долгое время писемъ отъ отца, съ нетерпѣніемъ ожидалъ распоряженій отцовскихъ и высылки денегъ, въ которыхъ нуждался. Между тѣмъ, проходитъ и еще мѣсяцъ, а нѣтъ ни того, ни другаго. Петруша пишетъ письмо за письмомъ, и письма его какъ въ воду—остаются безъ отвѣта, безъ привѣта. Старый прикащикъ отправленъ съ гуртомъ, Петруша остался одинъ хозяиномъ и начинаетъ бѣдствовать и приходитъ въ отчаянье. Онъ прохарчился весь, отпустилъ работниковъ и началъ распродавать поодиначкѣ нѣсколько головъ скота, чтобъ себя прокормить, и дождался до того, что уже и домой ѣхать было не начто. Онъ испыталъ все, старался достать денегъ займы, нанять извозчиковъ съ уплатою имъ денегъ въ Тугаринѣ, но не успѣлъ ни въ чемъ и видѣлъ передъ собою одно: отправиться домой пѣшкомъ, побираясь у добрыхъ людей.

Въ этомъ крайнемъ положеніи сидѣлъ бѣдный Петруша въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ, выжидая писемъ и денегъ и потерявъ уже всякую надежду и возможность дожидаться, какъ ему попался въ руки печатный листокъ, на которомъ онъ прочиталъ:

«Вслѣдствіе требованія Тугаринскаго губернскаго правленія отъ... Н... объ отысканіи и доставленіи въ Тугаринъ наслѣдника купца Корюшкина, сына его Петра, по случаю состоявшихся на немъ казенныхъ взысканій, Мухановское губернское правленіе предписываетъ симъ всѣмъ градскимъ и земскимъ полиціямъ произвести розыскъ, и буде оный Петръ Корюшкинъ гдѣ-либо окажется, то представить его немедленно по принадлежности.»

У Петруши руки опустились и замерло сердце. Этотъ листокъ прибавленій къ Губернскимъ вѣдомостямъ открылъ ему вдругъ ужасную для него тайну молчанія отца и, сверхъ того, еще собственное его гибельное положеніе. Отца уже нѣтъ, а самого его отыскиваютъ за казенные долги!

Петруша былъ еще молодъ, а потому проплакалъ цѣлыя сутки. Какъ все для него мгновенно измѣнилось — и какъ онъ самъ по себѣ на свѣтъ и на людей взглянулъ другимъ глазомъ и понятіями! Когда только приходилъ онъ повременамъ на нѣсколько минутъ въ себя, то, въ новомъ положеніи своемъ, самъ себя не узнавалъ: онъ будто смотрѣлъ самъ на себя со стороны. Не зная еще никакихъ подробностей печальной участи своей, не понимая, какъ все это могло стать, Петруша видѣлъ въ непроходимыхъ потьмахъ передъ собою изрѣдка одну только мелькающую искорку, за которую безотчетно держалась память сердца его, хотя и тутъ разсудокъ не понималъ ничего; Петруша на яву—и, можетъ быть, весьма некстати,—грезилъ Розой: это была для него одна свѣтлая точка.

«Въ Тугаринъ надо мнѣ попастьъ»,—подумалъ онъ наконецъ:—«а тамъ—власть Господня»—перекрестился и всталъ. «Пусть же меня возьмутъ, коли ищутъ, и отправятъ по пересылкѣ; по крайней мѣрѣ, я буду тамъ». Онъ взглянулъ на число объявленія и очень удивился, какимъ образомъ столько времени прошло, и полиція не искала и не требовала его, и онъ ничего не слышалъ объ этомъ розыскѣ. Собравшись съ духомъ и усердно помолившись, онъ пошелъ въ земскій судъ и явился тамъ, какъ отыскиваемый полиціею сынъ купца Корюшкина. Долго, очень долго тутъ было не до него, и онъ стоялъ какъ проситель, въ числѣ прочихъ, и не понималъ, какимъ образомъ всѣ люди въ этомъ мѣстѣ новидимому оглохли — по крайней мѣрѣ ни одинъ изъ нихъ не отвѣчалъ, проходя мимо по передней, туда и сюда, когда Петруша кланялся ему въ поясъ и являлся, какъ отыскиваемый арестантъ. Наконецъ присутствіе закрылось, и просителей валомъ погнали вонъ. На крыльцѣ удалось ему, однако же, остановить одного изъ членовъ, въ шитомъ мундирѣ; Петрушѣ сказано было, чтобъ шелъ въ полицію: здѣсь-де городъ, а не уѣздъ.

Въ полиціи объ эту пору никого не было; сторожъ при-совѣтовалъ Петрушѣ приходить завтра. И завтра не за горами: Петруша пришелъ; добровольная явка его изумила и озадачила чиновника, который нахмурилъ брови, взявъ изъ рукъ Петра листокъ объявленія, прочиталъ на немъ 27 марта и, оборотившись къ другому, который сидѣлъ за столомъ, спросилъ: «а что, у насъ публикаціи за мартъ очищены?»

— Какъ же съ, — отвѣчалъ тотъ: — уже за половину апрѣля очищены.

— Такъ какъ же быть? — продолжалъ первый: — вотъ навязалась бѣда — какой-то дуракъ самъ напрашивается; посмотрите-ка въ дѣлахъ, отъ 27-го марта, Петръ Корюшкинъ.

— Да что же тутъ смотрѣть? — отвѣчалъ тотъ: — извѣстно, что на жительство не оказался; я вѣдь докладываю, что публикаціи всѣ очищены.

— Такъ какъ же быть съ нимъ теперь?

— Да какъ быть? А намъ онъ на что? пусть его проваливается. Намъ что съ нимъ возиться? Пусть идетъ себѣ: тамъ найдутъ, кому нужно. Мы свое сдѣлали, донесли, что на жительство не оказался.

Такимъ образомъ, дѣйствительно прогнали нашего добровольно явившагося арестанта; даже нашелся одинъ таковой, что хотѣлъ-было этимъ случаемъ воспользоваться и потребовалъ съ Петруши что-нибудь за освобожденіе. Не смотря на тяжкое положеніе свое, Петруша, однако же, при этомъ случаѣ сострадательно улыбнулся, объяснивъ, что онъ освобожденія не просить и не желаетъ.

— Да все-таки, — возразилъ было тотъ, почесывая голову: — все-таки надо бы...

Петруша продалъ кой-какія бездѣлки и лишнее платье, пошелъ пѣшкомъ, тамъ нанялся въ работники къ обозу, опять шелъ пѣшкомъ и такимъ образомъ кой-какъ окончилъ бѣдственный, продолжительный путь свой и прибылъ въ Тутаринъ.

Вечернее солнышко было на закатѣ; сѣдая пыль стояла столбомъ надъ немоощнымъ городомъ, и привычные жители называли явленіе это сухимъ туманомъ. Вечерній благовѣстъ, столь знакомый Петрушѣ звукъ колокола, гудѣлъ однообразно надъ мирными жителями; возвращавшееся съ поля стадо мычало издали и взбивало по улицамъ густыя облака пыли. Съ какими чувствами выѣзжалъ Петруша, годъ тому назадъ, изъ роднаго Тугарина, и съ какими чувствами теперь возвращался? Сердце сильно у него щемило: что его теперь ждетъ, чѣмъ судьба его разрѣшится?

Онъ подходитъ къ родительскому дому своему, снявъ шапку и перекрестившись; слезы опять пробились ручьемъ. Ворота закрыты, ставни забиты, все мертво и пусто. Петруша въ раздумѣ обошелъ кругомъ, припоминая лѣта дѣтства своего и все, что сбылось съ нимъ въ этомъ домѣ; а затѣмъ рѣшился идти къ Мирону Степановичу, полагая наййти тамъ и мачиху и узнать всѣ подробности своего несчастнаго положенія. У него не доставало духу спросить о чемъ-либо одного изъ встрѣчныхъ и прохожихъ: онъ отворачивался, будто боялся быть узнаваемымъ, и крался пустыми улицами, подъ заборами.

Но, поворачивая за уголъ, Петруша встрѣтился круто, носомъ къ носу, съ человѣкомъ, котораго никогда не зналъ коротко, но который былъ извѣстенъ всѣмъ незлобностію своею, а притомъ и напомнилъ ему внезапно былые дни и вечера, проведенные въ домѣ Тофельса. Это былъ соловей аптекарь съ мозолями, который узналъ Петра, остановился

съ удивленіемъ, опершись одною рукою твердо на трость со шнуромъ и кистями, поднявъ другую кверху, какъ значокъ римскаго легіона. Вздернувъ брови, раскрывъ ротъ, онъ сказалъ: «А!»

Петруша невольно остановился, поклонился и назвалъ старика по имени и отчеству; а, нашедъ въ немъ участіе, онъ рѣшился спросить, что именно безъ него сдѣлалось?

— Плохо, сказалъ соловой: — плохо, Петръ Яковлевичъ; да, но я хотѣлъ спросить у васъ... Старикъ вашъ скончался, это вы знаете; онъ скончался внезапно, отъ удара, даже ни одного рецепта не было прописано, и, говорятъ, кровь не пошла. Вотъ видите ли! Но я бы хотѣлъ знать... да, гутъ, говорятъ, сдѣлалось большое замѣшательство; приступили кредиторы, потому что наслѣдника, т. е. васъ, не было, а знали, что ббольшая часть имѣнія передана была покойникомъ на имя жены, т. е. вашей мачихи, и даже на имя тестя, этой кубышки Мирона Степановича; знали также, что покойникъ, особенно въ послѣднее время, хоззайничалъ очень неразсчетливо, сорилъ деньгами, вошелъ въ огромные обороты, въ подряды съ казною... Но я бы желалъ знать...

— Помилуйте, — перебилъ его Петруша: — какимъ образомъ отецъ мой, при его состояніи, могъ разориться? Это для меня вовсе непонятно.

— Позвольте, — возразилъ тотъ: — я бы желалъ знать, или говорю вамъ, что при новомъ хозяйствѣ пошелъ совершешный безпорядокъ. Старикомъ овладѣла молодая хозяйка,

и родители ея заставляли его пить да гулять, кормить весь городъ, прибирали деньги и запускали дѣла. Безъ хозяйскаго глаза, сами вы знаете, какая торговля? И прикащики, и всѣ ближніе кинулись грабить старика; а дѣла стали. О, я бы только полюбопытствовалъ... но оно такъ и вышло: залоги въ казнѣ пропали, начеть открылся огромный, все описали, отобрали, половину растащили — чего вы тутъ хотите ожидать? Миронъ Степановичъ сдѣлалъ свое, и ни онъ, ни дочь его, вдова, теперь не тужать; а вотъ вы такъ сѣли! Я бы хотѣлъ знать, хотѣлъ спросить у васъ давно уже, да все какъ-то не случалось, потому что васъ здѣсь не было, — какимъ образомъ покойникъ рѣшился на такой неравный и невыгодный бракъ?

— Не знаю, — сказалъ Петруша.

— Ну, чего можно было ожидать отъ семейства, — продолжалъ аптекаръ съ мозолями: — отъ Мирона Степановича? Да, Миронъ Степановичъ, не смотря на свое богатство и на богатство покойнаго родителя вашего, которое нынѣ благополучно приобщилъ къ своему, — онъ, я вамъ говорю, хуже всякаго жида; онъ вотъ и теперь еще долженъ мнѣ, по частнымъ счетамъ, за 34 рецепта. Ну, вѣрите ли, я пересталъ отпускать! Ей-богу пересталъ, въ долгъ не вѣрю; вѣдь это казенное; я отвѣчаю за него своимъ добромъ! Я не отпускаю, а онъ и не беретъ, да такъ вотъ и живетъ слишкомъ полгода безъ лекарства, право такъ, даже ни одной ложки. Я бы желалъ знать...

— Неужто-жъ ничего мнѣ не осталось изъ отцовскаго

добра? — спросилъ Петруша: — неужто таки ни одной копейки?

— А подите, спросите ихъ. Въ городѣ говорятъ, что ничего, одни начеты да недостача; я ихъ не считалъ, а такъ говорятъ всѣ. О, я бы полюбопытствовалъ только... Прощайте, Петръ Яковлевичъ, прощайте! Закончилъ аптекаръ, когда Петруша, не дослушавъ, чего тому еще знать хотѣлось, раскланялся и пошелъ скорыми шагами впередъ.

Наконецъ, Петруша пришелъ въ домъ Мирона Степановича. Тутъ былъ онъ принятъ людьми съ какимъ-то недоумѣніемъ, съ бѣготней, суетой и перешептываніемъ. Вышелъ Миронъ и сказалъ протяжно и вяло:

— Здравствуй, братъ, Петръ Яковлевичъ! Ну, что, наказалъ насъ съ тобою Господь, а?

Прочія объясненія Мирона были сухи и малословны, такъ, будто тутъ не о чемъ болѣе толковать и не стоить попустому словъ терять. А когда Петруша рѣшился спросить: неужто-де все пропало и я вовсе остался нищимъ? то Миронъ, усмѣхнувшись горько и тряхнувъ бородой, сказалъ:

— Да развѣ ты не слышалъ еще, что ли? Все, любезный ты мой, пропало, ничего вотъ нѣтъ, окромѣ ста сорока тысячъ долгу; мы вотъ волоса на себѣ рвемъ; кто вѣрилъ ему, такъ и свое теперь потерялъ, да и казна не что возьметъ, не съ чего. А тебя, сердечнаго, судъ ищетъ давно; ты, гляди, не попадайся!»

— Да куда же мнѣ дѣваться, Миронъ Степановичъ? Со свѣту, что ли, бѣжать? Коли вы не защитите, такъ пусть берутъ: мнѣ нечего дѣлать; теперь вся надежда на васъ.

— Охъ, братъ Петруша, какая это надежда! Мы сами живы, поколѣ Господь Богъ милостивъ,—а такъ-такъ вотъ чуть покачиваемся. Я что тебѣ сдѣлаю? Моя помощь какая? Тутъ, гляди, и самъ туда же попадешь, и только.

— Помилуйте, Миронъ Степановичъ, да неужто жъ вы меня такъ и покинете?

— А что же я дѣлать-то стану? Что мнѣ, отцовскіе долги твои платить, что ли? Такъ на это, любезный мой, нашего брата не станеть, хоть какъ ни растягивайся. Вѣдь ты ему наслѣдникъ, а не я!

— Стало быть, только и будетъ мнѣ наслѣдства,—сказалъ Петруша: — что посадятъ въ тюрьму за отцовскіе долги? Больше я отъ васъ не услышу ничего?

Миронъ пожалъ плечами и вздохнулъ.

— Пусть же меня посадятъ, — сказалъ Петруша спокойно:—авось тамъ хоть накормятъ: я сегодня еще не ѣлъ.

Онъ всталъ и пошелъ было. Миронъ спохватился и началъ приглашать закусить, выпить чашку чаю, поужинать, закричалъ хозяйку, и Петруша, отказавшись рѣшительно отъ всего, не успѣлъ, однако же, выйти, какъ Марѳа Алексѣевна съ Парашей,—бывшія, какъ видно, не за горами,—вошли и остановили его. Мать залилась съ горя слезами, поминая покойника, а дочь, молодая вдова, стояла съ тѣмъ же безстрастнымъ лицомъ, въ ненарушимомъ спокойствіи духа, и держала въ обѣихъ рукахъ передъ собою свернутый клубкомъ платочекъ. Петруша взглянулъ на нее — все расплылось на этомъ тучномъ лицѣ и полныхъ пле-

чахъ; немного и было тутъ пріятныхъ чертъ, но и тѣ исчезли: все испоплилось, расплющилось и слилось въ одно.

Петруша не ѣлъ еще во весь день, но ему въ этомъ домѣ корка хлѣба стала бы коромысломъ въ горлѣ; онъ отказался отъ всего, предалъ хозяевъ суду Божію и пошелъ.

Онъ не долго думалъ, явился куда слѣдовало, и, правду сказать, съ нимъ обошлись здѣсь несравненно сострадательнѣе и привѣтливѣе, чѣмъ у своихъ. Старикъ Корюшкинъ былъ столько извѣстенъ въ городѣ и столько разъ кормилъ и поилъ всѣхъ, что полиціймейстеръ счелъ за особенное удовольствіе напоить и накормить голоднаго сына его, а самъ ходилъ въ это время подбоченьясь взадъ и впередъ, подходя повременамъ къ стоявшей въ сторонѣ закускѣ и наливая себѣ, за здоровье арестанта, рюмочку.

— Ну, какъ же, братецъ ты мой, — сказалъ наконецъ полиціймейстеръ: — какъ же мнѣ съ тобою быть? Ну, какъ же я тебя стану отправлять теперь въ острогъ? Ну, сдѣлай ты милость, научи меня!

— Просто, — отвѣчалъ Петруша: — прикажите связать да и отправьте съ книжкой подъ росписку. Вамъ лучше это извѣстно.

— Да нельзя, братецъ ты мой! Рука не подымается, ей-богу не подымается! Ну, вѣдь я хлѣбъ-соль помню покойника Якова Ивановича. Охъ, лихой старикъ былъ! Только ужъ, бывало, весь городъ наповалъ перепойтъ, ни одного нищаго трезваго не найдешь; а ужъ объ нашемъ братѣ и не говори: бывало, не соберешь команды своей въ недѣлю: кто подъ тыномъ, кто въ канавѣ, кто безъ глаза — пол-

зуть, бывало, ровно на масляницѣ! Баньщиковъ всѣхъ перепойтъ, никого нѣтъ и въ баняхъ, того гляди городъ сожгутъ: кто пришелъ, тотъ и парится, какъ знаетъ: самъ воды накачай, самъ дровъ подкинь... Охъ, проказникъ покойникъ былъ!

— Что дѣлать! — сказалъ Петруша: — миновалась эта пора.

— Ну, да какъ же мнѣ съ тобой-то быть? Да ты сказывай, гляди на меня, сказывай: ты уйдешь, что ли?

— Куда же я уйду? — отвѣчалъ тотъ: — уходить, такъ незачѣмъ бы и приходиться было.

— Ну, такъ живи у меня покуда въ казармѣ, — сказалъ полиціймейстеръ и налилъ еще рюмку. — Будь здоровъ! живи на мой отвѣтъ; а уйдешь, такъ ужъ я за тебя въ сибирку полѣзу, нечего дѣлать, — и расхохотался въ честь этой остроты.

Такимъ образомъ, Петруша не попалъ въ каменный мѣшокъ а остался на горькой волѣ, но не выходилъ никуда ни шагу, ни съ кѣмъ не видался. Не всѣ люди помнили хлѣбъ-соль Корюшкина такъ хорошо, какъ полиціймейстеръ; но не всѣ и забыли старика, не всѣ откинулись отъ сына, какъ Миронъ Степановичъ съ мачихой, и дѣло вскорѣ было рѣшено благополучно. Благополучіе это не простиралось выше того, что Петру дана была свобода; онъ все-еще оставался тѣмъ же нищимъ, но и этого было не мало. Дѣло рѣшили такъ, разсудивъ весьма основательно, что, какъ сынъ наслѣдства не получалъ и отъ

него отрекается, то продать отцовское имѣніе, сколько его найдется, а сына оставить въ покоѣ.

Нашъ бѣднякъ, получивъ наконецъ рѣшеніе, сидѣлъ на крыльцѣ такъ называемой полицейской казармы и думалъ думу.

— Надо надѣвать лямку да идти въ бурлаки,— сказалъ онъ, качая головой: — больше некуда дѣваться.

— Такъ погоди, братъ, немного,— сказалъ арестантъ, который былъ приведенъ для допроса и дожидался вмѣстѣ съ конвойнымъ своимъ тутъ же: — погоди, пойдемъ вмѣстѣ. Я эту лямку знаю и самъ туда же пойду: авось скоро выпустятъ. Славное, братъ, житье!

Петруша сталъ его разспрашивать и, между прочимъ, спросилъ также, за что и по какому дѣлу онъ сидитъ.

— Проклятый всему виноватъ,— сказалъ тотъ: — онъ меня это втравилъ. Я, братъ, скорняжилъ помаленьку въ Тулиновѣ да на хлѣбъ не на хлѣбъ, а все хотъ на вино, бывало, заработаешь. Тутъ грѣхъ попуталъ: у одного помѣщика шубу взялъ подъ сохранность и въ цѣлости представилъ, да недостача въ мѣху случилась. Баринъ задорный такой, знать ничего не хотеть. Ахти мнѣ бѣда какая. И тутъ нѣтъ, и тамъ нѣтъ, и заплатить нечѣмъ — туда, сюда совался, да вотъ на какого-то и насунулся слуру, люди добрые указали; а я и послушался. Онъ — чтобъ ему ни дна, ни покрывки — еще у васъ тутъ хозяйку высваталъ передъ смертью у нѣмца-колбасника и самъ никакъ изъ ихнихъ былъ.

— Какъ передъ смертю? — спросилъ Петруша: — развѣ онъ умеръ, Шифбрухъ?

— Да, да, онъ и есть, Шитруховъ, померъ давно. Такъ вотъ ровно косою срѣзало: набили бока, говорятъ, на ярмаркѣ картежники. Кто ихъ тамъ знаетъ! Такъ онъ мнѣ и настрочилъ просьбу, чтобъ, вишь, съ него же, съ барина того, поживиться, да и дѣло все испортилъ. Тутъ потянули въ судъ, да то, да другое — все съ этого пошло, да такъ дѣло запутали, что, вотъ, годъ и маюся.

Петруша, какъ ребенокъ, увлекся безотчетно извѣстіемъ о смерти Шифбруха и самъ не зналъ, почему и зачѣмъ. Онъ разспросилъ еще разъ, вѣрно ли это, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, всталъ и тутъ же пошелъ къ Тофельсу, также не зная зачѣмъ, но съ какою-то рѣшимостью, будто знаетъ, что дѣлаетъ. Дорогою только пришло ему въ голову проситься въ работники къ Вилиму Карловичу, хотъ за насущный хлѣбъ, и вымолить себѣ эту милость.

Въ домѣ Тофельса былъ Петруша принять съ криками радости со всѣхъ сторонъ и со слезами. У нѣмцевъ безъ этого не обходится. Молодая вдова была опять тутъ, у отца. Она поблѣднѣла, похорошѣла и съ виду казалась и умнѣе, и спокойнѣе. Сжалился старикъ, глядя на Петрушу, который былъ въ такомъ бѣдственномъ положеніи, и Вилимъ Карловичъ, подумавъ немного, согласился дать ему на время у себя въ домѣ пристанище, но долго не могъ рѣшиться считать его работникомъ своимъ. Петруша, однако же, сумѣлъ побѣдить сомнѣніе и недовѣрчивость

старика и вскорѣ ужился въ домѣ такъ хорошо, такъ исправно отправлялъ всѣ работы, что къ нему привыкли, будто онъ вѣкъ жилъ въ этой должности.

Черезъ нѣсколько времени Вилимъ Карловичъ призвалъ Петра, поговорилъ еще разъ обстоятельно и разспросилъ, точно ли твердая воля и намѣреніе его есть оставаться въ домѣ простымъ работникомъ, и, получивъ на это утвердительный отвѣтъ, сказалъ: «Ну, коли такъ, благослови тебя Богъ; путный же ты человѣкъ», и положилъ ему съ того же дня жалованье.

ГЛАВА VIII.

КОЛБАСНИКЪ ИЗЪ РУССКИХЪ.

Прошло нѣсколько времени въ мирномъ спокойствіи, которое какъ будто болѣе утвердилось въ домѣ Тофельса съ тѣхъ поръ, какъ прибылъ туда послушный и работающій сотрудникъ. Онъ жилъ тамъ какъ односельчанинъ и благословлялъ свою судьбу. — «Было ли мнѣ когда-нибудь такъ хорошо, такъ спокойно на душѣ, — думалъ онъ: — когда отца моего называли чуть не милліонщикомъ, а меня единственнымъ его наслѣдникомъ? Было только тогда развѣ, когда я забывался на часокъ въ этомъ же домѣ; но зато какую тревогой и грозой все это окончилось!»

Время шло; Петруша все болѣе и болѣе сближался со всей семьей и въ особенности съ Розой, и все это дѣлалось исподволь, самымъ незамѣтнымъ образомъ. Старикъ отчасти видѣлъ и понималъ дѣло, косился иногда, соби-

рался говорить, но смалчивалъ, потому что какъ-то не было особеннаго повода къ объясненіямъ и потому еще, что онъ самъ не зналъ, что бы именно такое сказать.

Однажды,—это было на страстной недѣлѣ, передъ пасхой, когда спѣшная работа кипѣла въ домѣ у Тофельса, — готовили окорока, колбасы и сосиски всѣхъ сортовъ, чистили ножки и головки, варили студень, начинали фаршемъ птицу и поросятъ,—Петруша работалъ почти всю ночь вмѣстѣ съ семьей колбасника. Работа кипѣла; на дворѣ темно и тихо, въ комнатахъ свѣтло, пріятно и шумно; воздухъ какой-то праздничный, торжественный, а Роза, въ бѣленькомъ чепчикѣ своемъ и въ короткихъ рукавахъ, очень мила, грустно весела и сострадательна. Она шутила, смѣялась съ другими, но все повременамъ призадумывалась и свѣшивала голову на бокъ. Петруша по наружности также принималъ участіе въ общемъ суетливомъ весельѣ, но видимо томился чѣмъ-то и вздыхалъ.

— Вотъ, сказала Роза послѣ долгаго молчанія, стоя рядомъ съ помощникомъ своимъ за какою-то начинкой:—вотъ какъ на свѣтѣ иногда бываетъ! Кто бы подумалъ въ то время, когда мы плясали еще подъ вашъ органъ, что мы будемъ жить вмѣстѣ, и что вы сдѣлаетесь нашимъ помощникомъ?

Петруша встрепенулся и взглянулъ на нее; она съ улыбкой на него посмотрѣла, но отъ взгляда его потупила глаза и, зарумянившись, усерднѣе прежняго принялась за свою работу. Петруша вздохнулъ и, также принявшись *опять* за дѣло, сказалъ вполголоса: «Ваша правда; тогда

мы не знали, не гадали, что будетъ теперь; а теперь не знаемъ, что станется черезъ недѣлю, черезъ день, можетъ быть.»

Послѣднія слова были сказаны съ особеннымъ горькимъ чувствомъ. Роза невольно опять взглянула на него и спросила также вполголоса: «а что же будетъ?»

— Богъ-вѣсть что будетъ,— отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ.

— Да что же? спросила Роза настойчиво и убѣдительно, послѣ молчанія:— что такое? Вы говорите такъ, будто предвѣщаете что-то недоброе.

У Петра глаза разъ, другой прищурились и мигнули, онъ сталъ потряхивать головой, между тѣмъ какъ руки его были прилежно занаты.— Я уйду отъ васъ,— сказалъ онъ наконецъ глухо: — нѣтъ мнѣ, видно, житья нигдѣ на свѣтѣ: то недобрые люди выживаютъ, то отъ добрыхъ бѣжать приходится!

— Развѣ вамъ нехорошо съ нами? — спросила она съ видимымъ смущеніемъ, вызывая его на положительный отвѣтъ.

— Роза Вилимовна, — отвѣчалъ онъ, подумавъ немного: — что про это и говорить, что хорошо; сами вы знаете. Не тужу я по богатствѣ своемъ, ни по дорогѣ, на которую отецъ было готовилъ меня,—ни по чемъ; тужу я о томъ, что, куда я ни кинусь, все доля моя горькая. То богатство мое выгнало меня изъ вашего дома, а теперь, видно, гонитъ нищета. Нѣтъ, мнѣ у васъ житья не будетъ, Роза Вилимовна! тошнехонько становится; что дальше, то

хуже. Ни отецъ вашъ не отдастъ васъ за меня, горемыку, ни сами вы, можетъ статья, не пойдете... Стало быть, только и осталось мнѣ, что отворотиться отъ солнышка да въ лѣсъ!

— Пересолишь, пересолишь, Роза!—закричалъ Тофельсъ, оглядываясь:—или это еще и перецъ у тебя? Что ты, дитя мое, дѣлаешь? Ты весь фаршъ испортишь!

Болѣе въ этотъ вечеръ между Розой и Петрушей разговора не было. Они даже какъ будто обходили другъ друга и смѣялись и шутили принужденно. Мать замѣтила это и, передъ отходомъ ко сну, приняла молодую вдову въ дружескій допросъ. Роза все рассказала и умоляла мать быть посредницей у отца, склонить его къ согласію на бракъ ея съ Петромъ. «Довольно я натерпѣлась», сказала она, горько плача: «Богъ ему прости и успокой душу его; дайте жъ мнѣ пожить теперь по-людски.»

Не смотря на то, что Роза была вдова и потому, казалось бы, довольно независима, ей и въ умъ не приходило сдѣлать подобный шагъ безъ отцовскаго благословенія, безъ воли его. Кратковременное замужество ея мелькнуло за нею, какъ зловѣщій сонъ; а возвратившись въ родительскій домъ, она стала опять тою же Розой, какъ была прежде. Вслѣдствіе совѣщанія родителей между собою, въ продолженіе котораго Тофельсъ передвигалъ колпакъ свой съ уха на ухо, вставалъ, ходилъ, иногда вдругъ упиралъ обѣ руки въ бока и призадумывался, опять садился, — слѣдствіемъ этого всего было, что онъ позвалъ Петрушу на первый день пасхи и, похристосовавшись съ нимъ по русскому обычаю, началъ такъ:

— Петруша, я тебя знаю давно и люблю. Если ты захочешь, то изъ тебя можетъ выйти порядочный человѣкъ, во славу Господню и на честь и на пользу ближняго. Выслушай меня.

«Когда я жилъ еще заграницей, то я зналъ русскихъ по одному только случаю: артель русскихъ рабочихъ возвращалась съ лейпцигской ярмарки, десятка съ полтора видныхъ ребятъ, подъ русской стрижкой, а которые постарѣе, такъ и съ бородами. Они пристали на пути въ постояломъ дворѣ, въ небольшомъ городѣ, и мы, жители, ходили смотрѣть на нихъ и разговаривать съ ними; почти всѣ они говорили по-нѣмецки. Противъ трактира хозяинъ собирався красить снаружи домъ свой и, обдумывая это обстоятельство, совѣтовался съ архитекторами и съ двумя старшими мастерами. На этотъ разговоръ подошли и земляки ваши и вслушивались, о чемъ идетъ рѣчь; мастера просили дорого, а хозяинъ немножко горячился. Одинъ изъ русскихъ вмѣшался въ разговоръ и сказалъ, что въ Россіи взяли бы за окраску дома почти втрое дешевле. Слово за словомъ, и объяснилось, что нѣмцы, для побѣлки или окраски дома, ставятъ лѣса вокругъ всего дома, и во всѣ пять ярусовъ, точно будто его вновь строятъ, и что уже по этой одной причинѣ какъ работа, такъ и припасы обходятся имъ гораздо дороже. Русскіе сказали, что по ихнему разсчету нужно столько-то краски да на столько-то посуды и щетины, а затѣмъ нѣсколько плахъ дровъ и одну или двѣ лѣсины на переносный костыль; расцѣнивъ все это, показали, что весь излишекъ цѣны пойдетъ за

работу. Хозяинъ, недолго думавъ, приговорилъ проходящую артель снять работу; тѣ взяли задатокъ и принялись; гдѣ изъ окна плаху высунули, гдѣ кой на чемъ подмостились, да пару подвижныхъ костылей на одной лѣсинѣ сдѣлали, смотрѣть страшно: одинъ наверху сидитъ подъ кровлей, ногами въ стѣну упирается да отталкивается, а другой внизу рычагомъ костыль подвигаетъ.... О, я это очень помню; весь городъ смотрѣлъ; трубы водосточныя красили, сидя верхомъ на ведрѣ, макали подъ себя кисть и спускались по трубѣ же. Такъ-сякъ, затерли, закрасили, выбѣлили и покончили. Нѣмцы, глядя на всю продѣлку эту, дивились и спросили земляковъ вашихъ: да вы какіе мастера, каменщики, маляры или штукатуры? — Нѣтъ, — отвѣчали тѣ: — мы, признаться, не то чтобы штукатуры и не маляры; сестъ у насъ тутъ одинъ, что въ плотникахъ живалъ; другой есть стекольщикъ, а то мы всѣ сызранцы, сапожники!!!

«Вотъ видишь, другъ мой Петруша, на это земляки ваши хороши; за это я ихъ уважаю: расторопны, догадливы, поворотливы; все сдѣлаютъ, все переймутъ, да все какъ-нибудь. Вотъ почему они на такое искусство, какъ наше, не годятся. Наше званіе почетное, Петруша; наша работа смышленная, требуетъ науки, ученья, хорошихъ, основательныхъ свѣдѣній, любви къ искусству своему, прилежанія, доброй нравственности и большой аккуратности. Слушай дальше, Петруша. Я опишу тебѣ нашу, нѣмецкую, бойню и русскую, а ты слушай да самъ и разсуди послѣ.

«Въ глухомъ и пустомъ мѣстѣ, среди вони, смрада и нечистоты, вдали отъ жплья, стоятъ саран, сколоченные изъ барочныхъ досокъ. Это называется бойня. Внутри пусто, никакого устройства; кромѣ вторника и субботы, то-есть бойныхъ дней, снаружи все также пусто и уныло; только пришлыя собаки гуляютъ среди раздолья въ окружности, и стаи воронъ и грачей, каркая, перелетаютъ съ мѣста на мѣсто.

— Правда, — сказалъ Петруша, — правда.

— Постой, — принявъ опять старикъ: — постой, не перебивай меня, дай мнѣ договорить. Иногда ты встрѣтишь на такой бойнѣ сторожа и нѣсколько головъ несчастнаго скота, который почему-либо не попалъ подъ обухъ во вторникъ и ожидаетъ смиренно на привязи субботы, безъ корма, безъ поила, заморенный голодомъ и жаждой. Потрудись свѣсить, сколько сала и мяса волъ потеряетъ въ эти предсмертные дни, и ты увидишь, что это составитъ никакъ не менѣе пуда на голову; какія цѣны ни положишь на говядину и на сѣно, все-таки окажется, что хозяинъ отдастъ рубль за гривну. Стада свиней, на подножномъ корму, роются въ кровяной грязи и, будучи обращены въ плотодныхъ животныхъ, даютъ жесткое, дурное и нездоровое мясо, которое мы поневолѣ съѣдаемъ подъ разной приправой. Когда придетъ урочный день, то скотъ спроваживаютъ поштучно на помость; при этомъ бѣднаго вола просятъ покалывать на свое мѣсто какую-нибудь подручной дубной, обломкомъ оглобли, исколотять ему бока, лажки, изомнуть, для понужденія, хвостъ и нерѣдко собьютъ

одинъ рогъ. Дрожащая всѣмъ тѣломъ скотина, съ избыткомъ заживо мясомъ, стоитъ на мѣстѣ, притянутая головою къ помосту. Чтобъ теперь вознаградить отчасти утрату мяса, о которой я говорилъ, скотину не поражаютъ однимъ полновѣснымъ ударомъ обуха, а бьютъ по лбу разъ по десяти и двадцати, чтобъ отъ продолжительнаго и возобновляемаго испуга кровь застыла въ жилахъ, сгустилась и не вытекала сполна при зарѣзѣ. Затѣмъ не колютъ скотины, не вскрываютъ сонныхъ жилъ, а рѣжутъ, отчего кровь не такъ быстро вытекаетъ и фунтовъ пять говядины, собственно такъ называемый зарѣзъ, дѣлаются вовсе негодными для пищи. Этого мало: я видѣлъ не разъ, что два работника убиваютъ скотину, какъ живодеры, дубинами... Картина отвратительная, которая безчестить все наше званіе!

«Убитого вола кладутъ на спину и начинаютъ обдирать острымъ и остроконечнымъ ножомъ; исколовъ кругомъ шкуру и выхвативъ тутъ и тамъ по лоскутку мездры,—отчего кожа теряетъ третью долю цѣнности своей,—начинаютъ вырубать грудину, въ лежащемъ положеніи стегна, и все загаживается кровью и осколками костей. Тогда вынимаютъ внутренности, исколовъ и изорвавъ ихъ въ десяти мѣстахъ; обдаютъ всю тушу кровью и грязью, складываютъ внутренности въ кучу и выволакиваютъ послѣ забойню, на сало, которое, напитанное кровью, завязывается по 3 или 4 пуда въ одинъ кутырь. Салу не дадутъ и остыть, отчего оно задыхается и вскорѣ тухнетъ. Туши сваливаются на грязную кровяную телегу, работникъ са-

дится на нихъ и такимъ образомъ отвозить ихъ въ мясные ряды. Печень и другія внутренности разбираются гусачниками въ такомъ же грязномъ видѣ, а во время поста сваливаются на чердакъ, гдѣ это добро лежитъ годами, мерзнетъ, таетъ и прѣтеть, и наконецъ все-еще находитъ покупателей, если не вовсе перегноится до мясаѣда. Воды на бойнѣ нѣтъ никогда, и она вовсе не идетъ въ дѣло, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ непремѣнно полагается на каждую битую скотину по два ушата воды, для обмывки и очистки. На мясо, на салъ, шкурѣ и другихъ частяхъ скотопромышленники и мясники наши теряютъ отъ одного небреженія и безпорядка огромныя суммы; онѣ составляютъ на все государство, конечно, многіе миллионы. А между тѣмъ скотъ нашъ славится, кормъ дешевле, и сбытъ, не только сала и шкуръ, но и самой даже соловинны, долженъ бы доставить намъ огромную и выгодную промышленность. Теперь шкуры наши всѣ изрѣзаны, истыканы, какъ извѣстно всякому торговому человѣку; сало всегда тухлое, а мясо вовсе не идетъ въ солонину, потому что для этого не годится.

— Все это я видѣлъ, — замѣтилъ Петруша: — это правда.

— Гамбургскій и англійскій способы бить скотъ я считаю лучшими, — продолжалъ Тофельсъ: — затѣмъ слѣдуетъ бельгійскій, а французскій мнѣ менѣе нравится. Посмотрѣлъ бы ты, братъ Петруша, на любую гамбургскую бойню! Издержки на устройство ея давнымъ-давно вознаградились наличнымъ барышомъ, а она стоитъ и все-еще обогащаетъ умнаго, знающаго и расчетливаго хозяина.

Тутъ 50 опытныхъ подмастерьевъ бываютъ ежедневно въ работѣ; каждый изъ нихъ долженъ изучить ремесло свое и каждый былъ бы строго наказанъ и прогнанъ за одинъ только порѣзъ или проколъ шкуры, тогда какъ у насъ бываетъ ихъ пятьдесятъ на каждой. Не найдешь ты здѣсь тухлаго сала въ кутыряхъ и кровяного мяса: тутъ идетъ вывозъ копченaго и соленaго во всѣ части свѣта. Путешественники осматриваютъ въ Гамбургѣ бойню, какъ всякое другое замѣчательное заведеніе, фабрику, заводы, — какъ въ Лондонѣ осматриваютъ знаменитую пивоварню.

«На такой бойнѣ живутъ очень порядочные люди, и ихъ не беспокоитъ зачумленный воздухъ, духота и нечисть, которые заставляютъ здѣсь относить бойни за нѣсколько верстъ отъ города. На гамбургской бойнѣ найдете вы всѣ снаряды и устройство; тутъ удобные подъемные вѣрты, большіе и малые топоры, различные ножи — и все это чисто, свѣтло, опрятно; тутъ насосы и надлежащій запасъ воды; складочныя мѣста для сала, солонины, шкуръ и прочаго — и все это въ порядкѣ; подземныя посудины для пріема крови, а равно трубы и колодцы для стока сукровицы; котлы для выварки крови, которая вся идетъ въ дѣло; посуда для очистки и сохраненія зорной крови; соляные запасы; бочарня; сушильня для запасныхъ бочарныхъ клѣпокъ; сушильня для кожъ и для сала; контора съ расчетными книгами; конюшня для скота и запасы корма. Когда скотъ пригнанъ съ рынка или пастбы, то ему даютъ сутки покоя и поятъ въ волю, черезъ что кожа впослѣдствіи легче отдѣляется, мясо бываетъ чище, внутренности

опрятнѣ и самая даже кровь лучше вытекаетъ изъ жилъ. Въ урочный часъ скотину ведутъ бережно на бойню, не пугая ея и отнюдь не позволяя себѣ побоевъ; затѣмъ ее поражаютъ мгновенно, въ одинъ ударъ обухомъ, на смерть*). Тамъ дозволяется дать еще два добавочные удара; но кто не свалилъ вола сразу, или принужденъ ударить его въ додатокъ болѣе двухъ разъ, того наказываетъ старшій подмастерье, а что еще хуже—ему даютъ прозвище *рѣзак* (*Schneider*), слово крайне оскорбительное для всякаго порядочнаго человѣка. Затѣмъ отыскиваютъ и вскрываютъ сонныя жилы, а не рѣжутъ поперекъ всю шею; отъ этого кровь вытекаетъ до капли, мясо не терпитъ отъ зарѣза, а кожа выигрываетъ въ цѣнности. Собственно боемъ скотины занимаются опытные въ этомъ дѣлѣ подмастерья, которые исключительно этимъ промышляютъ, обхаживая въ извѣстные дни всѣ бойни и получая плату съ головы. Убитая скотина кладется на спину, кожа снимается однимъ продольнымъ разрѣзомъ, отъ самой морды до хвоста; въ 30 минутъ это дѣло кончено, стегно виситъ, поднятое воротомъ, а на мездрѣ, конечно, не найдешь ты ни одного порѣза. Въ этой работѣ виденъ человѣкъ и можетъ себя показать: мужественный, смѣлый и ловкій малый, работаетъ такъ, что любо смотрѣть; а слабого, неуклюжаго мастеръ прогонитъ отъ работы. Затѣмъ все обмывается и очи-

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стали бить скотину ударомъ ножа въ станovou жилу—способъ также весьма хорошій, но требующій навыка.

щается, голова и ноги обвариваются и чистятся, мозгъ отдѣльно вымачивается, языки обмываются; поднятое стегно вытирается нѣсколько разъ мокрыми полотенцами; въ этомъ же положеніи, для удобства и соблюденія опрятности, вынимаются внутренности, сало, гусакъ, и все это кладется не въ грязь, а на чистый столъ; все это очищается и обмывается, такъ что любо смотрѣть; все кладется на свое мѣсто и все идетъ въ дѣло. Грудь, разрубленная вдоль, распирается распоркой, все стегно внутри окачивается водой и обмывается, да сверхъ того еще окладывается мокрыми полотенцами, которыя перемѣняются, напитываясь кровью. Почки съ жиромъ своимъ остаются, для пользы и приличія, на своихъ мѣстахъ. Затѣмъ вся бойня окачивается и вымывается водой, вся посуда и снаряды также, и всѣ окна и двери растворяются, чтобъ мясо остыло на вѣтрѣ и прочахло. Откуда тутъ взяться духотѣ? Надувать мясо тамъ запрещено, подъ опасеніемъ отдачи въ рабочій домъ; шкура съ порѣзами была бы посмѣшищемъ для всей бойни; а кромѣ сукровицы да еще выкинутого изъ очищенныхъ внутренностей, ни шерстинки не пропадетъ даромъ: кровь, копыта, черепъ, — все идетъ въ дѣло.

«Когда начну говорить объ этомъ, у меня, Петруша, сердце обливается кровью; нѣтъ конца моему сѣтованію. Здѣсь, напримѣръ, крошатъ и терзаютъ на клочки драгоценный почечный жиръ, тогда какъ повсюду за границей оставляютъ его сначала во всей красотѣ на стегнѣ, а потомъ выбираютъ цѣликомъ и продаютъ дорогою цѣною на свѣчные заводы. Здѣсь работникъ беретъ ножъ, надрѣзы-

заетъ весь почечный жиръ мелкой рѣшеткой по вѣсѣмъ направлѣніямъ и разстилаетъ его плутовской уловкой вдоль хребта по вѣсѣмъ ребрамъ, чтобъ плохой говядинѣ дать жирный, пріятный видъ. Все обманъ и обманъ самый неразсчетливый! Половина этого дорогаго жира крошится и падаетъ въ подставленное грязное ведро, куда стекаетъ также кровь и всякая нечисть; это все идетъ въ кутырь, слеживается тамъ вмѣстѣ съ салникомъ и тухнетъ. Такимъ образомъ покупщикъ долженъ покупать сало вмѣсто мяса; а мясники сами теряютъ болѣе половины цѣны: мясо, напримѣръ, въ Петербургѣ стоитъ изъ первыхъ рукъ 5, 6 рублей, а почечное сало на биржѣ по 12 и 15 рублей за пудъ. Сверхъ того, хорошему работнику нужно столько же времени на то, чтобъ искусно растерзать и распластать почки, сколько и для того, чтобъ убить и очистить скотину. Ежели же разсудить, что въ каждомъ стегнѣ остается кругомъ не менѣе пуда почечнаго жира, остальное-жъ крошится и пропадаетъ даромъ въ грязи и крови, и что въ трехъ главнѣйшихъ мѣстахъ, въ Петербургѣ, Москвѣ и Коломнѣ, бьютъ ежегодно 250,000 головъ, то, принявъ для всей остальной Имперіи, откуда доброе сало могло бы быть сбываемо за границу, столько же, увидимъ, что у насъ на одной этой статьѣ гибнетъ ни за что, ни про что 5 или 6 милліоновъ рублей, которые никому не достаются и никому не приносятъ пользы, а такъ сказать зарываются въ навозъ.

«Ну, да ладно, Петруша, полно! Я хотѣлъ было показать тебѣ разницу между здѣшней мясной лавкой и лавкой

въ Берлинѣ, Амстердамѣ, Гамбургѣ, Лондонѣ, гдѣ лавки эти устроены среди города, между другими богатыми заведеніями, гдѣ лавки эти такъ же благовидны и опрятны, какъ бронзовые магазины, и гдѣ отъ мясныхъ рядовъ такъ же мало духоты, какъ отъ суконной линіи, или еще меньше, потому что тутъ пахнетъ валяльнымъ мыломъ.— Хотѣлъ я тебѣ говорить еще много, чтобъ ты вошелъ въ себя, понялъ меня, почувствовалъ истину и важность словъ моихъ и глядѣлъ бы съ умиленіемъ на искусство наше, уважалъ бы его и себя; но это все успѣемъ сдѣлать современемъ. Коли въ тебѣ есть чувство, Петруша, коли ты человѣкъ, то ты долженъ былъ и теперь понять и увидѣть, къ чему я веду рѣчь. Петруша, я уже старѣюсь, но дряхлѣю плотію, а не духомъ; у меня еще замысловъ много, я хочу привести часть свою въ порядокъ, хотя, благодаря Бога, какъ видишь, и теперь уже слишкомъ двадцать лѣтъ лавка моя въ такомъ положеніи, что упрекнуть меня было бы грѣхъ. Тутъ, въ Тугаринѣ, двадцать лѣтъ всѣ чиновники перемѣнились раза четыре: наѣзжаютъ изъ столицы да уѣзжаютъ — а я все одинъ и тотъ же, выдержалъ соперничество съ вашими безтолковыми живодѣрами и теперь не боюсь никого: меня знаютъ давно всѣ, и самъ губернаторъ, и знаютъ, что безъ меня имъ жить нельзя; я ихъ избаловалъ. Безъ меня ихъ никто не накормить. Ну, Петруша, видишь ли, дочерьми меня Богъ благословилъ, а сына не далъ. Старшая дочь остается при хозяйствѣ, изъ дому не идетъ — Господь съ нею; а вторая... а что же ты думаешь о второй, о Розѣ? — Оби-

дѣли ее судьба и отецъ, что отдали въ такія руки, да Господь разсудилъ ее, не намъ теперь судить! Хочешь ли ты быть моимъ помощникомъ, идти вѣрно и неутомимо путемъ моимъ, взяться за мастерство наше, какъ порядочному чело-вѣку слѣдуетъ, чтобы заставить всѣхъ чтить и уважать себя, приобрести славу и нажить деньги?»

Петруша, какъ русскій чело-вѣкъ, бухъ въ ноги старику и лбомъ объ полъ. Не успѣлъ Тофельсъ поднять и обнять его, расчувствовавшись, а потомъ разразиться радостнымъ хохотомъ, какъ одна половина двери начала потихоньку растворяться, и оттуда показались двѣ или три женскія головы. «Сюда!» закричалъ Тофельсъ, и Роза, окропленная слезистою росой, лежа въ объятіяхъ отца, пожала жениху своему руку. Петруша прижалъ ее къ груди, а самъ потряхивалъ кудрями, которыя валялись въ лицо, и протиралъ глаза.

Посмотрѣли бы вы, какой изъ него вышелъ колбасникъ и какъ онъ чисто ходилъ около товара своего въ бѣлой рубахѣ, бѣломъ фартукѣ и бѣломъ колпакѣ! Вилимъ Карловичъ оставилъ ему русскую стрижку, русскую косоворотку, но красная александрійка была разъ навсегда изгнана: все бѣлое. Вилимъ Карловичъ увѣрялъ, что никогда въ мясной лавкѣ не можетъ быть ни порядка, ни опрятности, если на хозяинѣ не будетъ бѣлаго бѣлья.

Когда, черезъ годъ со днемъ, имущество Кориюшкина продавали съ молотка, то Петруша пошелъ туда съ особенною цѣлью: онъ хотѣлъ купить столь извѣстный намъ органъ и поставить его, на память бывшему и на забаву

грядущему, на то же самое мѣсто, гдѣ онъ простоялъ почти годъ, у Вилима Карловича въ залѣ. Петруша стоялъ, въ продолженіе шумной продажи отцовскаго имущества, печальный, но спокойный; онъ грезилъ прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ и спокойно выжидалъ очереди своему органу. Но продажа кончилась, а органа нѣтъ. Удивившись этому и спросивъ кого-то изъ старожилонъ, не слышно ли, куда дѣвался этотъ органъ, который извѣстенъ былъ похождениями своими цѣлому городу, — Петруша получилъ отвѣтъ, что органъ у Мирона Степановича: «неутѣшная вдовушка увезла его съ собой», прибавилъ тотъ, «чай, все плачетъ да наигрываетъ!»

Петруша вспомнилъ, какъ онъ и самъ когда-то сидѣлъ и плакалъ подлѣ органа, наигрывая плясовые пѣсни; но ему при всемъ томъ не хотѣлось уступить эту плачевную музыку Мирону, который могъ бы, казалось, удовольствоваться болѣе существенными пріобрѣтеніями, доставшимися ему, правдою и неправдою, отъ Корюшкина. Онъ отправился сгоряча къ Мирону Степановичу и доложилъ ему о желаніи своемъ имѣть на память эту вещь, которая, неизвѣстно какимъ образомъ, понала въ домъ Мирона. Кулебяка съ бородой обнялъ Петра, узнавъ, что рѣчь идетъ только объ органѣ, много шутилъ и смѣялся и выдалъ ему музыку съ большимъ удовольствіемъ. Онъ только побожился разъ пять сряду, для очистки совѣсти, что органъ былъ подаренъ ребятамъ его.

А какая радостная встрѣча была этому органу въ домѣ Тофельса! Даже старики едва не прослезились, а Роза сказала вздохнувъ: «А добраго нашего ютландца нѣтъ?»

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА

ИЛИ

ПРОГУЛКА ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ.

Невскій проспектъ, отъ Дворцовой площади и до Невского монастыря—это не только цѣлый городъ, цѣлая столица, это цѣлый міръ,—міръ вещественный и міръ духовный, міръ событий, столкновений, случайностей, міръ хитрой и сложной разсчитливости, тонкихъ происковъ и продувнаго пустозвона; это палата ума и торная колея дурачества; бездна премудрости и шутовской помость фиглярства; кладезь замысловатости и битая мостовая пошлости; картинная галлерея скромной модности и позорище модной скромности; выставка щегольства, роскоши и вкуса — базаръ чванства и суетности, толкучій рынокъ многихъ, если не всѣхъ, слабостей и глупостей людскихъ; опорная точка, основаніе дѣйствій и цѣлой жизни одного человѣка — поворотный кругъ и солнцестояніе другаго; это ратное поприще и укромная кѣлія — бѣгъ взапуски на безпредѣль-

ное пространство и тѣсный кругъ коловращенія вокругъ наемнаго очага. Разгульная пѣснь лихаго тунеядца сливается здѣсь съ тихимъ вздохомъ труда и стономъ нужды. Служба, и военная, и гражданская, и словомъ всякая, мелькаетъ вправо и влѣво, впереди и назадъ — и тутъ же снуютъ туда и сюда самыя неслужебныя лица, озабоченныя своими и чужими расчетами, нуждой и горемъ — прохаживаются чванно самодовольныя, самонадѣянныя, упитанныя и умащенные куколки; и между ними, и между службой скользятъ и ватаги вольницы и тунеядцевъ. Вертлявый живчикъ пляшетъ рядомъ съ неповоротливой торговкой; сущій подобень, снимокъ съ модной картинки, обгоняетъ сальнаго пирожника, подмастерья въ пестрядевомъ халатѣ, голландскаго скипера въ байковой рубахѣ. А загляните въ жилье — въ подвалы, ярусы и чердаки — тутъ въ одно и то же время и крестятъ и отпѣвають, и сватаютъ и вѣнчаютъ, и хоронятъ и рожаютъ — и нѣтъ нужды, нѣтъ потребности, которой бы нельзя удовлетворить по безконечной площади этой, отъ Зимняго дворца до Невскаго монастыря; тутъ все, вся лѣстница званій, зданій, чиновъ, возрастовъ и половъ.

Другой описалъ уже населеніе Невскаго проспекта по днямъ и часамъ, по суточнымъ пережѣнамъ; вы видѣли, что по Невскому движется цѣлый міръ, сбывается и прибываетъ попережѣнно круглыя сутки — но міръ этотъ образуется и составляется изъ сложности всѣхъ чиновъ и званій, изъ совокупности нѣсколькихъ тысячъ людей, конхъ судьба сводитъ день за день изъ всѣхъ концовъ столицы

и цѣлаго царства; это не тотъ міръ, о которомъ я хочу говорить; дайте мнѣ рассказать вамъ, какимъ образомъ для одного частнаго человѣка весь міръ ограничивался собственно стѣнами Невскаго проспекта, и какъ самое даже воображеніе этого лица, въ разгульные мгновенія, не летало далѣе Елагина, Каменнаго и Крестовскаго! Каждое изъ лицъ, составляющихъ собою міръ совокупностей на Невскомъ, служитъ міру часъ, а много два въ сутки; остальное время лицедѣи наши проводятъ во всѣхъ концахъ столицы, продолжаютъ комедію или трагедію свою въ Садовой, Гороховой, Литейной; а иной, пожалуй, даже на острову и на Пескахъ — но нашъ герой не сбивался во весь свой вѣкъ со столбоваго пути Невскаго проспекта, и былъ и жилъ тутъ весь свой вѣкъ; тутъ онъ началъ жизнь, тутъ и кончилъ; и даже самая развалина этой первой въ мірѣ улицы, за каретнымъ рядомъ, не соблазнила его, какъ мы впоследствии увидимъ: онъ покинулъ Мытненскую и пошелъ направо, къ Невскому, не призадумавшись ни на минуту.

Итакъ, лѣтъ тому будетъ съ 50, въ одномъ изъ крайнихъ деревянныхъ домиковъ къ Невскому монастырю, жилъ нѣмецъ, булочникъ. Его звали, разумѣется, Иваномъ Ивановичемъ, какъ уже и въ то время звали всѣхъ нѣмцевъ-булочниковъ и колбасниковъ; Иваны Адамовичи были, какъ извѣстно, воспитатели, учителя; Карлы Ивановичи или Иваны Карловичи докторъ и нѣмцы служащіе; а имена: Адольфъ, Августъ, Густавъ и другія, болѣе замысловатыя, составляли собственность нѣмцевъ художниковъ и музыкантовъ. Иванъ Ивановичъ былъ также художникъ въ своемъ ремеслѣ, но,

какъ человѣкъ весьма скромный и незаносчивый, довольствовался именемъ и отчествомъ Ивана. Была у него жена Анна Ивановна, и болѣе не было никого: дѣтей Богъ не далъ. Иванъ Ивановичъ нажилъ уже подъ Невскимъ порядочное въ быту этомъ состояніе, часто тушилъ и скучалъ за наслѣдниковъ, но все ложился и вставалъ бездѣтень, пекъ сухари, крендельки и булочки, мѣнялъ на себѣ верхнее бѣлье, колпакъ и передникъ по три раза въ недѣлю, въ урочные дни и часы, сдавалъ все это опять счетомъ Аннѣ Ивановнѣ и указывалъ только пальцемъ на то мѣсто, которое требовало починки; Анна Ивановна чинила, штопала, мыла, катала, гладила, — сухари и булочки продавались успѣшно, а чета наша жила въ одиночествѣ: ребятишекъ Богъ не далъ.

Подслушалъ ли кто желаніе Ивана Ивановича и Анны Ивановны, или просто своимъ умомъ догадался, что зажиточному бездѣтнику-булочнику можно поднести при случаѣ гостинецъ, — не знаю; но тутъ случилось вотъ что: въ темный осенній вечеръ, когда Анна Ивановна давно уже закрыла ставни и собиралась подать на столъ картофель и молочный супъ (а у нея была своя коровка), — кто-то постучался довольно сильно у того окна, гдѣ была деревянная форточка, вмѣсто нынѣшнихъ жестяныхъ, и сказалъ, на вопросъ старика: «что нужно?» — «Иванъ Ивановичъ, выдь на минутку, выдь скорѣе пожалуста, письмо къ тебѣ есть, нужное дѣло.» Иванъ Ивановичъ положилъ бѣлую глиняную трубочку свою бережно на карнизъ печки, накиннулъ наторпясъ стеганный халатъ, отворилъ осторожно дверь,

между тѣмъ какъ Анна Ивановна, немного встревоженная, ему свѣтила; вышелъ на крыльцо, онъ спросилъ: «ну, какой писмо, что нужно?» Все было тихо, никто не отвѣчалъ ни слова. Иванъ Ивановичъ оглядывался кругомъ, готовился уже вымолвить прескверную русскую брань, которую перенялъ, со свойственною иностранцамъ легкостью, у нашего народа; но какъ онъ дѣлалъ все вообще не торопясь, то и хотѣлъ сперва осмотрѣться хорошенько, впотѣмахъ сталъ спускаться со знакомаго ему крыльца, вытаращивъ глаза прямо на улицу, споткнулся и чуть не отмѣриалъ по мостовой косую сажень. Изъ-подъ ногъ его какой-то свертокъ покатился по пяти или шести ступенямъ, и въ то же время раздался изъ него жалобный крикъ котенка. Въ женскомъ сердцѣ Анны Ивановны отозвалось какое-то неизвѣстное намъ, мужчинамъ, чувство; она поставила свѣчу торопливо на полъ и кинулась къ котенку. Иванъ Ивановичъ также сошелъ съ крыльца, не торопясь, и съ удивленіемъ оглядывался впотѣмахъ, между тѣмъ какъ свѣтъ отъ свѣчи въ сѣняхъ освѣщалъ великолѣпно цвѣтной халатъ его и бѣлый какъ снѣгъ колпакъ. «Что же это значитъ?» спросилъ онъ, нагнувшись къ находкѣ своей, надъ которой хлопотала Анна Ивановна. Котенокъ оказался ребенкомъ, новорожденнымъ мальчикомъ. Его внесли въ покой — и съ нимъ явилась у Анны Ивановны бездна хлопотъ и заботъ. «Богъ послалъ», говорила Анна Ивановна: — «надобно за нимъ ходить какъ за своимъ.»

Ребенокъ былъ завернутъ въ поношенное женское платье и укутанъ сверху русскимъ бѣлымъ утиральникомъ; во

рту соска, на шеѣ мѣдный тѣльничекъ, а въ утиральникѣ нашлась записка, писанная какимъ-то полуустановомъ: «проедемъ принять сего младенца, нареченнова Юсифомъ, который очень хорошева роду.»

Этотъ Гомеръ хорошаго рода долго былъ загадкой для добраго булочника, не гораздаго на русскую грамоту; нечеткая записка заставляла подозрѣвать, что тутъ кроется какое-нибудь недоумѣніе, и, только недѣль шесть спустя, нашлся отставной сенатскій писарь, голова дѣловая, который смогъ вывести Ивана Ивановича и всѣхъ друзей, пріятелей и свойственниковъ его изъ отчаяннаго положенія называть крещеннаго человѣка неизвѣстнымъ во всемъ христіанскомъ мірѣ именемъ Гомера и дать мальчишкѣ подлинную кличку его. Все дѣло заключалось въ томъ, что въ запискѣ написано было не Гомеромъ, а Юсифомъ, хотя, правду сказать, мудро было разгадать полуграмотную скоропись, и сенатскій писарь, видно, не даромъ слылъ мастеровъ и докою своего дѣла.

Какъ всякій нежданный и необычайный случай, и этотъ также навелъ на Ивана Ивановича какую-то робость; онъ не зналъ, недоумѣвалъ, къ добру ли это, къ худу ли ухаживалъ понемногу весь вечеръ около найденыша и какъ будто былъ доволенъ поневолѣ; онъ видѣлъ необходимость принять ребенка, воображалъ, что наконецъ сдѣлался отцомъ, можетъ воспитать, образовать ребенка, радоваться дѣтскими забавами и успѣхами его — но въ то же время перечила всему этому мысль, что это чужой, какой-то подкидышъ, что за нимъ будетъ много заботъ и безпокойства,

и Богъ вѣсть что изъ него выйдетъ. Наконецъ Иванъ Ивановичъ утѣшился тѣмъ, что если изъ ребенка выйдетъ негодяй, то по крайней мѣрѣ онъ не сынъ его, не родной. Анна Ивановна не думала ни о чемъ, хлопотала около младенца, доставала изъ обитого бронзой комода старое бѣлье и собиралась тотчасъ же кроить изъ него пеленки. «Изъ поношеннаго лучше», говорила она мужу, который задумался и ничего не слышалъ: — «изъ поношеннаго лучше; это помягче, не такъ сурово, какъ новое.»

Такимъ образомъ герой нашъ увидѣлъ свѣтъ, или, по крайней мѣрѣ, явился на свѣтъ, въ самомъ концѣ Невскаго проспекта и сверхъ того на правой, плебейской сторонѣ его. Съ этой минуты начинается прогулка этого человѣка по одной и той же улицѣ, и много суждено было ему еще испытать, до перехода на правую, аристократическую сторону проспекта, по которой происходило обратное низшествіе его до самаго Невскаго кладбища.

Первый поводъ къ восхожденію было то, что названные родители Юсифа прекраснаго стали подвигаться понемногу все выше и выше по Невскому, по мѣрѣ того, какъ состояніе ихъ улучшалось. Перемѣнивъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, раза три квартиру, Иванъ Ивановичъ пекъ булки и сухари уже на углу Владимірской, когда мальчику минуло восемь лѣтъ. Тутъ происходило важное разсужденіе и совѣщаніе о тѣлесномъ и духовномъ благѣ его и окончилось, во-первыхъ, удостовѣреніемъ доктора, что Оська дѣйствительно и точно долженъ состоять въ близкомъ свойствѣ съ африканскимъ, сирѣчь одnogорбымъ верблюдомъ, съ

верблюдомъ объ одной холкѣ или собственно такъ называемымъ наромъ или дромадеромъ; во-вторыхъ, что ему грамотѣ учиться необходимо, но въ школы анненскую и петропавловскую ходить далеко, а потому и должно принять предложеніе отставнаго сенатскаго писца Косолапова и отдать ему Оську въ науку, съ платою по одному гривенному ситнику и десятку сухарей (большой руки) на день и съ поднесеніемъ ему, Косолапову, въ Пасху по одному куличу, а къ именинамъ его (въ день Андрея Первозваннаго) по одному трехчетвертному кренделю. Въсѣ и мѣра кулича предоставлялись великодушію подносителей.

Итакъ Оська выдался горбунчикомъ; мнѣнія о причинѣ такого тѣлеснаго недостатка, или, правильнѣе избытка, были неодинаковы. Анна Ивановна полагала, что грѣхъ лежитъ на совѣсти Ивана Ивановича, который пощупалъ неосторожно ногою подкинутый на крыльцо тючокъ или свертокъ и, такъ сказать, свернулъ питомцу своему шею при первомъ съ нимъ свиданіи. Иванъ Ивановичъ не соглашался, но не умѣлъ основательно опровергнуть такой поклепъ и прибѣгалъ всегда къ защитѣ доктора, который обвинялъ одно только золотушное расположеніе мальчика и знатное, по всей вѣроятности. происхождение его. Съ этимъ Иванъ Ивановичъ охотно соглашался и показывалъ всѣмъ записку, бывшую при найденныиъ; не умѣя самъ прочитать ее, просилъ онъ другихъ читать вслухъ, и переводилъ ее по-нѣмецки, объясняя, что «очень хорошева роду» значитъ: aus einer sehr guten Familien; — дѣло быточное и вѣроятное; горбъ — это привѣсокъ или недовѣсокъ къ головѣ, къ мозгу,

и если не подлежит сомнѣнію, что мозгъ необходимъ и для людей изъ очень хорошей фамиліи, то нельзя удивляться тому, что мозгъ этотъ, по тѣснотѣ въ головѣ или по случайному наполненію чѣмъ-либо инымъ, не удивительно, говорю, что полное количество мозга, необходимое для человека хорошаго рода, иногда не помѣщается въ тѣсной полости черепа и потому привѣшивается въ видѣ отдѣльной шиш. Докторъ не совсѣмъ соглашался на подобные выводы и заключенія земляка своего и друга; но какъ пиво и табакъ были у Ивана Ивановича превосходны, и доктора, Ивана Карловича, ожидала въ домѣ друга его каждый вечеръ, въ положенный часъ, готовая доска и кости трикъ-тракъ, то онъ и старался, по врожденной уступчивости своей, находить мнѣніе Ивана Ивановича, по крайней мѣрѣ, замысловатымъ, остроумнымъ и правдоподобнымъ.

Іосифъ научился шутя двумъ языкамъ, русскому и нѣмецкому, выучился читать и писать, и Андрей Косолаповъ съѣлъ ситники свои и сухари не даромъ. Оська началъ съ псалтыря и часослова и въ 12 лѣтъ читалъ уже бѣгло по верхамъ всякую церковную и гражданскую грамоту. За дра, тка, пха, — тогдашняго времени достался ему, правда, не одинъ толчокъ, и любимое поощреніе учителя его: «олухъ, орѣховъ надаю, вотъ такъ и пойду стучать табакеркой по головѣ» частенько приводилось въ дѣйствительное исполненіе; но Іосифъ былъ самъ увѣренъ, что русская грамота безъ этого не дается никому, и что одну только нѣмецкую можно преподавать, какъ дѣлала Анна Ивановна, на языкахъ, миндаляхъ и пряникахъ, а потому и нисколько не

удивился, когда за выучку наукъ класть на счеты — что, по понятіямъ Іосифа, также принадлежало къ русской грамотѣ — Косолапову прибавили еще пятокъ сухарей, а учитель набавилъ Оськѣ по стоѣку же лишнихъ долбушекъ въ голову, подѣ особеннымъ названіемъ кокосовъ. Съ этихъ-то поръ кости на счетахъ и кокосы облизались въ умѣ мальчика до такой степени, что онъ и подѣ старость никогда не могъ взять въ руки эти приказныя гусли, не выговоривъ мысленно про себя: кокосы.

Наступило время разсужденія, чѣмъ быть Оськѣ и по какой дорогѣ его пустить. Анна Ивановна очень скорбѣла о томъ, что даровитый питомецъ ея былъ не одинаковаго съ нею исповѣданія и потому никакъ не могъ воспользо-ваться основательнымъ поприщемъ или званіемъ, которое она, по связямъ своимъ, могла бы современемъ ему доставить, а именно: званіе и мѣсто кистера или дьячка въ нѣмецкой церкви. Голосъ, увѣряла Анна Ивановна, былъ у горбунчика рѣзкій и вѣрный, и прихожанамъ было бы пріятно и легко слѣдовать за его напѣвомъ. Докторъ совѣтовалъ отдать мальчика въ науку токарю, потому что всегдашнес движеніе и стоячая жизнь будутъ горбунчику полезны. Но токаръ, также Иванъ Ивановичъ, кумъ или свать нашего булочника, отказался отъ горбунчика, потому что для него-де надо строить особый станокъ, а до станка, устроеннаго для людей обыкновенныхъ, онъ не достанетъ и носомъ. Итакъ Оську отдали къ жестянику, на углу противъ Аничкова моста. Такимъ образомъ восхожденіе этого солнышка продолжалось, и онъ все понемногу по-

двигался по Невскому проспекту выше и выше, и стучалъ, паялъ и заклепывалъ съ большимъ усердіемъ, хотя честный жестяникъ пророчилъ тѣзкъ своему, булочнику Ивану Ивановичу, что Іосифъ во всю жизнь свою не сдѣластъ ни одного геніальнаго кофейника, потому что въ глубинѣ души этого Іосифа не таится тонкое чувство изящнаго, необходимое для всякой клѣпани жестяной работы.

И точно, Гомеръ нашъ, Оська тожь, въ родню былъ толстъ, да не въ родню былъ простъ. Привѣсокъ хребтоваго мозга, столь необходимый, по мнѣнію булочника, для пополненія недостатка мозга головного, не далъ Іосифу той смысленности и остроты, которая нерѣдко бываетъ удѣломъ сутуловатыхъ и горбатыхъ. Іосифъ прекрасный, Осипъ Ивановичъ тожь, былъ мирный гражданинъ этого міра, чуждался всѣхъ отважныхъ соображеній и предпріятій, какъ напримѣръ: добѣжать по Фонтанкѣ до Гороховой, перейти безъ всякой нужды проспектъ и пройти по лѣвой, аристократической сторонѣ его и прочее; нѣтъ, Осипъ Ивановичъ, съ тѣхъ поръ какъ нахальное дышло сбило однажды шляпу съ головы его, а огромный рыдванъ переѣхалъ и колесовалъ его нещадно, съ тѣхъ поръ Осипъ Ивановичъ ходилъ исключительно по тротуару и бульвару (котораго теперь, впрочемъ, давно уже нѣтъ), держался всегда правой руки, давалъ всякому встрѣчному дорогу и никогда не пускался на дрожащую и стенающую подъ тяжестію колесъ мостовую. Если же какой-нибудь неуклюжій лабазникъ, пролагая себѣ путь грудью и плечами, наваливалъ изрѣдка, всюю тяжестію своего хлѣбнаго тѣла, на

Осипа Ивановича, то это было для него опасно только по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, когда его одѣвали въ нѣмецкое суконное платье, которое, какъ извѣстно, пудры и муки не любятъ; по буднямъ же тиковый или нанковый халатъ сносилъ подобный ударъ судьбы безропотно, и Осипъ Ивановичъ вспоминалъ только съ ужасомъ, какъ бы затрещала бѣдная голова его и жалости достойный привѣсокъ, если бы наглая оглобля угодила пониже и не лабазникъ, а тяжелая карета прошла бы поперекъ живота, т. е. сѣдалища и средоточія жизни его.

Нѣсколько разъ уже честный жестяникъ Иванъ Ивановичъ хотѣлъ обратить ученика своего въ первобытное его состояніе къ булочнику Ивану Ивановичу, по недостатку, какъ онъ выражался, смѣлости и самоувѣренности въ размахѣ клепального молотка. «Онъ только накладываетъ латунь и жечь», говорилъ великій мужъ клепани, жестяникъ Иванъ Ивановичъ, «и никакъ не можетъ пріучиться дать ей вольнымъ ударомъ молотка ровный, естественный и пріятный для глазъ погибъ. Вы знаете, любезный кулъ, что кривая линія — душа изящнаго, ломаная линія, напротивъ, обижаетъ глазъ; а у него вездѣ выходятъ углы, шишки и выбоины.» Названный отецъ Осипа угощалъ тезку своего пивомъ и кренделями и просилъ не терять надежду и терпѣніе, а сдѣлать изъ Оськи человѣка. Такъ прошло два года, Оськѣ скоро 15 лѣтъ, и жестяникъ, потерявъ наконецъ всякое терпѣніе и состраданіе, ударилъ ученика своего неудачнымъ жестянымъ рукомоиникомъ, работы ученика, въ голову, и пошелъ самъ объявить тезкѣ своему

и гефатеру о происшедшемъ и просить положительно взять своего питомца и пустить его по другой, болѣе сподручной ему дорогѣ.

«Возьмите его», говорилъ онъ запыхавшись, «возьмите: въ рукѣ его нѣтъ никакого сочувствія къ правильной кривой линіи, и всякая работа его обидна глазу честнаго человѣка. Скажу вамъ еще болѣе: онъ даже при самой простой заклепкѣ не можетъ дать создаваемой подъ молоткомъ головкѣ гвоздя пріятную и необходимую округлость; нѣтъ, онъ плющить его все прямо въ темя, и каждая работа его должна проходить снова чрезъ мои руки. Это невыносимо. Знаете ли, любезный свать, теорія ваша о мозговомъ привѣскѣ на этомъ маломъ, на Осыкѣ, не подтверждается. У него и въ головѣ Богъ знаетъ что такое, что у порядочныхъ людей бываетъ совсѣмъ не въ этой благородной полости; а про горбъ его и говорить нечего, и Анна Ивановна права: это, должно быть, произошло отъ ушиба.»

Иванъ Ивановичъ вздохнулъ и взялъ питомца своего домой; но домъ этотъ — какъ Иванъ Ивановичъ опять подвинулся впередъ — стоялъ около того мѣста, гдѣ нынѣ Александринскій театръ, а Аничковскій дворецъ былъ недавно выстроенъ на засыпанномъ болотѣ и бывшемъ на этомъ мѣстѣ дугообразномъ озерѣ.

«Нечего дѣлать», — сказалъ Иванъ Ивановичъ, подумавъ, женѣ своей Аннѣ Ивановнѣ: — «пустить его по другой дорогѣ. Спрашивалъ я его, добивался, къ чему у него есть охота, — не знаю, говорить, ни къ чему.»

Еще повыше, на той же правой сторонѣ Невскаго, уже недалеко отъ Полицейскаго моста, жилъ въ то время князь Трухинъ-Соломкинъ. Иванъ Ивановичъ ставилъ къ нему въ домъ сухари, булки и крендели и былъ коротко знакомъ съ дворецкимъ князя. Этимъ-то путемъ пристроили Гомера писцомъ въ домовую княжью контору, и горбунчикъ подвинулся еще сажень на сто выше по Невскому проспекту. Чудная судьба этого человѣка: идти исполинскими шагами впередъ, пройти всю длину Невскаго, до краугольного дома одной стороны, и возвратиться вспять по другой, не отшатнувшись никуда, ниже на полпяди въ сторону.

Осипъ Ивановичъ и въ княжескомъ домѣ не зазнавался: былъ попрежнему тихъ и смиренъ, изрѣдка только опаздывалъ къ дѣлу, зазѣвавшись, по всегдашней привычкѣ своей, на улицѣ. Лѣтъ цятнадцать служилъ онъ въ домовой конторѣ князя Трухина-Соломкина, въ послѣдній день какъ въ первый, и не слыхалъ ни худаго слова, ни хорошаго. Въ половинѣ осьмага часа онъ вставалъ, одѣвался, пилъ съ названными родителями свой чай и ѣлъ вволю отборные, румяные сухари; въ половинѣ девятаго бралъ онъ трость и шляпу и отправлялся мѣрнымъ шагомъ вверхъ по проспекту, все по лѣвую сторону его, до княжескаго дома, до Полицейскаго моста; молча входилъ онъ въ контору, молча принимался за переписку разныхъ бумагъ, счетовъ и писемъ и молча кланялся, если старшій конторщикъ или помощникъ его входили; ровно въ полдень ставилъ перо въ большую, круглую чернильницу синяго стекла, отправлялся домой, обѣдалъ, возвращался въ три

часа и, смотря по надобности, сидѣлъ до шести, восьми или и позже; приходилъ домой, ужиналъ картофельный супъ и ложился спать. Онъ переписывалъ все, что ему наваливали на столъ, отъ слова до слова, отъ буквы до буквы, и никогда не ошибался; но, если бы ему дать перебѣлить приговоръ на ссылку его самого въ каторжную работу, онъ бы набралъ и отпечатавъ его четкимъ перомъ своимъ съ тѣмъ же всегдашнимъ хладнокровіемъ, ушелъ бы домой и спокойно легъ бы почивать, не подозрѣвая даже, что ему угрожаетъ. Это былъ секретарь въ полномъ смыслѣ слова, потому что все, что онъ писалъ, оставалось даже для него самого ненарушимымъ секретомъ. Князь записалъ, однако же, писца своего на службу, по канцеляріи нажескаго корпуса, и Осипъ Ивановичъ, проходя ежедневно по нѣскольку разъ мимо гостинаго двора и Садовой, видѣлъ въ сотнѣ шаговъ отъ себя зданіе, въ которомъ числился на службѣ, но ни разу не доходилъ къ нему ближе, чѣмъ вела обычная его дорога. Осипъ Ивановичъ все еще, во всѣхъ походахъ своихъ отъ Аничкова до Полицейскаго моста, держался правой стороны и держалъ правѣе при каждой встрѣчѣ съ прохожими; онъ все еще боялся каретъ, и близкій стукъ колесъ наводилъ на душу его какую-то робость; онъ все еще, въ продолженіе 30 лѣтъ жизни, ни одного раза не садился на дрожки, а и того менѣе въ коляску, не ѣзжалъ отроду на колесахъ—на саняхъ же Осипъ Ивановичъ позволилъ себѣ прокатиться, изъ дому къ должности, въ продолженіе 15 лѣтъ службы своей, не болѣе трехъ разъ. Онъ дотога свыкъся съ улицею родины, жи-

тельства и службы своей, что говорилъ, по рассказамъ и по наслышкѣ, о другихъ частяхъ города, какъ мы толкуемъ иногда о Новой Голландіи. Все, что лежало внѣ проспекта, Осипъ Ивановичъ называлъ заграничнымъ, и если ему случилось пройти за чѣмъ-нибудь въ Гостинномъ дворѣ нѣсколько лавокъ по зеркальной линіи, то онъ записывалъ и отмѣчалъ день этотъ словами: «былъ за границей, купилъ платокъ, подтяжки и проч.» Впрочемъ, и на это пускался Осипъ Ивановичъ очень рѣдко и только по самой необходимости; а большею частію самая даже попытка проникнуть за границу ему не удавалась. Такъ напримѣръ: онъ рѣшился однажды идти за границу шаговъ съ сотню по Фонтанкѣ отъ Аничкова моста, чтобы посмотрѣть на звѣря толена морскаго, котораго тамъ показывали на рыбной баркѣ; но не сдѣлалъ еще и 50 шаговъ, какъ зазѣвался, и водоносъ-дворникъ задѣлъ за него ведромъ или концомъ коромысла, выплеснулъ ему за воротникъ полведра воды, отбилъ и остудилъ всю любознательность его. Въ другой разъ онъ было рѣшился навѣстить пріятеля въ Морской; но при самомъ поворотѣ на улицу глазъ совѣсти его дотого возмутился, что Гомеръ нашъ самъ испугался отваги своей, остановился, призадумался, зазѣвался на этотъ заграничный край — и опомнившись немедленно воротился.

При всемъ томъ, однакоже, Осипъ Ивановичъ крайне любилъ разговаривать о заграничныхъ новостяхъ, т. е. о томъ, что дѣлается у Обухова моста, на Острову, на Моховой; объ этомъ бесѣдовалъ онъ съ большимъ участіемъ

и разспрашивалъ людей бывалыхъ, какъ тамъ живутъ? Онъ любопытствовалъ также узнать о цѣнахъ на различные принасы въ различныхъ частяхъ города, слушалъ съ завистию о дешевизнѣ на Сѣнной, самъ же не бывалъ и ногой даже на Кругломъ рынкѣ, а держался во всемъ мелочной лавочки № 1, бывшей въ томъ же домѣ, гдѣ жилъ онъ самъ. Смерть названнаго отца его и отъѣздъ матери обратно на родину, въ Силезію, поставили было Юсифа прекраснаго на нѣсколько времени въ большое недоумѣніе; вскорѣ однако же онъ привыкъ къ новому положенію своему, которое въ сущности опять-таки способствовало къ производству его на высшее мѣсто. По совѣту и наставленію одного хорошаго пріятеля, онъ нанялъ комнату у портнаго, занимавшаго чердачокъ въ первомъ или второмъ домѣ отъ Дворцовой площади, чѣмъ и заключилъ, такъ сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедши въ 30 лѣтъ всю правую сторону его, отъ монастыря до Дворцовой площади.

Не пеняйте на эту скудную приключеніями, ничтожную первую половину жизни: такъ было; а мы взяли только передать то, что было; показать, въ какомъ тихомъ и безмятежномъ одиночествѣ иногда протекаетъ жизнь человѣка, среди шумной, трескучей и суетной столицы.

Итакъ, часть вторая: житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его, на пути отъ Дворцовой площади обратно до Невскаго монастыря, по лѣвой, аристократической сторонѣ проспекта.

— Что вы не женитесь, Осипъ Ивановичъ? сказалъ ему

однажды задушевный пріятель его и сослуживецъ по княжей конторѣ, что бы вамъ жениться?

Горбунчикъ улыбулся зарумянившись, вздохнулъ, пожалъ плечами и увѣрялъ, что онъ бы и не прочь отъ этого дѣла: да не легко его состряпать, гдѣ найдешь невѣсту?

— На свѣтѣ не безъ добрыхъ людей, пособятъ. Пойдемъ, братъ, сегодня къ теткѣ моей, посоветуемся. А ужъ какую найдемъ тебѣ невѣсту!!

Пріятель, какъ видите, навязавшись въ близкіе повѣренныя Іосифу, сталъ дружески говорить ему *ты*.

— Да кто же за меня пойдетъ?

— Какъ кто? Всякая пойдетъ. Тутъ подошло, братъ, время голодное, жениховъ нѣтъ ни золотника. Двѣнадцатый годъ переморилъ ихъ на голову, а тамъ всѣ за границу ушли, одни мальчишки да старики только и остались.

— Хорошо-съ, да тетка ваша, пожалуй, захочетъ высватать мнѣ заграничную? Я, право, этого боюсь.

— Какую заграничную? Чудакъ ты! Вотъ напимѣръ дочь Семена Ивановича — а?

— Да Семенъ Ивановичъ гдѣ живетъ? вѣдь онъ никакъ въ Фонарномъ переулкѣ?

— Ну, такъ что жъ тебѣ до этого?

— Нѣтъ-съ, подумать страшно. Завяжется этакое заграничное свойство — я вѣдь къ нимъ туда не пойду ни за что; а тутъ станутъ звать да просить...

И вотъ главнѣйшая причина, почему Осипъ Ивановичъ остался холостымъ; на Невскомъ проспектѣ невѣсты для

него какъ-то не случилось, взять заграничную онъ боялся, робѣлъ, въ нерѣшимости время бѣжало своимъ чередомъ — и ушло.

Завязалась было разъ у него любвишка и на проспектъ, и крѣпко было показалась ему дѣвушка, и не сердилась она на недостатокъ или избытокъ Осипа Ивановича, не брезгала горбомъ его и отвѣчала, повидимому, нѣжной страсти, слушала охотно, когда онъ пѣлъ нѣжнымъ голосомъ своимъ: «Жестокую Темиру» или «Звукъ унылый форте-пиано», и все шло, казалось, хорошо, да портной Иванъ Ивановичъ перешелъ съ угла Литейной къ самому Пушечному двору, туда, за Анненскую кирку, и Осипъ Ивановичъ принужденъ былъ проститься съ своею возлюбленною на вѣки. Тяжело и грустно ему, бѣдному, было, и ходилъ онъ съ недѣлю, крѣпко повѣсивъ носъ; потомъ уже помаленьку провѣтрился и успокоился. Тянуться за нею туда — онъ ни за что не рѣшался; сердце ныло, но остывало мгновенно, когда преступная мысль искать счастья на Литейной приходила ему въ голову.

Иногда пугала Осипа Ивановича — которого между тѣмъ произвели уже въ регистраторы — еще одна мысль: что, если его вдругъ потребуютъ на службу въ канцелярію па-жескаго корпуса? Проходя по Невскому отъ Гостиного двора къ библіотекѣ, поперекъ устья Садовой, горбунчикъ нашъ крестился тихомолкомъ при такой мысли; это было бы довольно значительное отклоненіе отъ проспекта, отъ привычнаго и протореннаго пути — волосъ становился дыбомъ отъ такихъ ужасовъ, и Осипъ Ивановичъ вечеромъ

долго не могъ уснуть; въ такихъ случаяхъ и горбъ не давалъ ему спать, и бѣднякъ ворочался съ боку на бокъ до поздней ночи, часу до двѣнадцатаго.

Всѣ новѣйшія перемѣны и украшенія Невскаго проспекта совершились на глазахъ Осипа Ивановича; онъ каждую недѣлю раза два проходилъ, гуляя, во всю длину его и замѣчалъ все, что дѣлалось. Двукратная переворотка бульваровъ, постройка Александринскаго театра и Михайловскаго дворца съ проложеніемъ новой улицы — въ особенности смущали Осипа Ивановича: онъ видѣлъ сперва одно только разрушеніе и съ безпокойствомъ спрашивалъ у работниковъ и мастеровыхъ: не весь ли проспектъ будутъ ломать, и не ошиблись ли они, не лучше ли обождать прибытія архитектора и разспросить хорошенько: точно ли все это пойдетъ въ сломку? Онъ иногда при этомъ постукивалъ тростью въ каменную стѣну и говорилъ: «кажется, еще очень прочно и крѣпко, постояло бы еще безъ всякой опасности.» А если, на примѣръ, сломаютъ весь Невскій проспектъ, куда я тогда дѣнусь и что изъ меня будетъ? Въ такія минуты отчаянья пажескій корпусъ, иногда столько пугавшій Осипа Ивановича, былъ для него отрадною мыслью и надеждой-оплотомъ; должно быть, корпусъ уцѣлѣетъ, а это все-таки, улица близкая, сосѣдняя, знакомая. Предшествовавшее этимъ работамъ сооруженіе дома генеральнаго штаба и свода въ Малой Миліонной, также привлекало все любопытство Іосифа прекраснаго; онъ даже рѣшился однажды взглянуть на оконченное зданіе, пройти по Малой Миліонной, въ ворота, на самую площадь; но, выглянувши

изъ-подъ огромнаго, великолѣпнаго свода на одну пѣз обширѣйшихъ въ мірѣ городскихъ площадей, онъ оробѣлъ: ему сдѣлалось какъ-то душно и страшно, имъ овладѣла тоска по родинѣ, сердце сжалось, и онъ поспѣшно отступилъ и воротился по Малой Милліонной на проспектъ. Тутъ онъ перевелъ духъ и свободно оглянулся.

«Какъ же вы, Осипъ Ивановичъ, живете 39 лѣтъ въ Питерѣ и не видали Невы, не видали ни одного ялота, ни судна, за исключеніемъ барокъ на Мойкѣ и Фонтанкѣ? Взгляните хоть на новый Исаакіевскій мостъ, съ чугунными надолбами и фонарными столбами.»

Осипъ Ивановичъ вздохнулъ и долго не рѣшался; нужно было напередъ доказать ему, что Исаакіевская площадь, обще съ Адмиралтейской и Дворцовой, составляютъ въ сущности продолженіе и принадлежность Невского проспекта; нужно было еще много убѣдительныхъ просьбъ и приглашеній, а потомъ наконецъ — нужно было взять его вдвоемъ подъ руки и тащить за собою насильно.

Поровнявшись съ памятникомъ Петра Великаго, Осипъ Ивановичъ остановился: изумленіе растянуло лицо его въ длину, и онъ невольно снялъ шляпу. Но едва погрузился онъ въ созерцательное забытѣе, т. е. по всегдашней привычкѣ своей зазѣвался, какъ карета четверней, которая везла какого-то большаго барина, вѣроятно къ весьма поспѣшному обѣду, накатила на Юсифа со страшнымъ стукомъ и молніеобразною быстротою. Гомеру казалось, что онъ лежитъ уже подъ колесницей, и всѣми силами рукъ и ногъ своихъ онъ упирался и сопротивлялся всеокру-

шительнымъ ударамъ колесъ; тщетная борьба длилась одно только мгновеніе, и Іосифъ очнулся на жесткой мостовой, куда метнула его мощная рука пріятеля, спасая отъ топтанія лошадьми и колесованія рыдваномъ. Съ нимъ-то, съ пріятелемъ своимъ, Осипъ Ивановичъ боролся усиленно, обезумѣвъ въ испугъ и принявъ спасительную десницу пріятеля своего за роковую спицу цѣпляющаго за него колесá.

Этимъ могли бы окончиться на сей разъ всѣ бѣдствія Осипа Ивановича, если бы предупредительная судьба не опредѣлила ему еще другаго рода испытанія или наказанія за дерзкое и своевольное уклоненіе отъ столбоваго пути жизни, отъ Невскаго проспекта. Въ то время нерѣдко случалось, что шалуны отвертывали позолоченныя верхушки копій отъ ограды памятника; надзоръ за этимъ поручался сенатскому караулу. Осипъ Ивановичъ, съ испугу отъ наѣхавшей кареты, ухватился за прутья рѣшетки и вскочилъ на каменное основаніе ея; часовому показался прыжокъ этотъ издали подозрительнымъ, онъ закричалъ ефрейтора, и Іосифа ни съ того ни съ сего взяли было на гауптвахту. Испугъ и страхъ его превосходили всякое описаніе. Къ счастью, товарищи его, менѣе робкіе, не покинули бѣдняка въ этомъ отчаянномъ положеніи и наконецъ выручили его убѣдительнымъ представленіемъ и объясненіемъ дѣла.

Разсудительный безъ всякихъ дальнѣйшихъ поясненій угадаетъ, что Осипъ Ивановичъ, освободившись такимъ образомъ отъ грозившей ему двоякой опасности, попра-

вилъ заплечный привѣсокъ свой и стремительнымъ шагомъ ударился обратно во свояси, не выдавъ ни Невы, ни моста, ни яботовъ; что одно только воспоминаніе о памятникѣ Петра Великаго заставляло его, на улицѣ, снимать со страхомъ шляпу, а у себя въ домѣ оглядываться во всѣ стороны, не угрожаетъ ли опять откуда-нибудь бѣдствие и гибель.

Не удаляясь съ Невскаго, Осипъ Ивановичъ одаренъ былъ отъ природы необыкновенною способностію находить подъ руками все, въ чемъ онъ нуждался. Дивные рассказы пріятелей объ удобствахъ и дешевизнѣ на Щукиномъ и Апраксиномъ дворахъ прельщали его, но не обольщали; онъ умѣлъ отыскивать и на самомъ Невскомъ проспектѣ мастеровыхъ, которые одѣвали, обували и снаряжали его въ люди не дороже, если еще не дешевле Щукина двора. Онъ доходилъ до нихъ по особымъ связямъ и знакомствамъ и отыскивалъ ихъ преимущественно между дворниками, подмастерьями и господскими людьми. Къ ремесленнику подъ вывѣской — Осипъ Ивановичъ не заглядывалъ никогда.

Когда подошло замѣчательное время, памятное для всего Петербурга, для Россіи, для цѣлой Европы — 1812 годъ — то Осипъ Ивановичъ такъ же, какъ многіе другіе, опасался нашествія французовъ на Питеръ, складывалъ и собиралъ въ кучу всѣ драгоцѣнности свои, все, съ чѣмъ онъ не хотѣлъ разстаться, и готовился, въ случаѣ крайности, искать спасенія въ Выборгъ или Гельсингфорсъ. Мысль эта, мысль покинуть Невскій проспектъ и даже самый Питеръ, была для Осипа Ивановича убійственна, схватывала его за

горло какъ удушье, — но, таково было въ то время общее расположеніе умовъ или, вѣрнѣе и правильнѣе сказать, общаго чувства, что даже такому человѣку, каковъ былъ Осипъ Ивановичъ нашъ, не могло придти на умъ остаться спокойно въ столицѣ; при нашествіи врага бѣжать, отступить, покинувъ и здѣсь, какъ въ первопрестольномъ градѣ, однѣ стѣны и кровли, — казалось всякому необходимою, святымъ долгомъ. Никому и никогда на умъ не приходило, чтобы можно было, какъ дѣлали въ свое время почти всѣ столицы Европы, — отдаться спокойно въ руки иноплеменнаго врага и считать его главою роднаго царства. И Осипъ Ивановичъ судилъ и рядилъ съ другими, въ тѣсномъ кругу своемъ, только о томъ, куда перенесетъ царь столицу свою, гдѣ будетъ средоточіе правительства, гдѣ присутственныя мѣста и проч. Последнее тѣмъ болѣе озабочивало Гомера, что онъ служилъ теперь въ губернскомъ правленіи. Долго онъ не рѣшался на сомнительную службу эту — сомнительную для него потому, что правленіе было и тогда, какъ теперь, за угломъ Невскаго проспекта, на Адмиралтейской площади; Гомеру страшно было пуститься на такую граничную службу, почти въ виду памятника Петру I-му и сенатской гауптвахты. Опознавъ съ пріятелями своими во всей подробности мѣстоположеніе будущаго поприща своего, онъ крайне обрадовался, когда убѣдился на дѣлѣ, что оно составляетъ небольшое продолженіе Невскаго и, слѣдовательно, по всей справедливости можетъ быть причислено ко внутреннимъ губерніямъ Имперіи. Осипъ Ивановичъ шелъ сначала отъ угла Невскаго съ оглядкой,

посматривая, на сколько онъ удалился отъ родины своей; наконецъ, махнувъ рукой, согласился, и его приняли охотно, потому-что онъ писалъ чистенько.

Осипъ Ивановичъ участвовалъ также душою и сердцемъ въ славѣ русскаго мужества и доблести, при возвращеніи гвардіи изъ-за границы; никто, конечно, не встрѣтилъ здѣсь гвардію нашу съ такимъ страхомъ удивленія и глобокаго, безпредѣльнаго уваженія, какъ Осипъ Ивановичъ; каждый солдатъ былъ, въ глазахъ его, богатырь баснословный, и одно воспоминаніе о далекихъ, пройденныхъ имъ странахъ поселяло въ Гомерѣ нашемъ священный ужасъ изумленія. Онъ качался, стоя на ногахъ, голова у него кружилась, когда онъ разсматривалъ этихъ сподвижниковъ славы.

Жизнь Осипа Ивановича текла такъ мирно и тихо и однообразно, что онъ оглянуться не успѣлъ, какъ дожилъ и до наводненія 1824-го года. Послѣ этого страшнаго переворота, у него осталась, отъ сильнаго душевнаго потрясенія, погробъ свой, привычка вздыхать по-временамъ тяжело и приговаривать, покачавъ головой кстати и некстати: «суета суесть и всяческая суета; все тлѣнно, все бренно; нигдѣ и никогда жизнь наша не бываетъ въ безопасности, и умереть когда-нибудь да надо.» Съ этого бѣдственнаго дня, Осипъ Ивановичъ сталъ невольно и часто размышлять и разсуждать о смерти, о послѣднемъ часѣ своемъ и даже о свѣтопреставленіи. Осипъ Ивановичъ просидѣлъ, во время наводненія, преспокойно у себя дома въ комнаткѣ, которую нанималъ у ремесленника, на заднемъ дворѣ, гдѣ платилъ

со столомъ 35 р. въ мѣсяцъ; но страхъ былъ великъ. Осипъ Ивановичъ дѣлалъ разныя предположенія, когда вода покрывала весь дворъ на цѣлую сажень, предположенія о томъ, что должно или можетъ послѣдовать, если Богъ попуститъ ей прибывать еще цѣлую недѣлю; онъ совѣтовался съ хозяиномъ своимъ, такимъ же храбрымъ человѣкомъ, объ отступленіи свыше предѣловъ общаго ихъ владѣнія, за черту жилыхъ покоевъ, на чердакъ; хватался за подоконники, за толстую каменную стѣну и пытался встряхнуть или покачнуть ее, чтобы, глядя въ окно на воду, убѣдиться, крѣпко ли на ногахъ стоитъ каменный домъ и не снесетъ ли его, чего добраго, водой? Случай этотъ, наводненіе, былъ такъ новъ и неожиданъ для Осипа Ивановича, что онъ не могъ еще долго опомниться и образумиться, когда вода давно уже сбыла и весь Петербургъ начиналъ уже вступать въ привычную колею своей обиходной жизни. Осипъ Ивановичъ съ любознательнымъ страхомъ разспрашивалъ: какія же будутъ приняты впередъ отъ подобныхъ неблагонамѣренныхъ покушеній мокрой стихіи мѣры? Останется ли Питеръ на томъ же мѣстѣ или, какъ уже значительная часть Невскаго проспекта неоднократно была сломана, не вздумаютъ ли перенести Петербургъ въ Москву, которая, какъ слышно, лежитъ выше? И тутъ Гомеръ какъ будто уже не боялся этого перемѣщенія, а старался поощрять къ тому будочниковъ и городовыхъ, задобривая ихъ въ пріятельской бесѣдѣ. Осипъ Ивановичъ полагалъ, что дѣло зависить частію отъ этого начальства. Осипъ Ивановичъ не видѣлъ причины, почему бы навод-

ненію не быть каждый день, коли уже опытъ доказалъ что оно быть можетъ; и въ этомъ случаѣ не видѣлъ возможности оставаться и жить въ Петербургѣ, «развѣ», прибавлялъ онъ «развѣ гдѣ-нибудь на Литейной, куда вода, какъ слышно, не дошла; но вѣдь это уже не Петербургъ, тамъ есть свои жители, а тутъ свои, все равно какъ живутъ люди въ Царь-градѣ и въ Америкѣ.» Въ день наводненія, Осипъ Ивановичъ не былъ въ губернскомъ правленіи, хотя это былъ день не праздничный; въ теченіе слѣдующаго трехъ десятковъ лѣтъ, одинъ только этотъ день Осипъ Ивановичъ не былъ въ должности.

Такъ событія за событіями неслись мимо Осипа Ивановича и, не смотря на силу впечатлѣній своихъ, едва касались его краемъ полы, не производя, въ однообразной жизни его никакого переворота. Осипъ Ивановичъ, который только съ тѣхъ поръ, какъ утратилъ названныхъ родителей своихъ, и сталъ жить вполнѣ на своихъ харчахъ, нашелъ, по изобрѣтательности несытаго желудка, путь и способъ прибавить къ посильнымъ доходамъ еще небольшой доходецъ отъ рукъ своихъ, отъ рукодѣлья. Казенное содержаніе его никогда не простиралось далѣе сотенъ, и Осипъ Ивановичъ клалъ тысячи рублей только на счетахъ, но не видалъ ихъ никогда въ глаза, какіе они живутъ на свѣтѣ; поэтому онъ, кромѣ того что велъ для забавы дневникъ, собиралъ тщательно всѣ записочки на хорошую ваксу, чернила, на порошки выводить пятна, клоповъ и прочее, — работалъ также на досугѣ разныя бумажныя клеенныя издѣлья и сбывалъ ихъ съ рукъ, хоть дешево, да за на-

личные деньги. Какъ только нужда прижметъ его, такъ онъ посидитъ одну ночь, наклеить пилюльных коробочекъ сотни двѣ, снесетъ ихъ ранехонько въ аптеку у Аничкина моста — и красенькая въ карманѣ; а не то, состроптъ кухоньку съ очагомъ, плитой и русской печью, поставитъ кухарку, дворника-дровосѣка и дѣвку-чернавку, раскраситъ все это, покроетъ лакомъ, яичнымъ бѣлкомъ, проведетъ прехитро отъ рукъ и ногъ проволоки къ рычажку, который движется позади кухни, снесетъ въ игрушечныя лавки или магазины и получить цѣлковый, или ужъ на худой конецъ полтинникъ, за одну такую штуку. На аптеку у Аничкина моста и на игрушечныя лавки Осипъ Ивановичъ работалъ постоянно, и находилъ время и средства зарабатывать по крайней мѣрѣ столько же, сколько онъ получалъ жалованья.

Приближаемся къ самому достопамятному событію въ жизни Осипа Ивановича: ему случилось быть на Петербургской сторонѣ, разъ въ жизни случилось быть за-границей, даже по ту сторону Невы — но его свезли туда ночью и ночью опять обратили; онъ ничего не видалъ и говорилъ объ этомъ событіи, какъ о приключеніи изъ «Тысячи одной ночи». Но пусть намъ Осипъ Ивановичъ самъ расскажетъ случай этотъ подробно и обстоятельно: мы уже говорили, что герой нашъ велъ дневникъ, записывалъ постоянно все, что только разнообразило тихомирную жизнь его — выпишемъ нѣсколько страничекъ изъ дневника этого, чтобы познакомиться ближе съ замѣчательнымъ пріемышемъ булочника Ивана Ивановича и Анны Ивановны.

7 Января. Слякоть страшная, коею будучи застигнутъ, принужденъ вооружиться калошами и зонтикомъ. Конечно, жаль калошъ, но и сапоги поберегать надобно. Подклеилъ одну пару, для сухаго времени — ничего не замѣтно. Перевязалъ на зонтикъ одинъ прутъ проволокой желѣзной, пережженной — сталъ отчего-то колоться. Въ правленіи сказали, что приказано впередъ держать, въ каждой части, катера или ялботы, для спасенія жителей, вслучаѣ (чего Боже упаси) наводненія. Конечно, такъ; да много ли усядется, по нечаянности, на одинъ ялботъ? Очень опасно жить въ Петербургѣ. Суета суетъ и всяческая суета; когда нибудь умереть надо. Да, этого нельзя мновать. Эту истину я слышалъ отъ одного пьянаго, котораго городской везъ на дрожкахъ; мужикъ лежалъ навзничъ, поперекъ дрожекъ, глядѣлъ на небо и, указавъ туда же пальцемъ, сказалъ съ чувствомъ: «служивый — а служивый! все тамъ будемъ!!»

8 Января. — Праздникъ; не былъ въ правленіи, клеилъ коробочки; не забыть бы выпросить завтра у архивариуса черновой бумаги, вся вышла. Сварилъ сандалу на цвѣтную бумагу. Сегодня морозъ и колотъ; стукъ отъ каретъ страшный: все думается, не скачутъ ли пожарные. Конечно, вода въ столицѣ нашей очень опасна; но страшнѣе, какъ подумаешь хорошенько, и огонь; а упаси Боже — сверху огонь, а снизу вода.... да, когда-нибудь смерти не миновать.

9 Января. Завалили перепиской, до четвертаго часу не вставалъ со стула, даже, съ позволенія сказать, потъ прошибъ и носу утереть некогда было. Что дѣлать, надо

служить. Козьма Ивановичъ ошибся въ чемъ-то, совралъ, да такъ подалъ Терентію Семеновичу; а Терентій Семеновичъ и спросили: «развѣ вы по-русски не знаете, не понимаете, что пишете: какъ же можно нагородить такую безсмыслицу?» Терентію Ивановичу хорошо такъ отважно говорить, его перебѣлять не заставляютъ; онъ уже за сочинительскимъ столомъ сидитъ, такъ ему конечно ужъ приходится понимать, что пишетъ; а нашему брату развѣ есть когда заниматься пустяками, любопытствовать и разбирать бумаги, что написано? этакъ, за разборомъ, и ничего не напишешь. Столько лѣтъ служба въ этомъ званіи, да если у кого достанетъ смѣлости день-деньской, съ утра до ночи, входить въ такія подробности и обременять память свою,—можно съ ума сойти. Только надобно, конечно, разбирать повѣрнѣ глазами и писать, рукѣ воли не давай, что написано, а не что въ голову придетъ. — Получилъ отъ Егора Степановича отличный рецептъ на зеленые чернила и загадочку: запишу.

Зеленые чернила. Взять яри-мѣдянки и виннаго камня на вѣсъ поровну, истолочь мелко, положить въ полированную или стеклянную посудку, налить уксусу ренскаго, вѣсомъ столько же, какъ и яри, грѣть понемногу дня два, три или болѣе, встряхивая; когда образуется сверху пріятнаго цвѣта зеленая жидкость, слить ее и подбавить камеди аравійской.

Загадка. Что выше лошади, а ниже собаки? *Отвѣтъ:* сѣдло: оное выше лошади, когда лежитъ на ней, а ниже собаки, буде лежитъ на землѣ.

Завтра непременно постараюсь сочинить загадку; это пріятная забава, и загадаю Егору Степановичу.

11-го января. Все морозъ; и вчера тоже былъ морозъ; въ правленіи ничего особеннаго не случилось, кромѣ того, что сторожъ Яковъ пришелъ хмѣльной и хотѣлъ повѣсить шинель совѣтника да задѣлъ обшлагомъ за гвоздь вѣшалки и, такъ сказать, самъ себя повѣсилъ, не могъ никакъ распутать обшлага и стоялъ, воздвѣвъ руки кверху, согбѣвъ и покачивался, такъ что всѣ сошлись въ переднюю смотрѣть на него, и много смѣялись. Орфей Ивановичъ приказали однакоже Степану распутать его, снять съ гвоздя и положить спать на лавку, въ служительской казармѣ; дураку Якову показалось, съ пьяныхъ глазъ, что Степанъ держитъ руку его, и онъ, размахнувшись другою, ударилъ его въ затылокъ. Однакоже его сняли съ вѣшалки и увели; велѣно завтра выскѣчь.

Вчера я не записалъ ничего; аптекарь просилъ поторопиться принести коробочекъ пилюльных, подъ золотой бумагой; она 40 коп. листъ, а выходитъ только сорокъ во семь кружковъ — 6 по листу, да 8 поперекъ; а лапшу эту, обрѣзки, почти некуда дѣвать, не выкроишь ничего. Напрасно; что за щегольство?

Загадки я однакожъ не сложилъ; хотѣлъ-было загадать веретено, да не приберешь, какъ его тамъ замаскировать. Простая вещь, а вѣдь тоже надобно взяться за нее по причынкѣ.

12-го января. Рѣшилъ не брать вовсе сухарей, ни въ лавкѣ, ни у булочника; прошло золотое время, когда ѣлъ

ихъ на выборъ, вволю. О, добрые родители мои! нѣтъ васъ, буду брать вѣсовой бѣлый хлѣбъ, по 11 копеекъ фунтъ.

14-ю января. Вчера приключеніе было необыкновенное, даже перебой подъ сердцемъ еще чувствую, и давить подъ ложечкой. Господи Боже мой, какъ тяжело на свѣтѣ жить! И какіе есть люди, наподобіе звѣрей хищныхъ, не помышляющіе о погибели собратій своихъ! 13-е января для меня черный день; справился по дневнику моему, и сряду 3 года, въ этотъ день, сокрушаетъ меня бѣдствіе. Третьяго года собака изорвала шинель — это такъ и записано; прошлаго года ночью, по темнотѣ, глотнулъ ошибкою изъ бутылки чернилъ вмѣсто кислыхъ шей, и прескверныхъ, видно съ купоросомъ. Нынче — даже страшно и непріятно писать, что случилось; однакоже написать, для порядку, должно; буду казнить, глядя на такія страсти. Да, не миновать намъ смерти, никому.

Зашелъ я вечеромъ къ Егору Федоровичу, — давно уже просилъ и приглашалъ. Было темно, какъ обыкновенно уже съ пятого часу, но Егоръ Федоровичъ нынѣ житель не заграничный, хоть и не близко отъ насъ: подъ Каретнымъ рядомъ. Тамъ провели время пріятно, все больше на гитарѣ играли и пѣли разныя пѣсни, на хорошіе голоса. Какъ общество было только холостое, то меня и просили спѣть чувствительную пѣсню: «Чѣмъ я тебя огорчила»; не успѣлъ я покончить всѣхъ куплетовъ, какъ вошли къ Егору Федоровичу два актера изъ подставныхъ, однакожъ очень, какъ говорилъ Егоръ Федоровичъ, извѣстные и ста-

рые пріатели его, и звали съ собою прокатиться, такъ какъ они ѣхали въ казенномъ возкѣ по домамъ, а напередъ хотѣли еще покататься съ пріателемъ. «Хорошо,» говоритъ Егоръ Ѳедоровичъ, «вотъ кстапи и завеземъ Осипа Ивановича домой, онъ живетъ у Полицейскаго моста»; и представилъ меня господамъ актерамъ, и мы, какъ слѣдуетъ, вѣжливо раскланялись и сказали, какъ обыкновенно, что рады имѣть честь познакомиться лично. Я было не рѣшался ѣхать съ ними, но Егоръ Ѳедоровичъ меня убѣдилъ и общалъ прямо подвезти къ Полицейскому мосту. Входимъ въ возокъ, т. е. въ карету, а тамъ сидитъ человѣкъ шесть и какія-то женщины или можетъ быть дамы; и какъ старые знакомые, всѣ эти господа и госпожи съ большимъ хохотомъ приняли Егора Ѳедоровича, и говорили, что изготавили ему этотъ сюрпризъ. Егоръ Ѳедоровичъ и самъ сталъ кричать съ ними, шумѣть и шутить и смѣяться; закричали «пошелъ», и подняли такую возню въ возкѣ, что меня впотымахъ и забыли, и забыли сказать, чтобы остановиться у Полицейскаго моста; а я сижу спокойно, прижавшись въ уголъ, и жду все, скоро ли пріѣдемъ. Между тѣмъ оказалось, что нѣкоторые изъ господъ актеровъ были подгулявши, и послѣ радостей и смѣховъ у нихъ вышла какая-то общая ссора, и подняли такой содомъ, что я бѣ радъ былъ въ окно выскочить — но боялся сломить шею; лошади бѣгутъ, а я, какъ человѣкъ къ ѣздѣ непривычный, боялся убиться. Двери были только однѣ, да и тѣ съ задняго крыльца, куда мнѣ и не было возможности пробраться. Такимъ образомъ вышла у нихъ ссора и о томъ, куда

ѣхать напередъ; тотъ кричалъ туда, тотъ — туда, тотъ — туда, тотъ зоветъ всѣхъ вмѣстѣ на край свѣта — и одинъ какой-то, наконецъ-таки, осилилъ и перекричалъ всѣхъ и велѣлъ ѣхать — куда бы вы думали? на Петербургскую сторону! Я все сидѣлъ въ страхѣ и молчалъ, между тѣмъ какъ всѣ они кричали взапуски, и дамы и кавалеры; но когда рѣшено было ѣхать въ такую заграничную сторону, то сердце мое замерло, я присоединился къ недовольнымъ и сталъ просить убѣдительно высадить по крайности меня къ Полицейскому мосту; просилъ, молилъ — никто меня и не слышитъ, не слушаетъ, не отвѣчаетъ; всякій кричить свое и всѣ горячятся, а меня и не слушаютъ. Наконецъ сосѣдъ мой, который сперва спорилъ, а потомъ замолчалъ и завалился, сложивъ руки, въ самый задъ кареты, толкнулъ меня очень невѣжливо локтемъ, сказавъ: «Сидите вы тутъ, и безъ васъ тошно; какой Полицейскій мостъ, когда мы уже въѣзжаемъ на Воскресенскій.» Я ужаснулся и едва не обомлѣлъ; глухой стукъ и гулъ по деревянному мосту точно раздавался уже отъ нашей кареты и другихъ экипажей; — къ счастью, было очень темно, я не видалъ ни моста, ни воды, а жмурился въ ужасъ, когда свѣтъ фонаря падалъ въ окно кареты... Я замолчалъ и горько себѣ заплакалъ. Наконецъ, подѣхали къ какому-то низенькому дому, вышли всѣ съ тѣмъ же крикомъ и шумомъ — я не успѣлъ оглянуться, куда они всѣ дѣвались, и Егоръ Ѳедоровичъ также, Богъ ему прости кровную обиду эту — а меня покинули. И страшно одному на чужбинѣ, и еще въ темную ночь... Кучеръ также былъ очень

недоволенъ этой потѣздкой, кричалъ и бранился съ господами актерами, которые выскочили и ушли, не затворивъ даже дверецъ возка; кучеръ слѣзъ съ козелъ и обошелъ кругомъ — потому что дверцы эти отворялись тамъ, гдѣ у другихъ каретъ бываютъ запятки — и увидалъ меня въ возкѣ и, видно, призналъ за чужаго; онъ сталъ гнать меня вонъ немилосердно, не хотѣлъ и слышать увѣреній моихъ, что меня обѣщали подвести къ Полицейскому мосту; «наймите, говоритъ, себѣ извозчика». Страшная это была для меня минута! Одинъ на бѣломъ свѣтѣ, на чужой, далекой сторонѣ, всѣ откинулись отъ меня, и даже кучеръ гонить, хочетъ покинуть на гибель! Я обѣщаль ему полтинникъ, который вчера получилъ отъ аптекаря — къ счастью, со мною больше денегъ не было, я бы ему отдалъ всѣ; онъ умилился и привезъ меня домой. О, какъ я горячо молился, кинувшись на колѣни, когда пришелъ въ родную комнату свою, — со слезами и со вздохами! Я былъ очень боленъ и насилу дотащился сегодня въ правленіе; отъ жестокой качки въ возкѣ меня тошнило; отъ крика и шума голова кружилась, а со страху помутило на душѣ и потемнѣло въ глазахъ. Нѣтъ, клятву далъ, ни за какія блага не поддаваться впередъ убѣжденію людей, для коихъ жизнь человѣка нипочемъ; мужикъ сказалъ правду: всѣ тамъ будемъ и смерти не миновать; но противно Божескому Промыслу идти на гибель добровольно, или по благонамѣренности другихъ. Вотъ какія непредвидимыя опасности грозятъ человѣку, кромѣ огня и воды, и какъ надобно остерегаться людей. Нѣтъ, никто не минуетъ участи

своей, и всѣмъ намъ умереть должно. На что же человѣкъ родится?

Не забыть: узнать завтра въ правленіи у кого-нибудь, какой такой есть иванъ-чай, дешевый и съ хорошимъ настоемъ, и гдѣ его можно получить? *Во-вторыхъ:* какой органъ явился у Палкина въ трактирѣ, играетъ разныя штуки, говорить, и можно ли его послушать даромъ?

Кончимъ этимъ, на первый случай, выписку изъ дневника Осипа Ивановича и скажемъ только, что весь дневникъ его былъ похожъ на приложенный образецъ; но включеній, подобныхъ 13-му января, не было и нѣтъ у него; это случай необычайный и самый необыкновенный во всю жизнь Осипа Ивановича. Ненависть его къ возкамъ и каретамъ возросла съ этого времени до высшей степени, и никакое убѣжденіе, никакіе доводы и причины не могли его понудить, во всѣ остальные два десятка лѣтъ жизни, поставить ногу на приступокъ какого-нибудь экипажа.

Восхожденіе Осипа Ивановича, на правой сторонѣ Невского проспекта, представляетъ намъ восходъ свѣтила — ростъ и мужалость нашего героя — тутъ слѣдуетъ, по общимъ законамъ природы, временное стояніе на одной и той же точкѣ и, наконецъ, нисхожденіе по лѣвой сторонѣ того же пространства, закатъ. Дни его клонятся исподволь къ концу, любимой истинѣ его должно сбыться, и хмѣльной мудрецъ, лежавшій навзничъ поперекъ дрожекъ, сказалъ большую истину.

Судьба заставляла Осипа Ивановича перемѣнять обита-

лице свое нѣсколько разъ и, перешедши однажды на лѣвую сторону проспекта, подвигаться исподволь дальше и дальше. Жизнь его оставалась та же; но онъ, по службѣ, перешелъ въ думу и по этому поводу отыскалъ себѣ комнату на углу Караванной. Здѣсь пришла ему было опять охота жениться и пожить семьяниномъ; но судьба явно противоборствовала этому счастью и подсылала ему невѣсть несподручныхъ. Юсифъ и самъ испугался, когда его привели было на смотрины, въ сосѣдній цвѣточный магазинъ, гдѣ работала какая-то дѣвушка, согласившаяся напередъ и за глаза на союзъ сердецъ съ горбатымъ и немолодымъ чиновникомъ. «Какая она мнѣ ровня,» сказалъ вздохнувши Юсифъ, и, не смотря на всѣ убѣжденія услужливыхъ людей, у него достало-таки ума рѣшительно отъ этого союза отказаться. Онъ справлялся даже и въ аптекѣ, куда столько лѣтъ ставилъ коробочки, нѣтъ ли гдѣ, по близости, необходимой для него половины; но всѣ исканія и старанія его остались безуспѣшны: его только раза два одурачили и этимъ вовсе отбили охоту пускаться на такіе сомнительные поиски.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ — и судьба привела Осипу Ивановичу служить въ канцеляріи педагогическаго института, за Аничкинымъ мостомъ, на лѣвой сторонѣ. Не думайте, чтобъ онъ былъ сдѣланъ здѣсь правителемъ канцеляріи — нѣтъ, волосъ на головѣ его давно уже перешеголялъ, серебристымъ отливомъ своимъ, самый дорогой бобръ; Юсифъ восходилъ также, мало-по-малу, лѣстницу чиновъ и былъ уже титулярный, но занятія его оставались

все одни и тѣ же, и за сочинительскимъ столомъ ему сидѣть не удавалось. Опытная, привычная рука чертила условные знаки, какъ деревянный телеграфъ шевелить безсознательно руками и ногами; онъ передаетъ тѣмъ, у кого есть ключъ этой грамоты, все, что угодно, а самъ ничего не знаетъ, не вѣдаетъ.

Въ этой нравственной и умственной непорочности засталъ Осипа Ивановича 56-й годъ жизни его, считая по именинамъ, потому что дня рожденія его никто не зналъ. 4-е апрѣля — это, какъ вы знаете, весна, гдѣ все такъ свѣжо и дѣвственно, все благоухаетъ, наземъ, наросшій по улицамъ въ теченіе полугода, распускается, киснетъ и катитъ незатѣйливыя волны свои, подъ метлами дворниковъ, по великолѣпнымъ улицамъ столицы — когда небо бываетъ подернуто мечтательною пеленою, ниспосылающею, раза по три въ день, благодать свою на землю нашу въ крупныхъ и мелкихъ капляхъ; когда птички такъ радостно поютъ на Шукиномъ дворѣ, и свѣжая зелень — въ зеленныхъ лавкахъ и на кусочкахъ дерна, привозимыхъ въ продажу для плѣтныхъ въ столицѣ жаворонковъ — услаждаетъ зрѣніе и обоняніе наше. Итакъ, 4-го апрѣля Осипъ Ивановичъ отпраздновалъ свои именины, и въ этотъ день, не смотря на всеобщую веселость пяти или шести собесѣдниковъ, вздыхалъ чаще прежняго, говорилъ о суетности мірской, о наводненіяхъ, пожарахъ и наконецъ о естественной смерти человека, которой нельзя миновать. Мудрецъ, лежащій поперекъ дрожекъ, съ разметанной по вѣтру бородой, какъ пишутъ короля Лира, пришелъ опять на память нашему Гомеру, и


слова: «всѣ тамъ будемъ» звучали въ ушахъ его какъ великая, глубокая истина. Осипъ Ивановичъ расчувствовался, простился около полуночи трогательно съ товарищами своими, объявилъ имъ, что они, вѣроятно, въ послѣдній разъ отпраздновали съ нимъ этотъ замѣчательный день, потомъ усердно и со слезами помолился и легъ спать.

Давненько уже Осипъ Ивановичъ началъ хлѣтѣ и до времени одрахлаѣлъ. Одышка брала его все чаще и чаще, грудь залегала, и пилюли пріятеля его, аптекаря, очищая порядочно желудокъ, не приносили груди никакой помощи. Осипъ Ивановичъ разсудилъ весьма основательно, что это иначе и быть не могло: всякое снадобье идетъ въ желудокъ, спровадить его въ легкія нельзя, какую же тамъ отъ него ожидать помощь?

Прошло недѣли три, и Осипъ Ивановичъ сталъ ходить въ канцелярію рѣже, чего съ нимъ доселѣ никогда не случилось; а вскорѣ стулъ его оставался и вовсе незанятымъ. Привычка слышать ежедневно о какомъ-нибудь изъ знакомыхъ, что онъ нездоровъ, была причиною тому, что на бѣднаго больного нашего обратили вниманіе, когда онъ лежалъ уже безъ памяти. Утромъ, въ первыхъ числахъ мая, дворникъ, прислуживавшій Осипу Ивановичу, прибѣжалъ сказать сослуживцамъ его, что онъ скончался.

Вѣсть эту, какъ обыкновенно, встрѣтили недоувѣрчивымъ «неужели», но, пришедши на мѣсто происшествія, поневолю убѣдились въ смерти Осипа Ивановича. Кто былъ его отецъ, мать? Гдѣ братья, сестры, родные? Нищета ли

принесла его на порогъ Анны Ивановны или преступная любовь? Всего этого ни въ дневникѣ, ни въ духовной Осипа Ивановича не было написано, тайна никѣмъ не разоблачилась. Она умерла вмѣстѣ съ нашимъ героемъ.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИКЪ.



На дворѣ погода какая-то средняя, то-есть люди заѣзжіе полагаютъ, что она дурна; коренные жители находятъ, что она довольно сносна, и надѣются, что къ вечеру еще проведрится, а каретные извозчики ею вполне довольны: ѣзды въ крытыхъ экипажахъ больше.

Одинъ дворникъ мететъ плитнякъ, другой, насупротивъ, на общую пользу салоповъ и шинелей пѣшеходовъ, лакируетъ чугунныя надолбы постнымъ масломъ съ сажей.

— Никакъ, Иванъ, у тебя масло-то невареное? сказалъ тотъ, что съ метлой.

— А что?

— Да такъ, что-то не слышать его черезъ улицу; а то, бывало, таки-переносить отъ тебя къ намъ.

— И то сырое. Тутъ не до варки, а вымазать бы только, чтобъ не потянули опять.

Чиновники идутъ средней побѣжкой между иноходи и рыси, такъ-называемымъ у барышниковъ перебоемъ; первый дворникъ мететъ размашисто всѣхъ ихъ сразу по во-

гамъ. Они поочередно подпрыгиваютъ черезъ метлу; одинъ, однакоже, миновавъ опасность, останавливается и бранится.

Дворникъ продолжаетъ свое дѣло, будто не слышитъ, и ворчитъ послѣ про себя, но такъ, что черезъ улицу слышно: «обойти не хочешь? нешто глазъ во лбу нѣту?» Другой дворникъ, для котораго собственно острое слово это было пущено, смѣется и, выпрямившись, засучиваетъ нѣсколько рукава, шаркнувъ себя локтемъ по боку, передаетъ черную масляную ветошку, для отдыха, изъ правой руки въ лѣвую, а освободившеюся рукою почесываетъ голову.

Порядочно-одѣтый человѣкъ останавливается у воротъ дома, смотреть на надпись и, оглядываясь, говоритъ: «Эй, любезный, гдѣ здѣшній дворникъ?»

Григорій молчитъ, будто не слышитъ; тотъ повторяетъ вопросъ свой погромче и понастойчивѣе.

— Тамъ, спросите во дворѣ.

Господинъ уходитъ подъ ворота; второй дворникъ, Иванъ, смѣется.—Ты что жъ не отозвался?

— Много ихъ ходить тутъ! отвѣчаетъ первый и продолжаетъ мести.

Въ это время, извозникъ, на выѣздахъ, проѣзжаетъ шагомъ, дремля бочкомъ на дрожкахъ; лошадь разбитая, дрожки ободранныя, кожа между крыльями прорвана, изъ-подъ подушки кругомъ торчитъ сѣно; гайка сваливается съ колеса.

Дворникъ съ метлой глядитъ нѣсколько времени вслѣдъ за извозникомъ, потомъ выходитъ на средину улицы, подымаетъ гайку и кладетъ ее въ карманъ. Колесо съ дро-

жекъ соскочило, извозчикъ чуть не клонулся носомъ въ мостовую, соскакиваетъ, останавливая лошадь, оглядывается кругомъ и бѣжитъ назадъ. Увидавъ дворника на пути со середины улицы къ плитняку, обращается къ нему: «ты, что ли, поднялъ, дядя?»

— Кого поднялъ?

— Да гайку-ту? Отдай, пожалуйста!

— А ты видѣлъ, что ли?

— Да чего видѣлъ? Отдай, пожалуйста.

— Отдай! Что я тебѣ отдамъ? Ты бы сперва двугривенный посулилъ, а тамъ бы говорилъ: отдай.

Споръ становится понемногу жарче; извозчикъ сперва проситъ, тамъ божится, что у него нѣтъ ни пятака, что онъ только вотъ выѣхалъ; потомъ пошла брань и крикъ, въ которомъ, кромѣ обычныхъ привѣтствій, слышно только съ одной стороны: «отдай, я тебѣ говорю, отдай!» а съ другой: «что я тебѣ отдамъ? да ты видѣлъ, что ли?» Съ этимъ воинственнымъ крикомъ непріатели другъ на друга наступаютъ; дворникъ Иванъ, съ помазкомъ въ рукѣ, пользуется пріятнымъ зрѣлищемъ и, улыбаясь, отдыхаетъ отъ трудовъ; народъ начинаетъ собираться, образуя кружокъ. Какой-то дюжій парень также останавливается и, узнавъ, въ чемъ дѣло, говоритъ извознику: «Да ты что горло дерешь, толкуешь съ нимъ, съ собакой? Ты въ рыло его, а я поддамъ по затылку.» И едва это было сказано, какъ и тотъ, и другой, будто по командѣ, въ одинъ темпъ исполнили на дѣлѣ это дѣльное увѣщаніе.

Народъ кругомъ захохоталъ, а оглушенный неожидан-

нымъ убѣжденіемъ строптивый Гришка, тряхнувъ слегка головой, досталъ гайку изъ кармана шароваръ и отдалъ извознику съ совѣтомъ: «не терять ее въ другой разъ, а то-де ину-пору и не воротить; иной и не отдастъ; а за нее въ кузницѣ надо заплатить цѣлковый, да еще накла-няешься да напросишься: вашего брата тамъ много!»

Зрители, натѣшившись этимъ позорищемъ, разошлись своимъ путемъ, оглядываясь повременамъ назадъ; извозникъ надѣлъ колесо, навернулъ гайку и во все это время бранился. Дворникъ Григорій принялся опять за метлу и ограничился повтореніемъ того же дружескаго совѣта. Дворникъ Иванъ подшучивалъ, смѣючись слегка надъ то-варищемъ: «Извознику-то ты что-жь такъ спустил? Эка здоровъ кистень у парня-то!»

Въ это время господинъ, проискавъ дворника по пустякамъ во дворѣ, вышелъ опять изъ-подъ воротъ и обратился къ нашему пріятелю довольно настойчиво: — Да ты, что ли, здѣшній дворникъ, эй!

— А вамъ кого надо?

— Титулярнаго совѣтника Былова.

— На лѣвую руку подъ ворота, въ самый верхъ, двери на лѣвой рукѣ.

— Такъ что-жь ты не сказалъ мнѣ давеча, какъ я спрашивалъ тебя? Вѣдь ты дворникъ здѣшній?

— Дворникъ! Мало ли дворниковъ бываетъ? У другихъ, у хорошихъ хозяевъ, человѣка по три живетъ; это нашъ только вотъ на одномъ выѣзжаетъ.

Посѣтитель долженъ былъ принять эту логику особаго

разбора за отвѣтъ, пожалъ плечамъ и пошелъ по указанію.

По ту сторону улицы проходятъ двѣ барыни; у одной изъ нихъ на рукахъ какая-то шавка; барыня ее усердно лижетъ и цѣлуетъ.

— Вотъ,—сказалъ веселый дворникъ Иванъ:—барыни-тѣ дѣтей своихъ пестовать не хотятъ, а со щенятами нянчатся!

Обѣ барыни оглянулись на веселаго дворника и посмотрѣли на него такими глазами, будто онъ сказалъ непростительную дерзость.

Между тѣмъ, изъ дома дворника съ метлою выскочила чумичка, сложивъ руки подъ сальнымъ ситцевымъ передникомъ, который она сшила на свой счетъ, обидѣвшись тѣмъ, что барыня вздумала подарить ей для кухни пару тиковыхъ или холстинныхъ. — Григорій!—начала она кричать: — ахъ, ты, Господи, воля твоя, какой народъ! Григорій, да что жъ ты не принесешь, что ли, сегодня воды?

— Поспѣешь! Что тороплива больно?

— Поспѣешь! Ахъ ты, Боже мой! Барыня бранится, въ третій разъ гоняетъ меня; я по цѣлому дому бѣгала — вѣтъ какъ нѣтъ; а онъ вотъ еще тутъ прохлаждается, словно Христа-ради воду носить намъ; право! — Да иди, что ли, принеси!

— Принеси! Тутъ вотъ любое: либо по воду иди, либо улицу мети; а какъ надзиратель пойдетъ, такъ вотъ и будемъ мы съ тобой у праздника.

— У праздника? Да мнѣ что за праздники! Тамъ вы себѣ, пожалуй, празднуйте, а ты воды принеси!

Григорій поворачивается медвѣдемъ и отправляется къ воротамъ; чумичка, побѣдивъ краснорѣчіемъ своимъ упорство его, убѣгаетъ проворно подъ ворота; онъ сильнымъ взмахомъ кидаетъ вслѣдъ за нею метлу, а Иванъ кричитъ, повысивъ голосъ: «Эхъ! ушла полубарыня! а такъ вотъ чуть-чуть не огрѣлъ ее! — Больно тонко прохаживаться изволите!» примолвилъ онъ, намекая на босые ея ноги: — «чулки отморозите, сударыня!»

Въ промежуткѣ этихъ забавъ, однакожъ, Иванъ и Григорій сдѣлали также свое дѣло, потому что за нихъ никто не работалъ. До свѣту встань, дворъ убери, подъ воротами вымети, воды семей на десятокъ натаскай, дровъ въ четвертый этажъ, за полтинникъ на мѣсяцъ, принеси. И Григорій взвалитъ, бывало, цѣлую полѣнницу на плечи (все хочется покончить за одинъ пріемъ), а веревку — подложивъ шапку — вытянетъ прямо черезъ лобъ и послѣ только потретъ его, бывало, рукой.

Тамъ плитнякъ выскреби, да вымети, да посыпь пескомъ; улицу вымети, соръ убери; у колоды, гдѣ стоятъ извошники, также все приberi и снеси на дворъ. За назѣмъ этотъ колонисты платили, впрочемъ, охотно Григорію по рублю съ воза: вишь, нѣмцамъ этимъ все нужно. Тутъ, глядишь — опять дождь, либо снѣгъ, опять мети тротуары — и такъ день-за-день. Во все это время и домъ стереги, и въ часть сбѣгай съ запиской о новомъ постояльцѣ; на ночь, ляжешь, не ляжешь, а не больно засыпайся: колесочникъ подъ самой головой, и уйти отъ него некуда, хоть бы и захотѣлъ, потому что и все-то жилье въ подво-

ротномъ подвалѣ едва помѣщается въ себѣ огромную печь. Сойдите ступеней шесть, остановитесь и раздуйте вокругъ себя густой воздухъ и какіе-то облачные пары, если васъ не ошибетъ на третьей ступени обморокъ отъ какого-то прокислаго и прогорклаго чада, то вы, всмотрѣвшись по-маленьку въ предметы, среди вѣчныхъ сумерекъ этого подвала увидите, кромѣ угрюмой дебѣлой печки, еще лавку, которая безногимъ концомъ своимъ лежитъ на бочекѣ; столъ, въ которомъ ножки вышли на цѣлый вершокъ посверхъ столешницы; а между печью и стѣною — кровать, которая вела самую превратную жизнь: она дремала только днемъ, какъ дремлетъ искра подъ пепломъ, ночью же оживала вся, питаясь тучностью нашего джугаго дворника. Онъ былъ независтливъ и говаривалъ, что-де необходимо никому. Замѣчательно, что домашняя скотинка эта приучена была къ колокольчику, какъ сажена рыба, только въ обратномъ смыслѣ: она разбѣгалась мгновенно, когда злсвѣщій колокольчикъ раздавался надъ головою спящаго Григорія, и терпѣливо ожидала возвращенія его и смѣло опять выступала мгновенно въ походъ, лишь только онъ ложился, натянувъ одну полу тулупа себѣ черезъ голову. Подлѣ печи три коротенькія полочки, а на нихъ двѣ деревянные чашки и одна глиняная, ложки, зельтерскій кувшинъ, штофчикъ, полуштофчикъ, графинчикъ, какая-то мутная, порожняя стеклянка и фарфоровая золоченая чашка съ графской короной. Подъ лавкой бурозеленоватый самсваръ о трехъ ножкахъ, двѣ битыя бутылки съ ворванью и сажей, для смазки надолбъ, и, вѣроятно,

ради пріятнаго, сытнаго запаха, куча обгорѣлыхъ плешекъ. Горшковъ не водится въ хозяйствѣ Григорія, а два чугуничка, для щей и каши, постоянно проживаютъ въ печи, или по крайней мѣрѣ съ шестка не сходятъ. Мыть ихъ, хотя повременамъ, Григорій считалъ совершенно излишнимъ, убѣдившись на опытѣ, что сколько-де ихъ ни мой, они все черны *).

Тулупъ и кафтанъ висятъ подъ лавкой, у самаго стола, такимъ образомъ, чтобъ Григорій, во время обѣда съ товарищами, могъ доставить и себѣ, и имъ удовольствіе тереться о платье головою. Въ углу образа, вокругъ вербочки, въ кіотѣ сбереженное отъ Святой яичко и кусочекъ кулича, чтобъ разговѣться на тотъ годъ; подъ кіотомъ бутылка съ богоявленской водой и пара фарфоровыхъ яичекъ. Объ утиральникѣ, который виситъ подъ зеркальцемъ въ углу, подлѣ полокъ, рядомъ съ Платовымъ и Блюхеромъ, надо также упомянуть, хоть бы потому, что онъ съ алыми шитками; утиральникъ этотъ упитанъ и умашенъ разнородною смѣсью всякой всячины досыта, до самаго нельзя, и проживетъ, вѣроятно, въ этомъ видѣ еще очень долго, потому что мыши не могутъ его достать съ гвоздя, а собакъ Григорій нашъ не держитъ, но онъ именно испыталъ однажды на своемъ вѣку, что голодная собака унесла тайкомъ такой съѣдомый утиральникъ, ко-

*) Впрочемъ, Григорій увѣрялъ меня однажды, что моетъ всю посуду свою ежегодно — въ понедѣльникъ на великій постъ, но не для чистоты, а ради грѣха, какъ самъ онъ выражался.

торый и пропалъ бы, вѣроятно, безъ вѣсти, еслибъ собака эта не погрызлась изъ-за лакомага куска съ другимъ псомъ; ссора эта обратила вниманіе нашего дворника на спорную добычу, которая и не досталась ни одной изъ тяжущихся сторонъ, а была у нихъ отбита. Григорій пнулъ еще ногою одного пса, встряхнулъ раза два утиральникъ и повѣсилъ его на свое мѣсто. Онъ въ извѣстныхъ случаяхъ любилъ порядокъ.

Отчего же — спросите вы — дворъ и улица были всегда такъ чисты у Григорія, когда конура его не могла похвалиться хозяиномъ слишкомъ чистоплотнымъ? Ну, въ этой внѣшней чистотѣ виноватъ былъ не Григорій, а не спускавшій съ него глазъ надзиратель. Вотъ почему дворнику нашему чистота и надоѣла до такой степени и опостылѣла: онъ все это вымещалъ на своемъ подвалѣ, который былъ у него въ полномъ распоряженіи, и тутъ только Григорій дышалъ свободно, наслаждаясь мягкою, сальною наружностью всѣхъ предметовъ своего маленькаго хозяйства, упиваясь благовоніемъ, пресыщаясь питательною густотою доморощенной атмосферы.

На другое утро Иванъ да Григорій опять поздоровались черезъ улицу съ метлами въ рукахъ.

— Что ты? аль неможешь?

— Нѣтъ, что-то плохо; черезъ силу хожу — такъ и подводитъ животы.

— А ты бы натошакъ квасу съ огурцами поѣлъ, посоливши хорошенько.

— Нѣтъ, я ужъ вотъ золы съ солью выпилъ; авось отпустить.

Но, видно, отъ золы съ солью не совсѣмъ отпустило: Григорій пошелъ къ лекарю своему, къ лавочнику, и просилъ помощи. Тотъ долго не разспрашивалъ, а, узнавъ главнѣйшія обстоятельства, положилъ Григорія у себя на печь, велѣвъ ему лечь плотнѣе животомъ на горячій ржаной хлѣбъ; накрылъ больного тулупомъ, далъ ему выпить чего-то горячаго и къ обѣду поставилъ его на ноги. Григорій поблагодарилъ своего лекаря и разсудилъ, что не худо послѣ этого поберечься и довольствоваться въ этотъ день легкимъ постнымъ столомъ, то-есть: квашеной капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарнымъ масломъ.

Григорій любитъ иногда покричать, любитъ подчасъ и нагрубить, но также охотно смирится, довольствуясь тѣмъ, чтобъ, отвернувшись, повернуть, а за глаза и побранить. Сто разъ говорилъ онъ уже черезъ улицу Ивану, что послѣдній день живетъ у этого хозяина, отойдетъ завтра же непременно, а на утро опять выходилъ на службу съ метлой, съ лопатой, съ ведрами. Хозяинъ былъ имъ доволенъ, въ особенности за честность и строгій присмотръ.

Григорій узнавалъ подозрительныхъ посѣтителей чутьемъ, по первому взгляду, и выпроваживалъ ихъ обыкновенно тѣмъ, что начиналъ придира́ться вопросамъ о томъ, къ кому и зачѣмъ идешь, а потомъ спросами о паспортѣ и мѣстѣ жительства. О такихъ предметахъ, какъ Григорій зналъ по давнишнему опыту и навыку, люди этого разбора бесѣдуютъ очень неохотно и потому, обыкновенно, не за-

тягивая разговора, удалялись на поиски въ иное мѣсто. Иногда Григорій, встрѣтивъ въ воротахъ человѣка съ полюбристой бородой, въ засаленномъ цвѣтномъ бумажномъ платкѣ и въ изорванной шинелишкѣ, пускался немедленно въ откровенныя съ нимъ объясненія, увѣряя его, что здѣсь-де, братъ, нѣтъ тебѣ поживы никакой, право нѣтъ, ступай съ Богомъ; а, поймавъ у себя въ домѣ подобнаго человѣка, онъ, во избѣжаніе, по его мнѣнію, лишннихъ хлопотъ, потаскавъ незванаго гостя за чубъ, выпроваживалъ его въ зашей. Веселый дворникъ Иванъ тѣшился въ такихъ случаяхъ иначе: онъ заставлялъ вора лѣзть въ тѣсную подворотню и погонялъ его сзади съ разными поговорками метлой.

Но если какой-нибудь счастливый находчикъ пронесилъ подъ мышкой попавшееся ему гдѣ-нибудь платье, то Григорій съ преспокойною совѣстью торговалъ и нерѣдко покупалъ вещь, коли ее отдавали за безцѣнокъ и она годилась ему въ передѣлку. «А мнѣ что?» говаривалъ онъ: — «я почему знаю? Нешто я укралъ? Украдено, такъ не у насъ».

Въ праздникъ Григорій любилъ одѣваться кучеромъ, лѣтомъ въ плисовый поддѣвокъ, зимой въ щегольское полукафтанье и плисовые шаровары, а тулупъ накидывалъ на плечи. У него была и шелковая, низенькая, развалистая шляпа. Такъ онъ сиживалъ нерѣдко за воротами, сложя руки, насвистывая сквозь зубы, или лакомясь моченымъ горохомъ, который доставалъ изъ краснаго, какъ жаръ, платка. Такіе платки нынѣ въ рѣдкость; они назывались «бубновыми», и бѣлые бубны, вытравленные по алому полю

какой-нибудь кислотой, вскорѣ обращались просто въ дырочки, что и подавало Григорію поводъ подбирать повременамъ горошины съ земли, обдывать ихъ и съѣдать поодинокѣ. Иванъ, сидя рядомъ или насупротивъ, предпочиталъ кочерыжки, а если ихъ не было, — рѣпу. Вкусы того и другаго мирились лѣтомъ надъ недозрѣлымъ, зеленымъ и жесткимъ крыжовникомъ, не крупнѣе гороха, и оба дворника запасались тогда почти ежедневно двумя или тремя помадными банками этого лакомства, которое носила по улицѣ уродливая, пирогомъ повязанная старуха, вскрикивая пѣтухомъ: «крыжовникъ спѣла-ай! крыжовникъ садовой, махровой» и пр. Она не заламывала головы на верхнія окна, а косилась обыкновенно въ подвальные жилища и за копеечку нагребала помадную банку верхомъ.

Орѣховъ Григорій не терпѣлъ, увѣряя, что грызть орѣхи прилично только дѣвкамъ.

Въ этомъ состоялъ весь праздникъ Григорія; изрѣдка только онъ напивался вволю, поставивъ напередъ какого-нибудь земляка на цѣлыя сутки на свое мѣсто. Не принявъ напередъ этой мѣры, онъ не гулялъ никогда. Всегдашняя поговорка его, когда кто поминалъ праздникъ, была: «какой нашему брату праздникъ?» Онъ совершенно соглашался съ однимъ мастеровымъ, который даже о Рождествѣ, какъ о праздникѣ, отозвался однажды съ примѣсью философской хандры, сказавъ со вздохомъ: «что за праздникъ нашему брату? тутъ и всего-то три дня: не успѣешь не то что погулять, а на съѣзжую попасть». — Ну, напередъ не угадаешь, братъ, гдѣ будешь, — замѣтилъ было недогадли-

вый Григорій; но мастеровой отвѣчалъ, пожавъ плечами: «нѣтъ, не берутъ: первые три дня не приказано брать никого». Но годовые праздники, при всей малозначительности своей для Григорія, какъ дни пиrowанья, замѣчательны были для него тѣмъ, что онъ ходилъ по порядку собирать подать со всѣхъ постояльцевъ. И у него, какъ у самого хозяина, квартиры всѣ были расцѣнены по доходу, отъ гривенника, получаемого по два раза въ годъ съ прежалкаго и прекислаго переплетчика, проквашеннаго насквозь затхлымъ клейстеромъ, и до красненькой двухъ квартиръ втораго жилья. Онъ перенялъ у остряка Ивана давать постояльцамъ своимъ прозванія по числу рублей, получаемыхъ отъ нихъ къ Рождеству и къ Святой: «двугривенный переплетчикъ», «трехрублевый чиновникъ» и проч. Этимъ способомъ, о которомъ слухи доходили иногда до честолобныхъ жильцовъ, ему даже удавалось повышать водочный окладъ, и жилецъ поступалъ тогда съ трехрублеваго въ нятирублевый разрядъ. Въ случаѣ перехода новаго жилья, Григорій умѣлъ сообщить ему всегда заблаговременно, до наступленія праздниковъ, свѣдѣніе, сколько получалось обыкновенно отъ его предшественника. Съ жильцовъ безпокойныхъ, которые постоянно возвращались домой по ночамъ, Григорій иногда понастоятельнѣе требовалъ *на чай*, увѣряя, что за ними-де хлопотъ очень много.

У Григорія былъ еще небольшой промыселъ: онъ занимался въ своемъ кругу оборотишками по небольшому домашнему банку и отдавалъ, за вѣрнымъ поручительствомъ, или подъ заклады, до сотни рублей въ ростъ. Болѣе восьми

или десяти со ста въ мѣсяцъ ему рѣдко удавалось взять; а если его попрекали такимъ запросомъ, увѣряя, что изъ казны можно взять за пять или за шесть со ста, то онъ, махнувъ рукой, говорилъ преспокойно: «Ну, такъ поди въ казну, а не то вотъ къ графскому камердинеру: тотъ съ тебя возьметъ по двадцати въ мѣсяцъ да еще росписку, что залогъ имъ купленъ у тебя, да, не дождавшись срока, и продастъ его, коли хорошій покупатель найдется.» Григорій не видалъ тутъ никакого грѣха: «я, говоритъ, никого не неволю, никому не напрашиваюсь; мои пятьдесятъ рублей мѣста не пролежатъ у меня и въ сундукѣ.» Что дѣло это надо дѣлать тайкомъ — это онъ очень хорошо понималъ, — но не потому тайкомъ, чтобъ оно было дѣло виноватое, а потому-де, что, извѣстно ужъ, во всякомъ дѣлѣ надо беречься отъ придирки да знать его про себя; тутъ, пожалуй, попадешься за всякую бездѣлицу и во всемъ виновать останешься. Какъ старый дворникъ и уличный петербургскій житель, которому нерѣдко случалось сталкиваться и дружиться съ народомъ всякаго разбора, Григорій былъ не только коротко знакомъ со всѣми плутнями петербургскихъ мошенниковъ, но понималъ отчасти языкъ ихъ, и молодой сосѣдъ его, Иванъ, бралъ у бывалаго пріятеля своего иногда уроки въ этомъ полезномъ знаніи. «Стырить камлюхъ», т. е. украсть шапку; «перетырить жулику коньки и грабли», т. е. передать помощнику-мальчишкѣ сапоги и перчатки; «добыть бирку», т. е. паспортъ; «увести скамейку», т. е. лошадь, — все это понималъ Григорій безъ перевода и однажды больно насмѣшилъ веселаго Ивана,

когда они сидѣли въ праздникъ рядкомъ за воротами, упиваясь чадомъ смердящихъ плашекъ; небольшая шайка проходила въ это время, какъ видно было, отъ разъѣзда театра и, увидѣвъ товарища, поставленнаго для наблюденія за *ширманам* (т. е. за карманами) пѣшеходовъ, встрѣтила его вопросомъ: *что клею?* т. е. много ли промыслилъ? А Григорій отвѣчалъ преспокойно: *бабки, веснухи да ле-пенъ*, т. е. деньги, часы да платокъ, и мошенники съ недоумѣніемъ посмотрѣли на Григорія, не зная, мазурикъ ли это, т. е. товарищъ ли или предатель. Иванъ научился также отъ Григорія пугать мошенниковъ и узнавать ихъ въ толпѣ; стоитъ только сказать «стрема», т. е. берегись! — и всякій мазурикъ сейчасъ же кругомъ оглянется.

Отчего же, спросите, Григорій, какъ и всѣ товарищи его, зная и встрѣчая людей этихъ иногда и съ поличнымъ, зная даже нерѣдко, по слухамъ, кто что и гдѣ укралъ — отчего же онъ не ловилъ ихъ, не доносилъ на нихъ, куда слѣдовало, а смотрѣлъ на все это равнодушно, какъ на постороннее для него и безвредное дѣло? Оттого, что у него были свои понятія и убѣжденія, свой взглядъ и своя житейская опытность, переходящая съ поколѣнія на поколѣніе. Противу такихъ укоренившихся и воплотившихся доводовъ спорить трудно. Григоріи были твердо, логически убѣждены, что виноватъ тотъ, кто попался, а не тотъ, кто укралъ; что только открытое преступленіе — вина, и, наконецъ, что всегда виноватъ будетъ тотъ, кто гласно *шутается* въ такое опасное дѣло. У Григорія была на это сотня нелѣпыхъ примѣровъ въ запасѣ, какъ одинъ будто

виновать остался за то, что донесъ на вора, а другой за то, что его впустили въ свидѣтели; какъ третьяго затаскали въ разспросахъ и показаніяхъ и присудили за *разнорѣчіе* о такомъ дѣлѣ, о которомъ онъ ровно ничего не зналъ и сказалъ одинъ разъ, что ничего не знаетъ, а въ другой разъ, что не знаетъ ничего; какъ такого-то взяли и посадили за то, что онъ остановился мимоходомъ и поглядѣлъ на плившій по водѣ трупъ, или такъ-называемое «мертвое дѣло»; какъ такого-то записали и осудили прикосновеннымъ къ дѣлу за то, что онъ вздумалъ было вступиться, когда при немъ хотѣли ограбить человѣка; словомъ, Григорій почиталъ себя человѣкомъ опытнымъ и, по привычкѣ, судилъ о подобныхъ дѣлахъ весьма хладнокровно.

Григорій зналъ наизусть звонъ каждого изъ жильцовъ. Просыпаясь ночью отъ звона, который мгновенно производилъ такой переворотъ въ жильцахъ или постояльцахъ собственной его квартиры, онъ ворчалъ обыкновенно про себя спросонья: «двугривенный баринъ — ну, не горячись, поспѣешь»; потомъ медленно поворачивался, почесывался, зѣвалъ, накидывалъ свой тулупишко и, взявъ ключи, отправлялся босикомъ по мерзлomu снѣгу, попадая путемъ-дорогою правою рукою въ лѣвый рукавъ тулупа; не находилъ спросонья рукава, останавливался еще разъ подъ воротами, проворчавъ: «кой лѣшій, наглухо, что ли, рукавъ-этъ пришить?» потомъ кричалъ вслухъ: «сейчасъ», а ворчалъ, впрочемъ, не совѣмъ про себя: «постой, тебѣ говорятъ; надорвешься; замерзъ, что ли, тамъ?» Но, растворивъ наконецъ калитку, Григорій обыкновенно дѣлался

вѣжливѣе и мягче въ обращеніи своемъ и пропускалъ жильца молча, или даже иногда проговаривалъ, будто нехотя, пополамъ съ позѣвкой: «извольте-съ». У Ивана была на этотъ счетъ другая замашка: онъ, какъ человѣкъ веселый и живой, не заставлялъ долго дожидаться у воротъ; но если время было уже поздно, то, раскланиваясь съ вошедшимъ, говорилъ только, стоя на морозѣ босикомъ въ одной рубахѣ: «у насъ, сударь, былъ тоже одинъ такой, что все поздно домой приходилъ, да хорошій баринъ спасибо, вотъ какъ и ваша милость: все, бывало, на чай даетъ». Замѣтите: *на чай*, а не на водку: у Ивана землякъ-полотеръ, человѣкъ довольно тонкаго обращенія, и у него-то Иванъ выучился объясняться нѣсколько вѣжливѣе.

Остается сказать нѣсколько словъ о семейныхъ, родственныхъ, хозяйственныхъ и вообще домашнихъ отношеніяхъ нашего Григорія.


Плохъ ли онъ былъ, хорошъ ли, честенъ по-своему, или по-нашему, много ли, мало ли зарабатывалъ, а кормилъ дома, въ деревнѣ, семью. И онъ, какъ прочіе, рассказывалъ о бытѣ своемъ все одно и то же: «Вишь, пора тяжелая: хлѣба Господь не родить, земли у насъ малость; а тутъ подушное, оброкъ, земство... за отца плати, потому что слѣпъ,—ну, за отца все бы еще ничего, а то и за дѣда плати, потому что и дѣдъ еще живъ, и даже не слѣпъ, а только всю зиму на печи сидитъ, какъ сидѣлъ когда-то Илья-Муромецъ,—да еще за двухъ малыхъ ребятъ, за одного покойника да еще за одного живаго.

Еще на десятокъ годовъ станетъ Григорія, можетъ

статься, и на полтора; тамъ — либо пойдетъ онъ и самъ сядетъ на печь, сбывъ дѣда, либо займется въ деревнѣ торговлей, коли деньги тутъ не пропадутъ въ закладахъ. Приѣдетъ домой, привезетъ сотни три-четыре, вырубить подъ избой продольное окно, подопретъ висячій ставень шестомъ и развѣситъ въ лавочкѣ пучковъ десятокъ лычныхъ и пеньковыхъ веревокъ, оборотей, недоузdkовъ да три вѣнка рѣпчатого лука; поставитъ бочку дегтя, другую меда — онъ и по пословицѣ вмѣстѣ живутъ, десятокъ ременныхъ кнутовъ, тесаныхъ дугъ, оглобель, лаптей, пряниковъ, тесемокъ и нѣсколько вязанокъ барашекъ. Вотъ и всѣ припасы и вся торговля; а если вы думаете, что Григорій при такихъ оборотахъ изъ-за хлѣба на квасъ не заработаетъ, такъ ошибаетесь: онъ человѣкъ бывалый; деготь у него будетъ такой нескончаемый, что онъ изъ одной бочки, въ разницу, двѣ, либо три нацѣдитъ, медъ онъ пластаетъ и размазываетъ такъ мастерски, что коли за чаемъ не высосешь картузной бумаги, на которую наклеить онъ четверку, такъ и вкусу этому меду не узнаешь. А веревки, наконецъ... да веревкамъ его конца нѣтъ; онъ мѣряетъ ихъ маховыми саженьями и намахаетъ вамъ ихъ столько, сколько угодно, вотъ только въ глазахъ рабить, какъ пойдетъ разводить руками; дѣло дорожное — взять негдѣ, такъ и берутъ.

Иванъ, я думаю, не пойдетъ въ деревню, а пойдетъ, надумавшись, либо въ кучера, либо станетъ зимою ледъ колоть, а лѣтомъ яблоками торговать, весной же и осенью

перекупать и продавать, что случится на толкучемъ. Удали его въ дворникахъ тѣсно, а дома скучно; со столичнымъ образованіемъ человѣку въ такой глуши жить тяжело....



ДЕНЬЩИКЪ.

(Физиологическій очеркъ).

Говорятъ, въ каждомъ человѣкѣ есть сходство съ тѣмъ или другимъ животнымъ — по наружности, по приёмамъ, собственно по лицу или даже по свойствамъ и качествамъ. Единственный въ своемъ родѣ Гранвилъ неподражаемо умѣлъ схватывать сходство и отношенія эти и переносить ихъ карандашемъ на бумагу. Если бы у меня многотрудное умѣнье или искусство не отставало отъ вольнаго въ разгулѣ и дешеваго воображенія, то я бы, кажется, мастерски нарисовалъ деньщика Якова Торцеголова въ видѣ небывалаго, невиданнаго чудовища, составленнаго изъ пяти животныхъ: одного недостаточно, потому что достоинства Якова слишкомъ разнообразны. *Верблюдъ*, сутулый, неповоротливый, молчаливый — а подчасъ несносно крикливый — и притомъ безответный работникъ до послѣдняго издыханія; *волкъ*, съ неуклюжею, но иногда смѣшною хитростью и жадностью *своею*, дерзкій и неутомимый во время голода; *песъ*, полз-

чивый, вѣрный, который лагетъ на все, что только увидитъ въ контуры своей; *хомякъ*, домовитый хозяинъ, съ запасными сумками за скулами, который полагаетъ, по видимому, будто весь міръ созданъ для того только, чтобы было откуда таскать запасъ и припасъ въ свою норку, и, наконецъ, *бобръ строитель*, который на все мастеръ, все умѣетъ сдѣлать, что нужно въ домѣ, и хоть изъ грязи, да слѣпнеть хатку и жить по своему хорошо. Вотъ эти пять животныхъ — вотъ какой сложный звѣрь вышелъ бы у меня изъ Якова Торцеголоваго; а чей хвостъ, чья голова, чьи руки и ноги у него, разбирайте сами!

Онъ попалъ въ деньщики по малому росту и сутулости, былъ сверхъ того лѣвша, любилъ на ходу глядѣть въ землю, махать руками, переваливаться и распускать около себя одежду повольнѣ. Изъ кармановъ шароваръ его и казачьяго кафтанчика всегда почти висѣли концы нитокъ и бечевокъ, а на днѣ кармана лежали пробки, мѣлокъ, рожокъ или тавлинка, горсть гороха и другія подручныя принадлежности; а когда полкъ стоялъ въ южной Россіи, то во всѣхъ карманахъ у Якова, не исключая и жилеточныхъ, были разсыпаны для обиходнаго лакомства арбузные сѣмечки.

Иногда какое-нибудь стеклышко, отбитая отъ чашки ручка, обломокъ сургуча, или найденная гдѣ-нибудь петьелка, гвоздь, крючекъ, попавъ въ карманъ Якова, держались тамъ очень долго, по нѣскольку мѣсяцевъ, шарить бывало по карманамъ, за чѣмънибудь, попадется въ руки мѣлокъ, пробка или гвоздь — онъ поглядитъ на него, иногда

еще попробуетъ на зубъ, не серебро ли, и положить опять на мѣсто. Перебирая, отъ нечего дѣлать, рѣдкости эти, Яковъ припоминалъ, гдѣ и какъ онѣ найдены или достались ему, по какому случаю попали въ карманъ, и тѣшился такимъ образомъ живыми воспоминаніями своихъ походовъ. Въ этомъ скопидомствѣ вы, конечно, узнаете хомяка. Какъ тѣснаго, такъ и короткаго платья Яковъ не могъ терпѣть и говаривалъ, что онъ былъ этимъ испуганъ въ малолѣтствѣ. Когда баринъ хотѣлъ было ему однажды спить, изъ стараго мундира, куртку, то Яковъ разревлъся какъ верблюдъ, увѣряя въ отчаяніи, что послѣ этого нельзя больше жить на свѣтѣ. Онъ любилъ, чтобы все около него было и просторно, и прикрыто, и потому предпочиталъ всякой иной одеждѣ темнозеленый казакинъ со сборками, но только не въ обтяжку. Одинъ изъ кармановъ или лацканъ этого облаченія были обыкновенно надорваны, обшлага съ исподу вытерты на *нѣтъ*, до самой кисти, на лацканѣ же, на ребро въ шовъ, затыкались торчмя, про всякій случай, булавки, а сбоку претолстая игла, укутанная ниткой въ видѣ цифры 8. Жилетка обыкновенно пользовалась преимуществомъ красной выпушки; фуражка съ козырькомъ — обносокъ барина — и сапоги своей работы довершали рядъ.

На сапоги свои Яковъ любилъ иногда глядѣть безотчетно и засматривался на нихъ по цѣлымъ часамъ, особенно когда они были недавно вычищены имъ и вымазаны саломъ. Тогда Яковъ охорашивался, сидя гдѣ-нибудь въ углу, по-вертывалъ предъ собою ногу и старался заглянуть подъ по-

дошву, чтобы полюбоваться новыми подметками. Онъ мурлыкалъ въ такое время про себя: «растоскуйся ты, моя голубушка!» или насвистывалъ сквозь зубы другую заунывную пѣсню.

Яковъ служивалъ на вѣку своемъ у всякихъ господъ, какъ увѣрялъ онъ, и служилъ вѣрой и правдой. Первый баринъ его былъ немножко безпокойнаго нрава, любилъ повеселиться — но былъ очень скученъ навеселѣ и крутенежъ. Угодить на него было мудрено; но Торцеголовый, благодаря Бога, ладилъ и съ нимъ; плакался Яковъ на него, это правда, но плакался, какъ жалуются, по привычкѣ, на весь Божій свѣтъ, а не то чтобы взаправду, какъ жалуются на бѣду неминуемую, извѣстную, общую: на господъ-де, извѣстное дѣло, не угодишь; господской работы не переработаешь; работа наша, хоть день и ночь прибирай, не видная, ровно все ничего не дѣлаешь, а къ вечеру поясницу разломить и проч., а затѣмъ, въ утѣшеніе себѣ же, онъ приговаривалъ: чтожь, извѣстно, на то они господа. Съ этимъ-то бариномъ, человѣкомъ по чину очень небольшимъ, Яковъ ѣхалъ однажды на перекладныхъ: скакали, сломя голову, день и ночь, въ погоню за самонужнѣйшимъ дѣломъ. Можетъ статься, время было холодное, или безсонье одолѣло путника, или, наконецъ, его растрясло не въ мочь — но только онъ, по привычкѣ своей, подкрѣпился разъ, а тамъ и другой, и третій, — да такъ крѣпко, что слегъ вовсе. У насъ принимаютъ вообще три степени этого отвлеченнаго состоянія: съ *воздержаніемъ*, съ *растановкою*, и съ *расположеніемъ*. При первой степени, одержимый можетъ

еще пройти подлѣ стѣнки, придерживаясь за нее; при второй, съ разстановкою, можетъ идти, если двое поведутъ его подѣ руки, а третій будетъ разставлять ноги; при послѣдней же степени, съ расположеніемъ, одержимый располагается гдѣ случится, гдѣ припадокъ захватитъ его врасплохъ, и, растянувшись во весь ростъ, лежитъ безчувственно, такъ что никакія силы не могутъ болѣе воздвигнуть его на ноги. Этой-то третьей степени самозабвенія достигъ баринъ Якова на одной изъ станцій, — но помнилъ еще одно обстоятельство: что ему надо ѣхать, надо торопиться, погонять и драться. Баринъ Якова не былъ собственно дантистомъ, — какъ классически выразился Гоголь, — но подчасъ все таки считалъ пріятнымъ долгомъ заняться по сей служебной части.

Между тѣмъ на станцію входитъ какой-то проѣзжіи и видитъ слѣдующее: на диванѣ лежитъ, растянувшись во весь ростъ и закрывъ глаза, человѣкъ довольно длинный и стройный; подлѣ сидитъ на стулѣ другой, въ темнозеленомъ казакинѣ, изъ кармана коего торчитъ коротенькая трубка и виситъ какой-то ремешокъ; этотъ человѣкъ звенитъ почтовымъ колокольчикомъ надъ головою соннаго, который по временамъ, въ свѣтлыя минуты, тщетно силится раскрыть глаза, замахнуться кулакомъ и, заставляя непослушный, суконный языкъ свой прокричать грозное: «пошелъ!» и снова замахивается кулакомъ. Проѣзжіи остановился предъ этой занимательной живою картиною, спросилъ вполголоса: «что это такое?» и Яковъ, продолжая звенѣть, отвѣчалъ со вздохомъ: «да вотъ, сударь, другія сутки этакъ ѣдемъ; какъ

перестанешь звенѣть, такъ дерется; пошелъ, говоритъ, да пошелъ; спросить водки — да опять пошолъ; вотъ и ѣдемъ.»

Долго ли, коротко ли Яковъ съ баринѣмъ ѣхали такимъ образомъ и далеко ли уѣхали — не знаю; но этотъ способъ ѣзды, столь докучливый для Якова, оказался также вреднымъ для барина его, который, пустившись въ безконечныя поѣздки и путешествія этого рода, вскорѣ волею Божіею помре. Когда несчастіе это совершилось, то бѣдный Яковъ Торцеголовый въ отчаяніи ударилъ руками объ полы и залился слезами. Онъ пересчитывалъ и припоминалъ всѣ дурныя свойства и качества покойнаго, оканчивая однакоже каждый разъ припѣвомъ: «Да все-таки баринъ добрый былъ! Бывало, сердечный жалованьишко прогуляетъ, ѣсть нечего до трети — нѣтъ ли, братъ Яковъ, каши? Да каши, сударь, нѣтъ, — крупы-то вѣдь немного отпускается, сами знаете, — ну, говоритъ, такъ хлѣба ломоть отрѣжь, жалованнаго, казеннаго — добрый баринъ былъ! Конечно, что правда, то правда, какъ подгуляетъ бывало, такъ больно дерется.... ну, на то они господа; а все баринъ былъ добрый!»

Чувствительность и добродушіе русскаго человѣка при подобныхъ случаяхъ заслуживаютъ всякаго уваженія. Напр., везутъ знаменитаго, сановнаго покойника, бабы, выскочившія толпой, съ любопытствомъ смотрятъ на поѣздъ и готовы, пожалуй, и заплакать, смотря по тому, кто какъ съумѣетъ направить ихъ участіе. «Да это кто же?» спрашиваетъ одна. «Это покойникъ, тотъ и тотъ, извѣстный на всю Россію человѣкъ. — Охъ, онъ, батюшка мой родной, сер-

дечный!.. А это что же, вонъ, ѣдетъ за нимъ?.. Это называется печальная колесница, это карета покойнаго... «Охъ, она, моя матушка, голубушка...» И баба, забывъ, отъ избытка участія, покойника, готова горько плакать надъ каретой!

Яковъ побѣждалъ объявить о смерти барина своего адъютанту и сказалъ ему предлинную чувствительную рѣчь, которой смыслъ—по отрывистому расположенію думъ Якова—трудно выразить, но въ коей нѣсколько разъ повторялось: «власть Господня, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, покуда грѣхамъ нашимъ терпимъ, а у меня, сударь, извѣстное дѣло, теперь родныхъ больше нѣтъ, окромѣ васъ, больше заступиться за меня некому.»

Адъютанта этого Яковъ причелъ въ родни потому, что тотъ болѣе другихъ знался съ бариномъ его и часто дружески его журилъ, стараясь убѣдить, что изъ него могъ бы выйти очень порядочный человѣкъ, еслибъ онъ не обращался слишкомъ часто въ скотину. Тогда, бывало, и Яковъ, простоявъ во все время такой рѣчи у дверей и переступая спокойно съ ноги на ногу, принималъ слово, по уходѣ адъютанта, и читалъ барину наставленія, вродѣ слѣдующихъ:

«Ну, что, сударь, бросьте, — ей-богу бросьте, они правду говорятъ. Отъ этого что хорошаго будетъ — ничего не будетъ; вотъ намереніи вы изволили заснуть въ передней на лавкѣ, а тутъ впотѣмахъ васъ завалили было шинелями; что добраго, такъ бы и задохлись; вѣдь я насилу васъ вы-тащилъ; право, сударь, вѣдь цѣлый ворохъ шинелей на-

кидали на васъ, а ужъ вы безъ памяти изволили быть; или вотъ хоть на той недѣлѣ, какъ изволили съ господами гулять да кучеръ Ивана Макаровича свалилъ васъ въ одни пошевни, развозилъ васъ по домамъ, — подѣхалъ къ фатеръ вашей и кричить: Яковъ, а Яковъ, — поди возьми своего барина, говорить. Я вышелъ, а вы еще изволите упираться, а тамъ и драться; не тронь, говорите, не подымай меня, не твое дѣло. Ну, чье же, сударь, дѣло, коли не мое? Извѣстно уже, коли я не присмотрю за вами, такъ кто же приглядитъ? Нехорошо, сударь, воля ваша, что-этакъ то хорошаго будетъ? Ничего не будетъ!»

Когда, по внезапной смерти барина, пришли описывать и печатывать имѣніе его, то Яковъ, изъ усердія къ покойному, заступился за такъ называемое имѣніе это и не хотѣлъ допустить никого; за это попалъ онъ подъ карауль и чуть не было еще хуже. Что онъ думалъ въ это время, какъ могъ отстаивать мундиръ и панталоны покойнаго барина силой, — этого не могъ онъ объяснить толкомъ никогда, но отговаривался и оправдывался впослѣдствіи тѣмъ только, что, «извѣстно-де, за покойника заступиться некому, какъ же мнѣ не беречь господскаго добра?»

Относительно правъ собственности у Якова Торцеголоваго были вообще особенныя понятія, кои требуютъ нѣ котораго поясненія. Нельзя сказать, чтобы онъ дѣйствовалъ всегда на правахъ волка; но давно сказано: гони природу въ дверь, она влѣтитъ въ окно. Онъ, впервыхъ, дошелъ своимъ умомъ до основныхъ понятій философіи Канта, съ тѣмъ только различіемъ, что употреблялъ, при всеобщемъ

раздѣленіи вселенной, множественное число, вмѣсто единственнаго; весь міръ распадался для него на двѣ половины: на *мы* и *не мы*. Мы — это были для него самъ онъ съ баринномъ своимъ и со всѣми своими пожитками; *не мы* — это были всѣ прочіе господа весь видимый міръ. Въ болѣе обширномъ смыслѣ *мы* означало также свою роту, баталіонъ или даже полкъ; а въ самомъ странномъ значеніи *мы* принималось въ смыслѣ: вся армія, всѣ военные, и тогда *мы* и *не мы* было тоже, что пріятель и непріятель.

Затѣмъ обязанности Якова, какъ человѣка-христіанина и служиваго, были въ глазахъ его тѣмъ священнѣе и ненарушимѣе, чѣмъ тѣснѣе можно было примѣнить къ вопроному случаю понятіе *мы*; но онъ потакалъ самъ себѣ тѣмъ болѣе въ произвольномъ примѣненіи этой истины, чѣмъ шире становилось философское понятіе, не признавая за собой уже почти никакихъ обязанностей за предѣлами этого подобнаго понятія; тутъ Яковъ обращался въ волка съ ногъ до головы; тутъ онъ вступалъ уже, какъ полагалъ, по всѣмъ правиламъ въ непріятельскую землю и понималъ своимъ умомъ буквально и очень ясно изреченіе: «бей и маленькаго: вырастетъ — непріятель будетъ!»

Воръ — слово постыдное въ глазахъ Якова, воръ былъ у него тотъ, кто готовъ былъ обокрасть барина своего или собрата, сотоварища, кто воруетъ у той половины вселенной, которую Яковъ называлъ *мы* и *наше*. Яковъ плюнетъ на такого человѣка и отойдетъ. Но еслибъ вы сказали ему, что и самъ онъ воръ, потому что въ хозяйствѣ

его находится некупленный ухватъ, взятая гдѣ-то мимоходомъ сковородка; сапоги, стоящіе рубля четыре и купленные по извѣстнымъ причинамъ за двугривенный, то Яковъ выпучилъ бы на васъ глаза и съ чистѣйшею совѣстію, покачавъ головой, сослался бы на барина своего и весь полкъ: они-де знаютъ его, Якова, какъ человѣка, котораго можно осыпать золотомъ—и онъ ничего не тронетъ. Затѣмъ онъ, смотря по обстоятельствамъ, или разбранилъ бы клеветника своего въ глаза, или сказалъ бы: «Богъ съ нимъ! обидѣть, извѣстно, можно всякаго человѣка, хотъ кого угодно, — Богъ съ нимъ!»

Изъ бѣды и напасти, то-есть изъ острога, послѣ заступничества за имущество покойнаго барина, Якова выручилъ другой баринъ, который взялъ его въ деньщики. Яковъ обѣщалъ и тому служить вѣрой и правдой и сдержалъ, по своему, слово. Онъ, можетъ быть, отъ избытка усердія, попадалъ иногда въ просакъ, но не смущался этимъ, зная разъ навсегда, что на господъ не угодишь. Однажды онъ вычистилъ золоченыя пуговицы кирпичемъ; онъ положилъ въ другой разъ четверть фунта корицы въ супъ, полагая утѣшить барина французскимъ столомъ; онъ, по ошибкѣ, заправилъ щи, вмѣсто уксуса, ваксой,—видно, бутылочки обѣ стояли рядомъ; онъ положилъ плохо завязанный узелокъ съ толченою солью въ барскій чемоданъ и пересолил бѣлье и платье насквозь; онъ на свѣтло-сѣрую шинель барина своего положилъ заплату оливковаго цвѣта, пристегавъ ее бѣлыми нитками; онъ дергалъ, отъ избытка усердія, съдой волосъ изъ боброваго воротника; онъ выскребъ, для опрят-

ности, столъ краснаго дерева косаремъ, потому что у перваго барина его не было такого домашняго обзаведенія, а были столъ и лавки простые, какіе въ деревнѣ случались. Становился ли онъ умнѣ послѣ каждой изъ подобныхъ продѣлокъ — этого не знаю; но онъ видѣлъ только въ не-удовольствіи барина каждый разъ новое подтвержденіе важнѣйшей статьи изъ опытной премудрости своей — что-де, извѣстное дѣло, на господъ не угодись; но не сердился нисколько, когда его бранивали за подобныя продѣлки, потому что и это-де извѣстное дѣло, безъ того нельзя, чтобы не побранили, на то они господа.

Бывало, Яковъ собирается писать домой письмо; тогда онъ ходитъ нѣсколько дней призадумавшись, забываетъ дѣло и отвѣчаетъ невпопадъ. Напримѣръ: «Яковъ!» — молчокъ. — «Яковъ!» — «Сейчасъ, сударь.» — «Яковъ, что ты не идешь, когда я зову?» — «Да тамъ нельзя было бросить и отойти...» — «Что же ты дѣлалъ?» — «Собирался было руки помыть...» Письмо крѣпко озабочивало Якова, и хотя это случалось никакъ не болѣе одного или двухъ разъ въ годъ, но зато онъ въ это время жилъ душою дома, гдѣ не бывалъ уже лѣтъ около двадцати. Письма этого рода пишутся, какъ извѣстно, отъявленными писателями на заказъ и раздѣляются, по цѣнѣ, на два или три разряда, смотря по тому, *полные* ли, или *неполные* посылаются поклоны. Яковъ не противорѣчилъ однакоже и тому, когда одинъ заказной плутъ, изъ писарей, взялъ съ него лишнюю гривну за то, что полкъ перешелъ далѣе и что письмо Якова теперь далеко пойдеть. Полные или неполные поклоны, смо-

тря по количеству финансовъ Якова, — если онъ не рѣшался упросить кого-нибудь написать письмо въ долгъ, составляло вообще самое существенное различіе этихъ писемъ, въ которыхъ однакоже всегда говорилось нѣсколько словъ о баринѣ. Человѣкъ двадцать родныхъ было еще у Якова — русскій человѣкъ безъ нихъ не живетъ — и онъ отписывалъ каждому порознь и поименно милостиваго государя или государыню, любезнаго, возлюбленнаго, всеюлюбезнѣйшаго, а затѣмъ нижайшій, глубочайшій, усердный, преусердный или другаго разбора поклонъ; называлъ себя мы, сестру или брата вы, испрашивая у родителей, дядей, тетокъ и проч., у каждаго порознь, ихъ родительскаго или родственнаго благословенія, на вѣки нерушимаго, прибавляя: «а о себѣ скажу, что мы, благодаря Бога, живы и здоровы обрѣтаемся, чего и вамъ желаемъ и вседневно и всечасно у Создателя въ горячихъ молитвахъ испрашиваемъ» и заканчивалъ обычнымъ и приличнымъ оборотомъ: *уважаемый вами* такой-то. Онъ иногда вставлялъ еще гдѣ-нибудь извѣстія о здоровьѣ или нездоровьѣ своего барина, говорилъ: что мы-де съ бариномъ собираемся жениться и проч.

Разговорный языкъ Якова также отличался галантерейностью своею и часто смѣшилъ людей. Онъ поздравлялъ барина и другихъ офицеровъ съ собственными своими именами: «Ваше благородіе, имѣю честь проздравить, я именинникъ.» Онъ говорилъ пзъ вѣжливости: «я изволилъ вамъ докладывать, или вы изволили мнѣ доложить.» Раздѣляя весь видимый міръ, по теоріи Канта, на *мы и не мы* —

на пріятелей и непріятелей, онъ о рѣдкомъ чловѣкѣ относился съ равнодушіемъ или даже со спокойствіемъ, и большею частію горячо вступался за людей, или бранилъ ихъ безъ пощады. Кто хорошъ, тотъ былъ для него золотой и хорошъ безъ мѣры; а кто досадить, тотъ уже никуда не годился отъ козырька до закаблучьевъ. Замѣчательны были, въ сихъ и подобныхъ случаяхъ, доводы и причины Якова, коимъ онъ оправдывался предъ бариниомъ своимъ или посторонними людьми. Напр., Якову досталось однажды сѣздить куда-то на лошади сосѣдняго помѣщика Губанова; лошадь не показалаь Якову, или пристала, что ли, дорогой, и съ этого времени онъ придумалъ, для брани поговорку: «а чтобъ тебя съ Губановымъ на пристажку пустить!» Когда нашлись люди, которые замѣтили Якову, что нехорошо браниться такъ и некстати, то онъ отвѣчалъ: «Помилуйте, сударь, что тутъ не браниться. Я, власть ваша, никого не займаю, а только послѣ этого ужь и на свѣтѣ жить нельзя.» — «Не ходи ты, Яковъ, съ бреднемъ по этому озеру — сколько разъ тебѣ это добрые люди говорили—ты плавать не умѣешь, а тутъ омутъ на омутѣ!» — «Ничего, сударь, — отвѣчалъ Яковъ, — что же дѣлать? власть Господня. Вотъ, и наемни въ Грачевкѣ мальчикъ утонулъ...» а затѣмъ, въ тотъ же день вечеромъ, опять-таки отправился съ бредникомъ на озеро.

Замѣчательное и преполезное, для барина его, свойство Якова заключалось еще въ томъ, что онъ былъ вездѣ дома, куда бы ни пришелъ. «Здравствуй, хозяйка; здорово, хозяйинъ», и затѣмъ онъ, перекрестившись, протягивалъ руку

за ухватомъ и кочергой, очищаль, гдѣ слѣдовало, мѣсто себѣ и барину, зналъ по навыку, гдѣ найти чуланъ, каморку, клѣтъ, и чего и гдѣ тамъ искать, какъ задобрить или застрашать хозяйку, чѣмъ угодить хозяину, — и между прочимъ зналъ также такое слово, отъ котораго дружилъ съ каждой собакой, какъ только шагнетъ на дворъ. — «Отчего на тебя, Яковъ, и собаки не лаютъ? спрашивали у него, бывало, и онъ отвѣчалъ, смотря по расположенію своему: «онѣ мнѣ всѣ свои, я всѣхъ ихъ знаю,» или: «а что ей лаять—не видала, что ли, она человѣка?» Онъ всегда давалъ собакѣ кличку по шерсти съ первой встрѣчи, спорилъ съ хозяиномъ, если тотъ увѣрялъ, что это не Сѣрко, а Куцый; и Куцый, повидимому, соглашался съ этимъ и охотно бѣжалъ на зовъ новаго пріятеля.


Извѣстно, что календарь нашего крестьянина отличается по способу выраженія отъ нашего: мужикъ рѣдко знаетъ мѣсяцы и числа, но знаетъ хорошо посты, заговѣнья, сочельники, всѣ праздники, святыхъ и, избирая болѣе замѣчательные въ быту его сроки, обозначаетъ ихъ сими названіями. У Якова былъ свой календарь, довольно понятный въ его кругу: время назначенія новыхъ капраловъ, фельдфебелей, ротныхъ, батальонныхъ, полковыхъ, бригадныхъ и наконецъ корпусныхъ командировъ: смотры, построика или пригонка амуниціи, лагерь, ученье, перемѣна стоянки, марши, походы, дневки, привалы и наконецъ замѣчательныя событія въ ротѣ, въ батальонѣ, въ полку: такой-то арестантъ бѣжалъ; такой-то солдатъ сломалъ прикладъ ружья, потерялъ штыкъ; тому или другому дана награда.

такой-то произведенъ чиномъ, такой-то умеръ, переведенъ, вновь опредѣлился и проч. Вотъ эпохи, по коимъ Яковъ опредѣлялъ прошедшее; для настоящаго ему ненужно было календаря, потому что оно пролетало мимо его, какъ мимо всѣхъ насъ, а для будущаго — потому, что онъ все будущее предоставлялъ Богу и говорилъ только: «дастъ Богъ, будетъ то и то — авось, вотъ, дождемся», и зналъ кромѣ того четыре времени года, какъ всѣ пять пальцевъ. Ведро и ненастьё, тепло и стужу измѣрялъ и опредѣлялъ онъ также посвоему: на дворѣ холодно, хоть ружье въ избу поставь, такъ развѣ чуть только отпотѣетъ; на дворѣ морозъ, лошади на конюшнѣ всю ночь протопали; видно сыро, барабанъ чуть слышно; жара такая, что за козырекъ рукой нельзя взяться; такой дождь, что ломоть хлѣба изъ пекарни подъ полой сухимъ не донесешь домой и проч. Честенъ былъ Яковъ посвоему, о чемъ мы уже говорили, и, — честенъ и неподкупенъ для себя, для своего барина, роты, батальона, полка; но чѣмъ дальше и шире расходился этотъ кругъ, тѣмъ жиже становилась честность нашего Якова и на самыхъ предѣлахъ перехода видимаго міра изъ *мы* въ *не мы* — она была дотого мутна, что терялась вдали, какъ сѣрый туманъ, безъ лица, безъ цвѣта и безъ образа. Чтобы употребить другое, можетъ быть болѣе удачное, подобіе, скажемъ, что честность его расходилась отъ него во всѣ стороны клиномъ и оканчивалась, въ извѣстномъ или неизвѣстномъ разстояніи, будучи снята *на нѣтъ*.

Таковъ былъ Яковъ, и таковы будутъ всѣ Яковы наши, *по крайней мѣрѣ* большинство ихъ. Мастеръ и доточникъ

или источникъ на всякую домашнюю потребу, онъ чинилъ сапоги, платилъ, какъ мы видѣли выше, платье, строгалъ, заклепывалъ, долбилъ, кленлъ и ладилъ все, что было нужно въ походномъ хозяйствѣ. Какъ комнатный, кравчій и постельничій, онъ ставилъ чайникъ, варилъ кофе, набивалъ трубки, бѣгалъ за виномъ рысью и откупоривалъ бутылки, стлалъ солому, покрывалъ ее простыней или рядномъ и клалъ въ голову подушку, а въ ноги халатъ и прозапасъ еще шинель, чтобы одѣться; какъ конюшій и ясельничій, стремянный и кучеръ, онъ ходилъ за лошадыю, когда она была у барина, сѣдалъ ее выбракованнымъ гусарскимъ сѣдлишкомъ, или закладывалъ въ пошевни; какъ приспѣшникъ, готовилъ онъ до четырехъ блюдъ: щи, кашу, пирогъ и битки. Верблюдомъ былъ онъ на походѣ, когда, запустивъ шаровары въ сапоги и навьючившись разнымъ скарбомъ, мѣсилъ грязь мѣрною поступью; волкомъ — какъ и гдѣ случалось: въ нуждѣ, за недосугомъ купить или выпросить то, что ему было нужно; вѣрнымъ псомъ былъ онъ всегда, и вся забота его, все назначеніе состояли въ томъ, чтобы хранить и оберегать, по крайнему разумѣнію, господское добро; хомякомъ былъ онъ на зимнихъ квартирахъ, на стоянкахъ, когда нѣсколько мѣсяцевъ постоя на мѣстѣ казались ему вѣкомъ, и онъ обзаводился въ то время всякою дрянью, будто вѣкъ съ ней жить, для того только, чтобы, послѣ долгихъ вздоховъ и соболѣзнованій, кинуть все это, когда приходилось выступить въ походъ; наконецъ бобромъ-строителемъ Яковъ дѣлался если не на каж-

домъ привалѣ, то по крайней мѣрѣ на каждомъ ночлегѣ: вилы, два шеста или хворостина, рядомъ да охабка со-
ломы — и дворецъ готовъ: извольте, ваше благородіе, пере-
бираться!



ЧУХОНЦЫ ВЪ ПИТЕРЪ.

У насъ, не безъ основанія, называютъ чухнами все нерусское поколѣніе коренныхъ жителей Петербургской, Выборгской и сосѣднихъ балтійскихъ губерній. Оставивъ на сей разъ въ покоѣ эстовъ и латышей, взглянемъ собственно на чухонъ, т. е. на уроженцевъ Выборгской губерніи, кои, въ особенности женщины, такъ охотно называютъ себя шведами и шведками: «Я ведка изъ Фиборгъ», обыкновенный отвѣтъ петербургской кухарки, если спросите ее, откуда она родомъ.

Не только каждый народъ, но и уроженцы извѣстныхъ мѣстъ, приходя на заработки въ столицу нашу, держатся своего рода жизни и какихъ либо особыхъ промысловъ. Такъ, касимовскіе татары всѣ почти идутъ въ дворники; рязанцы—въ сидѣльцы и еще болѣе въ цѣловальники; тверитяне—въ каменщики и штукатуры; бѣлоруссы—исключительно въ земляную работу и прочее. Чухонца или финляндца вы не увидите ни въ дворникахъ, ни въ сидѣль-

цахъ, ни даже въ разнощикахъ, кромѣ привозящихъ яйца, масло и молоко и выпрашивающихъ въ домахъ, послѣ продажи припасовъ своихъ, лоскутки и ленточки для дочерей и сестеръ. Высшій кругъ ремесленного или рабочаго сословія изъ этого народа — это серебряники; за ними слѣдуютъ трубочистные мастера; черный народъ, ослѣдлый въ Петербургѣ, идетъ смолоду въ трубочисты, иногда нанимается въ кучера; идущіе на заработки промышляютъ легковымъ извозомъ, и то болѣе зимой, изъ ближайшихъ деревень, верстъ за сто, полтораста; въ ломовыхъ же извозникахъ вы никогда не увидите чухонца. Кромѣ того, выборгскіе крестьяне возятъ въ столицу песокъ, на лодкахъ и гужемъ, булыжный камень и всѣ вообще сельскіе припасы, пригоняя иногда, на придачу, нѣсколько головъ своего малорослаго рогатаго скота.

Встрѣтивъ, особенно въ воскресенье, такого трубочистнаго мастера, вы не всегда съ перваго взгляда догадаетесь, съ кѣмъ столкнулись. Черный фракъ и золотая цѣпочка, зимой также енотовая шуба — могли бы ввести васъ въ обманъ и заставить предполагать, что передъ вами, по крайней мѣрѣ, почетный гражданинъ. если не самъ откупщикъ питейныхъ сборовъ. Ремесло трубочистнаго мастера, у котораго только изрѣдка остаются на рукахъ, по праздникамъ, слѣды прежнихъ собственноручныхъ занятій, — ремесло это хлѣбное. Мастера получаютъ плату съ дома, или, вѣрнѣе, съ дыма, берутъ на себя подрядомъ обязанность чистить трубы во всѣхъ и самыхъ огромныхъ казенныхъ зданіяхъ и держать цѣлую артель рабочихъ и мальчишекъ,

содержа ихъ, по крутому финскому нраву и тугому скопидомству, очень строго и на весьма умѣренной пищѣ. Салакушка и вообще плохая и дешевая соленая рыбка, да еще картофель, обыкновенная ихъ пища; мясо видятъ они рѣдко. Не смотря на это, вы въ воскресенье, на Крестовскомъ островѣ, должны заглянуть иному чухонцу вплотную за уши, чтобы узнать трубочистнаго подмастерья или ученика въ толпѣ ремесленныхъ веселыхъ гулякъ, для коихъ Крестовскій островъ составляетъ истинную отраду: тамъ они, бѣдные, отводятъ душу и, собираясь съ силами на наступающую седмицу, забываютъ по разу въ недѣлю, какъ больно мастеръ надралъ чубъ въ понедѣльникъ и въ среду, какъ зло ушипнулъ во вторникъ, выдралъ за ухо два дня сряду, въ четвергъ и въ пятницу, и какъ натолкалъ бока въ субботу. Зимой и эта отрада не дается; изрѣдка только удастся забраться съ товарищами въ Красный кабачокъ, а, впрочемъ, все праздничное утѣшеніе состоитъ въ томъ, что сходишь въ субботу въ баню, — непремѣнная льгота всѣхъ трубочистовъ, — да гуляешь въ воскресенье съ товарищами не съ чумичкой, ядромъ, скрябкой, метлой и веревкой и не въ бархатномъ черномъ платьѣ, какъ сами они называютъ буднишній нарядъ свой, а въ сюртукѣ и, замѣтите, непремѣнно въ *бѣлой* манишкѣ, или по крайней мѣрѣ съ бѣлыми воротничками. Эти бѣлые воротнички придаютъ каждому трубочисту, въ собственныхъ его глазахъ, сто на сто цѣны и вѣсу; ему, въ будничномъ быту, бѣлое бѣлье—такое диво, что оно ему дѣлается всего дороже и милѣе.

Чухны вообще народъ самый честный, то-есть крѣпкій и вѣрный на слово; но разные житейскія уловки и ухищренія, особенно среди всѣхъ соблазновъ столицы, водятся и въ ихъ грѣшномъ быту, какъ и во всякомъ иномъ. Подражаясь чистить трубы въ большомъ казенномъ зданіи, съ отвѣтственностью за выкидку изъ трубы, трубочисты берутъ порядочныя деньги, по сотнѣ и по двѣ цѣлковыхъ въ годъ; но рассказать ли вамъ, какъ трубочистный мастеръ, перехитривъ, чистилъ въ пяти большихъ зданіяхъ трубы круглый годъ за полтину серебра?

Были, по законному порядку, назначены торги. Господа трубочисты сошлись въ срокъ и, не смотря на обыкновенное единодушіе свое по предварительной стачкѣ, немного погорячились и съ пяти сотъ цѣлковыхъ запроса сбили цѣну немощно низко, на двѣсти. Видя такую бѣду и опомнившись нѣсколько, одинъ изъ самыхъ бойкихъ за-невскихъ уроженцевъ, именитый начальникъ чернобархатной дружины, выступилъ смѣло впередъ и сказалъ: «полтину серебра». — Начальство съ недоумѣніемъ приподняло голову и рѣшилось просить объясненія. «Я прошу полтину серебра», отвѣчалъ тотъ же мастеръ, между тѣмъ какъ прочіе, понявъ эту уловку, самодовольно поглядывали другъ на друга и улыбались. «Я берусь чистить трубы не за 400 и не за 200 рублей серебромъ, а за полтину». «Что это ты, шутить, что ли, сюда пришелъ?» спросилъ его строгій голосъ, между тѣмъ какъ очки были приподняты съ переносья на самое темя. «Чего шутить, какая шутка!» про-

должалъ тотъ же мастеръ: — «я вамъ говорю дѣло, я берусь за полтину серебра».

Торги были остановлены, журналъ подписанъ и подписка съ подрядчика взята. Не дрогнула у него рука и при подписи; смѣло и бойко расчеркнулся онъ, закусивъ губу, а прочіе съ какимъ-то удовольствіемъ перешептывались посвоему и поглядывали черезъ плечо мастера на подпись его.

На этотъ разъ расчетъ его былъ вѣренъ и удаченъ. Долго думало присутствіе, какъ тутъ быть и что дѣлать. Какъ-дѣ отдать за полтину подрядъ, за который плачивали всегда по 300 рублей? Это курамъ на смѣхъ: онъ просто дурачить людей; а наконецъ какое же будетъ ручательство въ томъ, что онъ выполнитъ подрядъ? Залогу съ него слѣдуетъ всего-то треть годовой платы — итого за годъ $16\frac{2}{3}$ копееки; что же съ этимъ станешь дѣлать? — И на этомъ основаніи не утвердили торговъ, а предписали произвести новые. На этихъ новыхъ торгахъ мастера наши явились уже болѣе спокойными и разсудительными, установивъ между собою послѣднюю цѣну 400 руб. серебромъ и положивъ сдать работу одному, по жеребью, а прочимъ получать съ него отсталаго. Такъ и сталося.

Но когда на слѣдующій годъ господа трубчисты вздумали сыграть ту же шутку, то они обожглися. Подрядъ остался за тѣмъ же мастеромъ за полтину, и торги утвердили, потому что на этотъ разъ прошлогодній залогъ обезпечивалъ отъ неустойки....

Большая часть здѣшнихъ серебряниковъ средней руки — земляки трубчистамъ, и, между прочимъ, все, что вы по-

купаєте подъ Думой, выходить изъ-подъ ихъ рукъ. Есть изъ нихъ также довольно мастеровъ золотыхъ дѣлъ. Люди эти надежны, трезвы, работаши; но и у нихъ нерѣдко голова походить на половую щетку: съ такимъ упорствомъ у нихъ волосы поднимаются на дыбы, не ложась подъ гребень, и такъ упрямы и норовисты эти головы. Если вы заказываете какую-нибудь вещь, желая, чтобы она была сдѣлана, какъ вамъ хочется, то землякъ трубочиста сперва спорить съ вами, увѣряя, что этого сдѣлать нельзя, а что надо сдѣлать иначе; коли вы настаиваете положительно и готовы уйти по несогласію мастера, то онъ смолчить, кивнувъ разъ, другой головой и сказавъ: «хорошо, хорошо», а между тѣмъ непремѣнно сдѣлаетъ ее по своему и отвѣтитъ вамъ впоследствии сухо, что такъ надо было и что иначе нельзя. Ни одинъ васъ не обвѣситъ; у всякаго положенная цѣна за работу; но и финляндецъ, какъ русскій человѣкъ, рѣдко поставить вамъ работу въ обѣщанный срокъ и, сверхъ того, какъ упомянуто, весьма неохотно уклонится отъ привычной формы вещи.

Въ числѣ сельскихъ произведеній, привозимыхъ чухнами, пахтанное, или, собственно, чухонское масло занимаетъ не послѣднее мѣсто. Замѣчательно, что обычай пахтать масло принадлежить всѣмъ чухонскимъ, или вѣрнѣе чудскимъ, финскимъ поколѣніямъ, а обычай топить его — турецкому или татарскому и монгольскому племенамъ. По этому незначительному обычаю, кажется, можно довольно вѣрно распознавать у насъ эти два поколѣнія тамъ, гдѣ есть сомнѣніе. Если бы, напримѣръ, шитковыя рѣбахи, монисты,

пронизи, головной уборъ женщинъ (каля-башъ и кашъ-боу) у башкировъ и нѣкоторыя другія этнографическія указанія не изобличали въ нихъ чуждое племя, то я бы готовъ былъ отказать имъ въ татаро-монгольскомъ происхожденіи, по одному обычаю ихъ не топить масло, а пахтать его.

Хозяйки наши падки на чухонское масло, которое крестьяне разносятъ по столицѣ; но и этотъ честный промыселъ, къ сожалѣнію, подалъ поводъ къ мошенничеству, которое многимъ хозяйкамъ крѣпко досаждаеть. Я не говорю о томъ, что и честные чухны выучились класть на исподъ въ кадочку прогорклое масло, или сыпать туда крупную соль, продавая ее вмѣстѣ съ масломъ по рублю фунтъ, но хочу сказать нѣсколько словъ объ отъявленномъ и болѣе утонченномъ мошенничествѣ предприимчивыхъ столичныхъ прасоловъ или кулаковъ. Они скупаютъ масло зимой, разбиваютъ его въ теплѣ, наливъ водой, а потомъ выносятъ на морозъ и сбиваютъ воду вмѣстѣ съ масломъ, образуя какое-то масляное мороженое, весьма невыгодное для покупателей, потому что въ немъ бываетъ болѣе половины воды или льду. Чтобы затѣмъ удобнѣе и вѣрнѣе сбыть этотъ товаръ, прасолы поручаютъ распродажу его заходящимъ сюда чухонцамъ, кои разносятъ его по дворамъ, будто только-что привезли изъ деревни. За это нельзя не попенять честнымъ финляндцамъ, хотя они тутъ только плуты подставные, а настоящіе мошенники скрываются въ какихъ-нибудь подвалахъ или мелочныхъ лавочкахъ.

Подгородные жители рассказываютъ, что чухны, пріѣз-

жающіе въ столицу съ сельскими припасами, а въ томъ числѣ и съ рыбой и раками въ бочкахъ, не продаютъ товара дорогою по упрямству, а можетъ быть и боясь продешевить, не зная настоящихъ цѣнъ въ городѣ. Отнѣкиваясь, они обыкновенно, чтобы отвязаться, говорятъ: «мы привеземъ вамъ въ другой разъ, теперь нельзя отдать». Тогда стоитъ только убѣдить чухонца, не зная его въ глаза, взять задатокъ, и онъ уже не обманетъ, а непременно привезетъ, что обѣщалъ. Мнѣ говорили объ этомъ люди, испытавшіе такой способъ въ продолженіе многихъ лѣтъ, и увѣрили, что изъ числа десяти или двѣнадцати задатковъ у нихъ вообще пропадало не болѣе одного, и что иной чухонецъ привозилъ обѣщанное, хотя полгода и даже цѣлый годъ спустя. Эта черта такъ хороша, что, конечно, ее всякій народъ пожелалъ бы присвоить себѣ; но она не всякому далась.

Спросите, какъ дѣлаютъ подрядчики или поставщики булыжнаго камня и песку для полученія этого товара изъ Финляндіи. Они отправляются на мѣста, приглашаютъ черезъ пасторовъ крестьянъ для сбора и поставки камня къ сроку, раздаютъ имъ тутъ же задатки, отъ трехъ до шести цѣлковыхъ на брата, записываютъ имена ихъ, для одного счета, и безъ всякихъ дальнѣйшихъ удостовѣреній, залоговъ и околнностей уѣзжаютъ въ Питеръ. Списки эти не могутъ, въ сущности, служить ни къ чему, не только потому, что не облечены въ законную форму, но уже и потому, что въ нихъ насчитаны цѣлые десятки Югансоновъ, Андерсоновъ и Михельсоновъ, конхъ едва ли кто былъ бы

въ состояніи отыскать на бѣломъ свѣтѣ, если бы они не явились сами. Но будьте спокойны, задатки ваши не пропадутъ: весною день-за-день лодочники являются къ вамъ на дворъ, сдаютъ камень, привозятъ вѣсти о тѣхъ, кои еще не успѣли его поставить, просятъ за нихъ отсрочки или возвращаютъ задатки; а если вы ихъ разсчитаете безъ задержки и безъ притязаній и дадите еще по стакану вина, то они готовы, воротившись домой, объѣздить за васъ всю околицу и понукнуть менѣ радивыхъ земляковъ своихъ или заставить ихъ, въ случаѣ какихъ-либо важныхъ помѣхъ, передать обязательство и задатокъ другому.

Будучи однажды случайно свидѣтелемъ такого пріема булыжника отъ чухонъ, я невольно обратилъ вниманіе на рослаго, молодаго дѣтину, со свѣтлыми, гладкими и длинными волосами, словно вычесанными изъ пакли, съ голубыми глазами, въ коихъ отражалась какая-то сильная печаль. Онъ стоялъ очень спокойно и тихо, не проталкивался впередъ, ждалъ очереди, говорилъ мало и тихо и часто вздыхалъ. Наконецъ очередь до него дошла. «Какъ тебя зовутъ?» спросилъ хозяинъ или прикащикъ его, сидя за именнымъ спискомъ поставщиковъ.

Тотъ сказалъ имя, прозваніе и мѣсто рожденія.

Хозяинъ пробѣжалъ списокъ и возразилъ, что такого человѣка въ этой деревнѣ у него не записано.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ чухонецъ, — у васъ записанъ братъ мой, Андрей, да его уже нѣтъ. И слезы навернулись у него на глазахъ.

— А гдѣ же братъ твой? Умеръ?

— Умеръ, потонулъ. Оттого мы и позапоздали немного; не взыщите. Онъ отправился въ срокъ, буря его захватила за Кронштадтомъ, лодку разбило, все пропало, и самъ потонулъ. Я, младшій братъ, принялъ все наслѣдство, что было, а съ тѣмъ и долги и обязательства брата, такъ ужь надо было исполнить: получайте.

Другаго рода явленіе, которое не служить къ чести чухонъ и относится собственно до ближайшихъ, подгородныхъ деревень, встрѣчаете вы нерѣдко лѣтомъ по Выборгской дорогѣ, а иногда и среди города: это обычай вымаливать подаваніе на снаряженіе небывалой невѣсты. Во многихъ странахъ, между прочимъ также въ Финляндіи и въ Польшѣ, небольшое приданое для бѣдной четы собирается отъ добрыхъ дѣтелей; въ Финляндіи мать или тетка отправляется для этого въ обходъ съ дочерью-невѣстой, а въ Польшѣ женихъ съ невѣстой, въ сопровожденіи подругъ и всѣхъ свадебныхъ гостей, иногда еще съ музыкой и пляской, ходятъ по улицамъ и собираютъ, за благодарный поцѣлуй невѣсты, небольшое подаваніе. Лѣтомъ вы часто встрѣтите на Выборгской дорогѣ двухъ женщинъ, изъ коихъ одна повязана по головѣ какою-то бѣлой ветошкой, а другая простоволосая, съ алой гарусной тесьмой на головѣ, подстриженная поперекъ лба въ-обрубъ, босая, но съ парюю новыхъ башмаковъ въ рукахъ; одна изъ нихъ кланяется и проситъ подаванія для невѣсты, указывая при этомъ на другую. Нерѣдко обѣ почти въ однихъ лѣтахъ, старухи, или одна изъ нихъ ребенокъ; словомъ, тутъ по *первому* взгляду видна комедія.

Большая часть петербургскихъ кухарокъ чухонки; онѣ опрятны и, если не избалованы столичными соблазнами, вѣрны и честны; но онѣ всегда очень упрямы, а подѣ старость дѣлаются злы и бранчивы до нестерпимости. Тѣ изъ нихъ, кои смотрять изподлобья, отворачиваются въ какой-то судорожной дѣятельности и сирымъ, грубымъ голосомъ много рассказываютъ о великихъ заслугахъ своихъ и о томъ, какимъ важнымъ господамъ онѣ служили, никуда не годятся. Такого рода *ведки* обокрадутъ васъ кругомъ въ хозяйственныхъ покупкахъ, и все, что есть у нихъ, пропьютъ на кофе. Кофе пьютъ онѣ вообще запоемъ, страстно, и ни за что не пойдутъ служить въ домъ, гдѣ бы вздумали отпочивать ихъ одной чашечкой въ день. Переходя на заработки въ столицу, чухонки вообще оставляютъ и сельскую, некрасивую одежду свою и одѣваются, какъ говорятъ, по-нѣмцки.

Нельзя не упомянуть и еще объ одномъ пути, коимъ чухонцы попадаютъ зимой въ Петербургъ.

Въ Финляндіи, какъ говорится у насъ, все дешево; иностранные ситцы, а въ особенности кофе, на который наложено здѣсь до 150% пошлины, тамъ вдвое дешевле, а потому огромная прибыль слишкомъ часто соблазняетъ смѣлыхъ сосѣдей нашихъ. Въ Финляндію ежегодно пріѣзжаютъ прикащики изъ Гамбурга и другихъ мѣстъ, съ образцами дешеваго товара, предлагаютъ его финляндскимъ купцамъ въ долгъ, каждому на извѣстную сумму, и доставляютъ въ срокъ. Честность финляндцевъ обезпечиваетъ иностранца въ этомъ случаѣ; а если одинъ должникъ и разо-

рится, то потеря эта вознаграждается значительными барышами, получаемыми съ прочихъ десяти или пятнадцати домовъ. Взятшіе товаръ, съ своей стороны, должны стараться сбыть его; между тѣмъ финляндцы сами такъ бережливы, такъ мало привыкли сорить деньгами, что аршинный товаръ тамъ сходить очень плохо, а кофе не болѣе извѣстнаго количества, которое разочтено до четверти фунта въ каждомъ семействѣ. Сосѣдняя Русь — богата, потребителей много и денегъ довольно; дѣло въ томъ только, какъ бы доставить туда товаръ: и на это есть средство, потому что пограничные чухны этимъ промышляютъ и берутся за дѣло смѣло и искусно.

Нагружаютъ небольшой обозъ, выбравъ для того самыхъ бойкихъ и нашколенныхъ лошадей. Погонщиковъ бываетъ мало, какъ можно меньше, чтобъ въ случаѣ нападенія легче было бѣжать. Въ темную ночь обозъ этотъ подъѣзжаетъ къ столицѣ, не торными дорогами, а трощобами и проселками, и нерѣдко при одномъ или двухъ вершникахъ, опознающихъ предварительно мѣстность и извѣщающихъ особеннымъ крикомъ и свистомъ объ опасностяхъ. Обозъ этотъ крадется мимо Выборгской заставы черезъ Черную рѣчку, или еще ниже, по взморью; иногда онъ объѣзжаетъ всю столицу кругомъ и пробирается съ противоположной стороны. Если нельзя проѣхать, то нерѣдко взваливаютъ мѣшки на плеча и переносятъ на себѣ, сдавая прямо по условію въ вѣрныя руки. Если такой обозъ бываетъ настигнуть объѣзчиками, то поданный знакъ мгновенно извѣщаетъ о томъ всѣхъ возчиковъ, и первая уловка ихъ

состоить въ томъ, чтобы разогнать весь обозъ въ разныя стороны, въ лѣсъ. Привычныя къ тому лошади, по особому крику, кидаются со всѣхъ ногъ въ чашу и мчатъ, сколько духу есть, покуда не свалятся гдѣ-нибудь въ канаву, если не завязнутъ съ возомъ между двухъ пней. Возницы между тѣмъ, покинувъ обозъ на произволъ судьбы, также бросаются въ сторону и стараются скрыться, что имъ и удается почти всегда. Такимъ образомъ объѣзчикамъ стоить большаго труда нагнать, по глубокому снѣгу въ лѣсу, легкія чухонскія сани и вывести ихъ на дорогу; но большая часть обоза по темнотѣ и непроходимости путей, благополучно скрывается. Увѣряютъ даже, что хорошо приученныя лошади контрабандистовъ, при первомъ удобномъ случаѣ, при малѣйшей оплошности стражи, вырываются изъ рукъ и скачутъ во весь опоръ проселками обратно, не даваясь никому въ руки. Эти лошади, будучи захвачены, продаются здѣсь, какъ и сани, сбруя и самый товаръ, съ молотка; тайные повѣренныя прежнихъ хозяевъ стараются выкупить ихъ, дорожа ими, и бывали примѣры, что за плохую на видъ чухонскую клаченку, которую нельзя оцѣнить выше двадцати цѣлковыхъ, платили по сту и по двѣсти руб. серебр. Когда, во время продажи съ наддачи, цѣна лошадямъ возрастала до такой неимовѣрной степени, то всѣ съ любопытствомъ обращали взоры на тороватаго покупателя, а иные говорили ему вполголоса: «смотри, держи ее крѣпче! не то, придется въ другой разъ выкупать ее здѣсь за такую-то цѣну!» Впрочемъ, изболѣвая этотъ преступный промыселъ

нашихъ сосѣдей, надобно, согласно истинѣ, сознаться, что съ ними никогда почти не бываетъ кровавыхъ спилокъ и побоищъ, коими, напротивъ, ославились пограничные жители нѣкоторыхъ мѣстъ западныхъ губерній. Чухны, привыкшіе, какъ говорятъ, и дома къ порядку, тишинѣ и повиновенію, бросаютъ тотчасъ все, если бываютъ открыты, и предають товаръ и обозъ свой на жертву, получая, впрочемъ, по условію, вознагражденіе отъ хозяевъ за лошадей.

Хотя наружность чухонца, особенно въ зимней одеждѣ, не слишкомъ рѣзко отличается у насъ въ толпѣ прочаго народа, не менѣе того, его обыкновенно можно узнать съ перваго взгляда. Огромный треухъ рыссяго мѣха и ничѣмъ неизгладимое, косноязычное произношеніе, — это его принадлежности. Есть однакоже около Петербурга, но не въ Финляндіи, до такой степени обрусѣвшіе чухны, какъ по одеждѣ, такъ даже и по языку, что ихъ почти нельзя распознать отъ русскихъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что чудское или финское племя вообще довольно склонно къ этому переходу или преобразованію и русѣетъ гораздо легче, чѣмъ племена монгольскія или татарскія. Такъ, напримѣръ, вогулы и вотяки, безъ сомнѣнія, вскорѣ исчезнутъ вовсе; даже языкъ ихъ утрачивается, и они, соединившись съ нами по вѣрѣ, мало-по-малу соединятся также во всѣхъ прочихъ житейскихъ отношеніяхъ, и одно только преданіе будетъ указывать на нихъ, какъ на бывшихъ инородцевъ. Почти то же можно сказать о нѣкоторой части мордвы;

даже зыряне, гдѣ они живутъ не особнякомъ, а близъ русскихъ, легко съ ними сближаются; а слабосильные чуваша и черемисы весьма охотно называютъ себя русскими, принимаютъ русскую стрижку и носятъ рубашку по русскому обычаю, сознаваясь, однако же, въ униженіи своемъ, что изъ нихъ вышелъ доселѣ только «дрянная русская человѣка, но авось, Богъ дастъ, выйдетъ и матерая». Вообще, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что значительная часть нынѣшней Россіи была населена народами чудскаго происхожденія — меря, мурома, мещера, кривичи и проч., кои въ теченіе вѣковъ обрусѣли. Даже въ произношеніи народа нашего можно отыскать мѣстами это происхожденіе, а тщедушный складъ, хотя и несвойственный собственно чуханамъ, чувашское лицо и глаза и нѣсколько сохранившихся издревле обычаевъ, слишкомъ ясно наводятъ на это заключеніе, подтверждаемое бытописаніемъ. Тамъ, гдѣ народъ говоритъ «это такая благая путь», можно по справедливости усомниться, коренные ли русскіе такъ изъясняются; а приглядѣвшись поближе къ алымъ шиткамъ на рубахахъ, къ шитымъ же коймамъ, къ холодникамъ и балахонамъ, и наконецъ къ безобразнымъ рогатымъ женскимъ кичкамъ съ низанными назатыльниками, невольно скажешь: это мордва. Такъ, напримѣръ, въ большей части Орловской губерніи бабы одѣваются совершенно по-мордовски.

Въ Питерѣ вы нерѣдко увидите пять, шесть и болѣе челоувѣкъ, идущихъ мѣрными шагами гусемъ, одинъ за другимъ, всѣ въ высокихъ сапогахъ, смурыхъ кафтанахъ

или въ тулупахъ и съ огромными рысьими треухами на головахъ. Это затѣжіе чухны, идущіе за городскими покупками. Вошедъ въ тѣсную лавку, они занимаютъ ее собою всю: другому покупателю нѣтъ мѣста; по привычкѣ не вбирая рукъ и ногъ въ себя, они даютъ имъ полный просторъ. Одинъ изъ нихъ, парень бывалый, который слышетъ знатокомъ русскаго языка, идетъ впереди, прочіе за нимъ, какъ бараны. Передній заднему мостъ. Вожакъ этотъ спрашиваетъ лентъ, купецъ ставить ему коробку съ лентами, приглашаетъ, говоритъ цѣну; жоака не смущаютъ лъстивые возгласы продавца; жоакъ прикидываетъ ленту на свѣтъ и съ замѣчаніемъ знатока: «рѣдка больно», кладетъ ее на мѣсто и уходитъ. Дѣло рѣшено: чухонцы здѣсь лентъ не купятъ; не менѣе того, каждый изъ нихъ непремѣнно, выждавъ свою очередь, подойдетъ къ коробочкѣ, возьметъ ленту, прикинетъ ее на свѣтъ и положить на мѣсто. Такъ она перейдетъ черезъ семь рукъ, если опытный купецъ не догадается ее прибрать. Если же она будетъ прибрана, то замѣтите, это озадачить и разстронть того чухонца, который подойдетъ въ свою очередь къ прилавку и протянетъ руку къ пустому мѣсту; онъ постоитъ нѣсколько, оглянется, понесетъ руку въ затылокъ и въ смущеніи отойдетъ. Проходя затѣмъ мимо бакалейной лавки, вся ватага въ нее забьется и, оглядываясь молча на повторительное приглашеніе хозяина и на вопросъ его: «что вамъ угодно?»—ждетъ развязки отъ жоака. Когда же этотъ, подошедъ къ боченку съ есель-

дами, возьметъ одну селедку щепотью, перевернетъ и разглядитъ ее, кинетъ опять въ боченокъ и, облизавъ пальцы, выйдетъ спокойно изъ лавки, то всѣ пятеро послѣдуютъ его примѣру; каждый, поочередно, возьметъ и разглядитъ селедку, облизнетъ пальцы и пойдетъ. Если же вожакъ рѣшится купить за семь коп. мѣди селедку, то прочіе достаютъ заблаговременно кошель свои изъ-за пазухи, отсчитываютъ деньги и также берутъ по селедкѣ. Все это дѣлается чинно и молча; изрѣдка тотъ или другой роняетъ ненарокомъ скромное словечко.

Но подъ веселый часъ, то есть подъ чару зелена-вина, — чухонецъ говорливъ и веселъ; угрюмость его проносится какъ облачко; онъ забываетъ трудъ и горе, живетъ и оживаетъ. Можетъ быть, вамъ случалось иногда встрѣтить, по близости кабака или харчевни, такихъ счастливыхъ жильцовъ подлуннаго міра: они поютъ изо всей мочи, сколько можно пѣть тому, кому Богъ не далъ ни тѣни голоса; поютъ всѣ вмѣстѣ, но каждый порознь, каждый по себѣ, и ни одинъ не хочетъ слушать никого, кромѣ себя самого. Пѣсня ихъ скорая, плясовая, очень однообразная, по четыре такта въ колѣнцѣ, и пѣвецъ, выразительно помахивая руками, показываетъ, что ему теперь нѣтъ нужды ни до кого и ни до чего. Этого пѣвца вы можете встрѣтить черезъ нѣсколько часовъ позже въ одноколѣ за выборгской заставой: завалившись въ ларчикъ этотъ поперекъ тряской оси, свѣсивъ голову и согнувъ колѣни кочергой, онъ спитъ мертвымъ сномъ, блаженствуя въ грезахъ, по-

куда не придется ему очнуться по ту либо другую сторону дороги въ канавѣ.

Оканчивая этимъ статейку, я обязанъ однакоже сказать, что чухонъ отнюдь нельзя назвать пьяницами, но, напротивъ, народомъ весьма трезвымъ.

НАХОДЧИВОЕ ПОКОЛѢНІЕ.

Недавно одинъ изъ *хозяевъ* по зеркальной линіи гостинаго двора, рассматривая палку мою, въ которую вкладывался зонтикъ, сказалъ: «Вотъ, говорятъ, нѣмцы нашъ хлѣбъ ѣдятъ. Господь съ ними, пусть ѣдятъ; они насъ добру учать; не будь ихъ, у кого бы мы стали перенимать? Они, вишь, до всего умомъ-разумомъ доходятъ, а мы — глазами.»

Есть тутъ и правда, подумалъ я, и не даромъ народъ нашъ сложилъ поговорку: *у нѣмца на все инструментъ есть*. Нужда промышляетъ, досужливость перенимается. Много найдется у насъ досужихъ самоучекъ, которые, что ни увидятъ, все сдѣлаютъ; но *хозяинъ* правъ: имъ надо напередъ увидѣть; русскій умъ тяжеленскъ на подъемъ, русскій заднимъ умомъ крѣпокъ. Поговорка: русскій человекъ не пропадетъ — не въ ту силу сложена, какъ иногда ее понимаютъ. Русскій человекъ вѣкъ не зналъ еще такой нужды, какъ знаетъ ее заморское племя — а голъ на выдумки таровата. Если нужда заставитъ русскаго человека

промышлять, то онъ рѣдко промышляетъ головою, никогда ногами, а всего чаще руками, и думаетъ по готовому.

Вотъ, заморское поколѣніе, народъ извѣстный у насъ встарину подъ собирательнымъ именемъ *нѣмцевъ*, а нынѣ подъ названіемъ иностранцевъ, — поколѣніе, которое не вѣритъ прирасенкамъ, гдѣ счастье навѣдывается къ сонному — которое растетъ и мужаетъ съ убѣжденіемъ, что, не давъ счастья угонки, за нимъ не угоняешься, — вотъ это поколѣніе, говорю, у котораго на все инструментъ есть, не пропадетъ нигдѣ; оно находчиво, смѣло пускается въ открытое море чужбины, увертливо борется съ супротивными волнами и нерѣдко благополучно достигаетъ берега. Но вы спросите: не выѣзжаетъ ли такой искатель судьбы иногда на чужомъ хребтѣ? Безъ сомнѣнія, и на это есть весьма основательная причина, а именно: на своемъ не выѣдешь, самъ на себя, на плеча свои не сядешь.

Народъ, о которомъ я говорю, взявъ только извѣстную частицу его, отлитую по одному образцу, принадлежитъ, по званію, къ бездомнымъ скитальцамъ, къ бобылямъ; по призванію — къ художникамъ, какъ называютъ иногда чело-вѣка, который гораздъ на всё, или еще лучше — къ *источникамъ*. Источникомъ, въ простонародномъ языкѣ нашемъ, называется именно такой чело-вѣкъ, который и скроить, и сошьетъ, и выворотить, и мельницу починить, и узоры вывести — потѣшить во-время малыхъ ребятъ водяною мутовкой да бумажнымъ пѣтухомъ, старичковъ — проволочною оправой на очки, красныхъ дѣвушекъ — само-дѣлками серьгами да подвѣсками. По наружности, такой

землепроходець человѣкъ благообразный: бакенбарды у него чистенько зачесаны впередъ, запонки презатѣйливыя, поступь смѣлая, руки привѣшены въ плечахъ на основаніи правилъ нашихъ учебныхъ анатомій, т. е. *свободно-движимыхъ сочлененіемъ*, и когда пришлецъ нашъ ловко и вольно разсуждаетъ *свободно-движными* руками своими, то никакъ нельзя догадаться, что онъ придѣланы у него по такому варварскому способу. Если вамъ случалось видѣть когда-нибудь одного такого гражданина міра, то вы видѣли въ немъ и всѣхъ: это политипажъ. Иногда, слышалъ я, перемѣшавъ званіе человѣка съ заглавіемъ извѣстнаго рода учебныхъ книгъ, называютъ ихъ *самоучителями*; ихъ и точно можно такъ назвать — но не потому, чтобы они *сами* чему-нибудь *учились*, а просто потому, что *сами* берутся *учить* всему на свѣтѣ другихъ, и не брезгаютъ горькимъ хлѣбомъ воспитателя барскихъ дѣтей.

Въ Кронштадтѣ прибылъ изъ Гавра корабль за саломъ и за пенькою; привезъ и то, и сѣ, и между прочимъ съ десятокъ пассажировъ. Одинъ за другимъ вышли на берегъ и пошли, въ ожиданіи таможенной очистки пожитковъ своихъ, туда и сюда; а какой-то молодой человѣкъ, бойкой наружности, ходитъ взадъ и впередъ по шканцамъ, заложивъ руки въ карманы, и съ завистью поглядываетъ на удаляющихся по берегу товарищей своихъ. Это м'сье Петитомъ, родомъ изъ Лозанны или Женевы. Капитанъ не спускаетъ его на берегъ. Петитомъ сумѣлъ убѣдить капитана отвезти его въ Россію, съ тѣмъ, чтобы тамъ немедленно уплатить остальную половину недоимки за про-

вздъ; но теперь покуда еще не сумѣлъ привести въ исполненіе благонамѣреннаго обѣщанія своего: никто изъ попутчиковъ не дастъ ему денегъ взаймы, тѣмъ болѣе, что м'сье Петитомъ, *объда* всегда на чужой счетъ, *объдалъ* дружески на этомъ перепутьѣ поочередно всѣхъ товарищей своихъ, съ коими судьба его свела, признаваясь каждому глазъ на глазъ, по секрету, что онъ политическій бѣглець и принужденъ былъ бѣжать отъ угрожавшей ему новой линіи Бурбоновъ съ такою поспѣшностью, что не успѣлъ захватить съ собою ничего, ни даже припасеннаго мѣшка отличныхъ сахарныхъ сухарей, не только семи дюжинъ жестянокъ съ готовымъ кушаньемъ. Все это, а равно и деньги его, будутъ ему пересланы непремѣнно задушевными друзьями, прикрывавшими съ такимъ самоотверженіемъ его бѣгство.

Впрочемъ, Петитомъ не унываетъ; у него, конечно, нѣтъ въ виду ни одного ломанаго шелега, не только гроша, но это нисколько его не озабочиваетъ; онъ прибылъ въ Россію и такъ или иначе будетъ на берегу, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; капитанъ не повезетъ же его обратно въ Гавръ. Петитомъ надѣлъ единственный шегольской фракъ свой, и бронзовые, подъ золотую оправу, очки; притуаletsился кругомъ и, расхаживая взадъ и впередъ, посвистывается. «Всѣ товарищи ушли — думаетъ онъ про себя — поѣсть не у кого; если капитанъ продержитъ меня на-тошакъ до полудня, я буду, кажется, ровно въ такомъ же положеніи, какъ тотъ, который, прогулявшись утромъ, пришелъ домой и спросилъ у слуги: «нѣтъ ли у насъ чего

поѣсть?» и на отвѣтъ: «вы сами знаете, что нѣтъ ни корки», сказалъ: такъ вотъ что, я пойду лягу отдохнуть, а ты разбуди меня *послѣ обѣда*....»

«Если бы у меня былъ какой-нибудь чемоданъ съ собою, или сундукъ, я бы его могъ оставить капитану въ закладъ, и пройти по Кронштадту, оглянуться, поискать земляковъ легитимистовъ; можетъ быть и промыслилъ бы что-нибудь; но у меня одинъ узелокъ, а кой-какія бездѣлушки уже заложены у товарищей.— Капитанъ! сказалъ онъ, вдругъ остановившись вдохновенно,—вотъ вамъ паспортъ мой, оставьте его у себя подъ залогъ, а меня отпустите къ консулу; иначе я не могу достать вамъ денегъ.» Капитанъ согласился.

Петитомъ встрѣтилъ на берегу двухъ человѣкъ: одного съ бороною, въ синемъ кафтанѣ, другаго во флотскомъ мундирѣ. Съ первымъ онъ могъ объясниться по-нѣмецки, съ другимъ по-французски. Это ему понравилось. «Россія не такъ страшна, подумалъ онъ, какъ я полагалъ; люди, какъ люди; и день довольно свѣтлый, почти какъ у насъ; гдѣ же вѣчные сумерки и полугодовая ночь? И лѣто также не морозное, по крайней мѣрѣ, здѣсь, въ Кронштадтѣ; посмотримъ, что дальше будетъ, напримѣръ, въ Петербургѣ.»

Петитомъ разспросилъ, гдѣ найти своего консула, но, между тѣмъ, ласковое обращеніе встрѣчныхъ имъ туземцевъ и убѣдительныя представленія тощаго желудка побудили Петитома испытать на первыхъ порахъ хваленое гостепріимство наше и удовлетворить этимъ самой настоя-

тельной потребности; «потомъ уже, подумалъ онъ, я займусь своимъ дѣломъ.» Онъ, безъ обиняковъ, со свойственно этому поколѣнію ловкостью и умѣньемъ, разсказалъ молодому моряку, жителю знаменитыхъ въ то время *палловъ*, что бѣжалъ отъ преслѣдованія старой линіи Бурбоновъ, бѣжалъ съ такою поспѣшностью, что не успѣлъ даже захватить съ собою кошелька и бумажника. «Но, продолжалъ ловкій разсказчикъ, закинувъ нѣсколько голову и взявъ мичмана за руку: но я ни на минуту не призадумался; я зналъ, въ какую землю ѣду; въ землю, гдѣ иностранцы, загнанные туда судьбою, принимаются радушно, какъ братья, гдѣ всякій гость не можетъ нахвалиться гостепріимствомъ хозяина. Вотъ почему я смѣло ступилъ на этотъ чуждый для меня берегъ; я увѣренъ, что найду достойный этого народа пріемъ; хотя — прибавилъ онъ съ ужимкою, — хотя и не знаю еще гдѣ сегодня буду обѣдать! Вы женаты или холосты?» продолжалъ онъ.

— Холостъ, отвѣчалъ мичманъ, насупилъ брови, опустилъ голову и сдѣлалъ рядомъ съ товарищемъ своимъ нѣсколько шаговъ молча. Онъ думалъ въ это время: куда же я его дѣну? какъ его вести за собою въ знаменитые палы, на 15-ти рублевую квартиру, гдѣ въ передней стоитъ огромная русская печь, въ которой Степанъ мой изготавилъ сегодня, вѣроятно, то же, что было вчера и третьяго дня и что будетъ завтра, — щи да кашу?....

— Не правда ли, продолжалъ между тѣмъ Петитомъ, не правда ли, у васъ водится прекрасный обычай, по которому всякій вновь прибывшій чужестранецъ долженъ из-

брать себѣ непремѣнно друга между туземцами, и даже обмѣняться съ нимъ именемъ, и новый другъ этотъ заботится о другѣ своемъ какъ о себѣ?

Петитомъ, какъ видите, немного спуталъ обычаи островитянъ Тихаго океана, о коихъ читалъ въ Дюмонъ-Дурвилъ, съ обычаями русскихъ. Но это у него нипочемъ: его нисколько и не озадачила поправка молодого мичмана, который, наконецъ, для поддержанія чести русскаго хлѣбосольства, рѣшился накормить француза въ гостиницѣ и поставить ему бутылку вина.

За этимъ дружескимъ обѣдомъ, Петитомъ открылъ душу и обнаружилъ различныя опасенія свои на счетъ вѣчныхъ потемокъ, непроходимыхъ льдовъ и снѣговъ сѣвернаго полюса, къ которому онъ теперь приблизился почти на пятистолетный выстрѣлъ, на счетъ русской стужи, отъ которой обыкновенно глаза у людей замерзаютъ какъ стекло, почему-де и заведено, что люди въ этомъ случаѣ заходятъ безъ обиняковъ въ первую встрѣчную дверь, отогрѣваютъ глаза и молча опять отправляются своимъ путемъ; на счетъ опасности отъ моржей и бѣлыхъ медвѣдей, отъ набѣговъ татаръ и монголовъ, и проч. Мичманъ успокоилъ его нѣсколько, Петитомъ, *сытый*, сталъ еще вдвое бодрѣе Петитома тощаго и голоднаго, открылъ мичману, изъ благодарности, на прощанье, секретъ, какъ чистить бронзу, склеивать битый фарфоръ и дѣлать превосходную ваксу, и раскланялся самымъ обязательнымъ образомъ.

Два дня спустя, нашъ Петитомъ сидѣлъ уже въ огромной бричкѣ, среди мадамы, двухъ дѣвокъ и пятерыхъ дѣ-

тей, разстился въ любезностяхъ, смѣшилъ и увеселялъ всѣхъ, былъ самъ сытъ и доволенъ, и катилъ по Петергофской дорогѣ въ Петербургъ. Какъ такъ? А вотъ какъ.

Такъ ли, иначе ли, но онъ, съ помощью консула, отъ капитана своего отдѣлся; вышелъ на свободу, но заплатить цѣлковый за проѣздъ до Петербурга не могъ, потому что ему негдѣ взять было и гроша. Онъ узналъ, что, попавши въ Петергофъ, можно попасть въ Петербургъ пѣшкомъ; воспользовавшись свѣдѣніемъ этимъ, онъ поѣхалъ съ флотскими офицерами кататься на катерѣ, попросилъ, какъ будто шутя, чтобъ его высадили въ Петергофѣ и, расклавшись съ новыми пріятелями, отправился преспокойно пѣшкомъ въ Петербургъ.

Пройдя нѣсколько по Нарвской дорогѣ, поглядывая и посвистывая, голышъ мой поравнялся съ какою-то латышскою бричкою безконечной длины, подъ полотняною покрышкой. Бричка тянулась шагомъ; изъ боковыхъ амбразуръ выглядывала подюжина пригожихъ дѣтскихъ головокъ; Петитомъ услышалъ вскользь нѣсколько словъ разговора и могъ только разслышать, что говорили по-нѣмецки. Дѣти грызли крендели, и тощій желудокъ пѣшехода настоятельно запросилъ кренделька. — «Постой, сказалъ про себя Петитомъ, не все вдругъ, по-маленьку.» Придумывая средство, какъ познакомиться съ соблазнительною бричкою, онъ пристально вглядывался въ лѣвое заднее колесо, которое было умотано сплошь алою шерстью. «Странный обычай, подумалъ Петитомъ, надобно упомянуть и объ этомъ въ запискахъ, которыя современемъ я издамъ о Россіи.....» Онъ до того пристально

разсматривалъ это украшеніе колеса, что дѣти стали вытлaidывать изъ брички и, увидѣвъ, что именно обратило на себя вниманіе пѣшехода, вдругъ закричали, заговорили; мадамъ выглянула, всплеснула руками, закричала кучеру: «стой!» и вслѣдъ затѣмъ сама вывалилась изъ брички, а за нею выпрыгнули воспитанницы ея. Петитомъ подошелъ на помощь, и дѣло объяснилось: мадамъ вязала какой-то красный колпакъ, положила огромный клубокъ шерсти въ боковой карманъ брички, кто-то изъ дѣтей выскочилъ дорогою, вѣроятно вытащилъ за собою конецъ нитки, она попала въ колесо, и такимъ образомъ весь клубокъ, во время ѣзды, намотался на колесо. Мадамъ и ахала, и смѣялась, но между тѣмъ принялась разматывать шерсть, что весьма забавляло прохожихъ и проѣзжихъ. Кучеръ поднялъ задъ брички, Петитомъ вертѣлъ колесо назадъ, а мадамъ мотала клубокъ.

Эта счастливая встрѣча доставила Петитому пріятное и полезное знакомство; онъ во время работы успѣлъ рассказать всѣ приключенія свои, прибавивъ только къ тому, будто матросы въ Кронштадтѣ его обокрали; кончилось тѣмъ, что Петитома посадили въ бричку и накормили кренделями.

На этомъ новомъ перепутьѣ Петитомъ опять пополнилъ свѣдѣнія свои о Россіи: онъ узналъ отъ мадамы, что въ Петербургѣ учителей много, что иностранцу трудно получить хорошее мѣсто, что ему придется ѣхать куда-нибудь въ губернію, въ Москву, но что пароходы въ Москву не ходятъ. Мадамъ также успокоила его на счетъ бѣлыхъ мед-

вѣдей и Ледовитаго моря, увѣривъ, что въ Москвѣ нѣтъ ни того, ни другаго.

Но мадамъ сама была хозяйкою только въ дорожной бричкѣ, въ которой она возила барскихъ дѣтей въ Ревель, на купанье; она не могла предложить новому знакомцу своему, который въ этомъ случаѣ весьма благоразумно сказался нѣмцемъ, никакого пріюта, а высадила его, съ большимъ сожалѣніемъ, въ Коломнѣ. Петитомъ не робѣлъ одинакожъ; по его мнѣнію, не только всякому дню, всякому часу подобала забота своя. Прошедшее не бременило его никогда; а какъ онъ былъ увѣренъ, что и каждый грядущій часъ поступитъ въ свое время въ число прошедшихъ, то онъ и ожидалъ все будущее съ такимъ же спокойствіемъ, какъ разговаривалъ о прошломъ. День да ночь, вотъ и сутки прочь; такъ и отваливаемъ.

У Петитома нѣтъ въ Питерѣ ни одной души знакомой, и онъ еще не знаетъ, куда приведетъ его судьба на ночьлегъ. Онъ стоитъ на углу тротуара, въ одной рукѣ узелокъ, въ другой шерстяная сумка, и такъ безопасно и простодушно оглядывается на всѣ стороны, будто кого-нибудь поджидаетъ, будто прибылъ наконецъ наъ дальняго пути на родину свою. На лицѣ его только выражалось нѣсколько нетерпѣнія и удивленія, что долго-де никто не является на помощь: точно будто бы судьба подрядилась заботиться о немъ болѣе, чѣмъ онъ заботится о себѣ самъ.

Безъ запинки и съ обязательною вѣжливостью заговариваетъ онъ наконецъ съ однимъ изъ прохожихъ; нисколько не удивляется, что и этотъ прохожій говоритъ по-француз-

ски, — м'сѣ не предполагаетъ, чтобы можно было жить и дышать свободно, не зная по-французски. Къ ночи онъ уже расположился у часового мастера, въ Гороховой, съ тѣмъ, чтобы за уголь въ комнатѣ и за столъ отработать чисткою и починкою часовъ. Поутру онъ уже сидитъ за работой, разбираетъ часы, раскладываетъ вычищенные колеса подъ стеклянные колпачки и рассказываетъ съ приличными приемами и осанкой ученикамъ и подмастерьямъ, что у него былъ за моремъ богатый магазинъ хрусталя и бронзы, но внезапное бѣдствіе поставило магазинщика въ нынѣшнее горькое положеніе: онъ пострадалъ отъ несостоятельности торгового дома или за политическое мнѣніе свое; но, какъ *брав'омъ*, какъ честный человѣкъ, не жалѣетъ объ утратѣ: правда ему дороже головы, не только живота или наживнаго добра. Пріятели скоро вышлютъ ему сотню тысячъ франковъ, и тогда онъ опять разживется... Ученики, частью русскіе, которые по какому-то навыку понимаютъ всѣхъ иностранцевъ, на какомъ бы языкѣ они ни говорили, слушаютъ съ удивленіемъ новаго, временнаго собрата своего, и завидуютъ полосатой бархатной жилеткѣ его.

Вскорѣ у Петитома появились для продажи разныя бездѣлушки: дамскія перчатки въ грецкомъ орѣхѣ, цѣпочки и нѣсколько зонтиковъ въ тростяхъ, объ одномъ изъ коихъ *хозяинъ* зеркальной линіи сдѣлалъ свои замѣчанія, переданныя мною въ началѣ этой статьи. Вещицы эти были заложены имъ какому-то попутчику, еще во время переѣзда моремъ изъ Гавра; этого человѣка Петитомъ отыскалъ, выкупилъ вещи свои и распродалъ ихъ съ выгодною. Онъ смѣ-

ялся въ душѣ, что избавилъ себя отъ хлопотъ безпошлиннаго провоза этихъ вещей, предоставивъ о томъ заботиться тому, кто принялъ ихъ подъ залогъ.

Петитомъ оставилъ часовщика, перешелъ въ Морскую, къ землячкѣ, успѣлъ развести порядочное знакомство, и вскорѣ добылъ мѣсто воспитателя *).... Его увозятъ въ Симбирскъ, доѣзжаютъ ему двухъ дѣвочекъ и мальчика, и вотъ когда Петитомъ, достигнувъ ближайшей цѣли своей, дѣлается самоучителемъ. Въ два мѣсяца дѣти затвердили разные французскія и нѣмецкія привѣтствія и пожеланія, а мимоходомъ Петитомъ успѣлъ продать одному изъ симбирскихъ погребщиковъ секретъ: какъ исправлять попорченныя вина, и торговалъ подъ рукою, черезъ барскаго камердинера, эссенціями жизни и элексирами всѣхъ сортовъ, между прочимъ также для истребленія блохъ и клоповъ.

Покуда все шло хорошо; но Петитомъ сталъ не довольнъ торговому товарищу своему и вскорѣ убѣдился, что этотъ его точно обманываетъ. Не думавъ долго, онъ перевелъ лавочку въ свою комнату, обзавелся, сверхъ духовъ и помады, еще цѣпочками, перстеньками, дамскими поручнями, наперстками, иглками, серсжками, и приучилъ воспитанниковъ своихъ, особенно двухъ пригоженькихъ дѣвочекъ, уже подростковъ, исправлять, въ отсутствіе его,

*) Разумѣется, не въ офиціальномъ званіи *наставника*. Со времени учрежденія экзаменовъ для этихъ господъ, Петитомъ долженъ былъ вступить въ должность свою подъ именемъ *компаніона* или *нахальника* своихъ хозяевъ.

должность сидѣльцевъ. Онѣ дѣлали это очень ловко и мило торговались, казали товаръ лицомъ и, подавая покупателю цѣпочку, вскидывали ее съ какою-то плутовскою уловкою назнанку бѣленькой ручки своей.

По доносу камердинера, все это вдругъ обнаружилось, и тѣмъ болѣе изумило папеньку и маменьку, что они сами ничего не видали, не подозрѣвали. Петитомъ согнали со двора, задолжавъ ему полугодовое жалованье. Помѣщикъ нашъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые воспитываютъ дѣтей своихъ или на казенный счетъ, или въ долгъ; наличными же деньгами платилъ онъ только за вистомъ, и болѣе нигдѣ и никогда. Петитомъ исчезъ изъ Симбирска, проклиная не-благодарность русскихъ и увѣряя всѣхъ, что уѣдетъ опять домой, за границу.

Прошло два года, и симбирскій помѣщикъ нашъ отправился со всей семьей на Кавказъ, повезъ дѣтей и жену и себя лечить пятигорскими водами. Прогуливаясь тамъ между опрятными новенькими домами, выстроенными для посѣтителей, увидѣли они огромную вывѣску, съ презатѣливой собачьей комедіей. Папенькѣ и маменькѣ не было покоя: пойдемъ да пойдемъ въ собачью комедію. Пошли, и хохотали до упада всѣ, и малые и большіе. Тутъ курносая моска Жантплъ, въ аломъ фракѣ и голубой фуражкѣ, расхаживаетъ на дыбкахъ подъ ручку съ косматою шавкой, мамоазель Санфасонъ; тутъ цѣлая упряжь гнѣдыхъ дворняжекъ везутъ коляску, гдѣ нарядная маленькая пѣганка исправляетъ должность кучера; двѣ москвы, одна въ бѣломъ атласномъ платьѣ, другая въ вишневомъ французскомъ каф-

танѣ, сидятъ въ коляскѣ, а брусбартъ, въ ливреѣ, стоитъ на запяткахъ; тутъ цѣлая стая собакъ всѣхъ мастей и во всѣхъ нарядахъ, шегольскихъ, модныхъ, опшипанныхъ, оборованныхъ, пляшутъ на дыбкахъ, подъ барабанъ и дудку, экосезъ, и каждый разъ, когда очередная пара отправляется взадъ и впередъ между рядами дамъ и кавалеровъ, ропотъ зависти и неудовольствія выражается въ рядахъ пляшущихъ: дамы и кавалеры ворчатъ и скалятъ зубы. Наконецъ, какой-то назойливый барбось, который велъ себя во время танцевъ самымъ неприличнымъ образомъ, и между прочимъ ворчалъ и огрызался безпрестанно, даже безъ всякаго къ тому повода, барбось этотъ ухватилъ одного кавалера въ оранжевомъ кафтанѣ за воротникъ; тотъ сталъ огрызаться, кавалеры и дамы, всѣ безъ разбора, приняли ту, либо другую сторону, и балъ окончился буйствомъ и страшною дракой, разсмѣшившею большихъ и напугавшею малыхъ зрителей. При этой общей свалкѣ фуражки, шляпки и клочки мишурнаго платья летѣли во всѣ стороны.

Въ эту критическую минуту, вступилъ на поприще съ арапникомъ въ рукѣ самъ хозяинъ, желавшій, вѣроятно, спасти лоскутный рядъ свой, фраки, юпки и кафтаны, отъ конечнаго истребленія. «М'сье Петитомъ, м'сье Петитомъ!» закричали въ одинъ голосъ симбирскіе воспитанники нашего самоучителя... Такъ, это былъ онъ! Прирожденный воспитатель, онъ, за неимѣніемъ другихъ воспитанниковъ, занялся обученіемъ мосекъ, шавокъ и болонокъ, разговаривалъ съ ними такъ же мило и поучительно, какъ бывало съ дѣтьми; заставлялъ ихъ также ловко кланяться, присѣдать,

держаться прямо, на-вытяжку, складывать вѣжливо лапки, и собачки уже довольно порядочно понимали по-нѣмецки.

Вскорѣ, однако же, судьба опять покарала бѣднаго самоучителя: онъ внезапно, въ страшную годину, лишился всѣхъ воспитанниковъ своихъ, подававшихъ столько лестныхъ надеждъ. На ученыхъ собакъ напала чума, которая, какъ извѣстно, не щадитъ ни пола, ни возраста, ни даже званія и состоянія: страшный кашель, рвота и тому подобное воцарились въ балаганѣ подъ вывѣскою мосекъ, шапокъ и болонокъ; много истратилъ Петитомъ на сѣру, антимоній и табачный настой; уходъ былъ за воспитанниками примѣрный, но судьба порѣшила дѣло по своему: въ три недѣли все кончилось; ученые собаки подошли или остались такими калѣками, что не было никакой возможности показывать ихъ; онѣ поглупѣли, одурѣли, позабыли всѣ науки и, разбитыя на заднія ноги, едва перекачивались съ мѣста на мѣсто. Собачья комедія рѣшительно разстроилась.

Скрипка или флейта, подъ которую плясали собаки, вручила Петитома. Екатеринославскій помѣщикъ увезъ его изъ Ставрополя къ себѣ устраивать домашнюю музыку. Петитомъ брался за все, что вамъ угодно, и если бы кобылка и саранча не поѣла въ Славяносербскомъ уѣздѣ хлѣба, то, можетъ быть, у помѣщика была бы современемъ и музыка; по крайней мѣрѣ, *трехъ* человѣкъ, изъ псарей, съ басомъ, со скрипкой и кларнетомъ, Петитомъ поставилъ уже на ноги. Но кобылка испортила все дѣло; музыка полетѣла къ чорту, потому что тутъ нечѣмъ было кормить и рабочихъ крестьянъ, не только дармоѣдовъ.

Самоучитель оглянулся въ окологдѣ и попалъ счастливо на прежнюю колею свою; у сосѣда подростали ребятишки; сосѣдъ нашелъ въ Петитомѣ дешеваго наставника, и дѣло сладилось. Но послѣ столькихъ горькихъ опытовъ, Петитомъ сталъ дорожить мѣстомъ своимъ и старался угодить, по возможности, родителямъ, отложивъ всякій посторонній промыселъ, по крайней мѣрѣ до того времени, покуда не обживется и не устроится на своемъ мѣстѣ. Смѣтивъ, что родители малютокъ были смертные охотники до благонравнаго воспитанія, въ особенности до поучительныхъ стишковъ и басенъ, Петитомъ долгое время былъ въ затрудненіи, какимъ образомъ обнаружить передъ родителями осязательнымъ образомъ тѣ нравственные правила, которыя онъ внушаетъ дѣтямъ? Родители не знали ни по-нѣмецки, ни по-французски, а тутъ еще на бѣду наступали паненькины именины. Наконецъ, Петитомъ рѣшился: дѣти утвердили наизусть французское и нѣмецкое пожеланіе; это такъ, само по себѣ, и родители слушали его, проливая слезы радости; но затѣмъ, дѣти прочли также на память двѣ русскія басни, написанныя Петитомомъ. Да, Петитомъ выучился уже русскому языку, и не только свободно на немъ изъяснялся, но писалъ въ стихахъ и въ прозѣ поучительныя басни. Вотъ онѣ:

І. СОБАЧКА И СОБАКА.

Одинъ маленькій собачка съ великій злость

Грызъ кость.

Большой собака приходитъ,

И маленькій собачка спросилъ:

Маленькой собачка, зачѣмъ ты съ великій злость

Грызешь кость?

Маленькій собачка отвѣчалъ:

Мнѣ хозяинъ давалъ.

ПРАВОУЧЕНІЕ.

Слѣдовательно, ничего не должно дѣлать безъ позволенія.

II. ВЕЛИКОДУШІЕ.

Одинъ молодой козелъ пошелъ себя немножко прогуливаетъ; вдругъ на встрѣчу ему попался городской. Городовой, по должность свой, спросилъ: Господинъ молодой козелъ, вы пьянъ? Нѣтъ, отвѣчалъ молодой козелъ, я не пьянъ, я только немножко себя прогуливаетъ. Городовой обратился, по должность свой, къ другой прохожій.

Эта басня показываетъ, что одинъ былъ великодушнѣе другаго, а другой великодушнѣе одного.

Вотъ вамъ необыкновенные успѣхи Петитома въ русскомъ языкѣ; вотъ вамъ умъ его, даръ писателя, остроуміе и высокія понятія о нравственности. Удивительно, до какой степени этотъ человѣкъ пріучилъ себя въ нѣсколько лѣтъ къ русской почвѣ; это въ особенности доказываетъ вторая басня его: русская басня, по всему.

Хотите знать и окончательныя приключенія Петитома? Ему предстоитъ троякій конецъ: или онъ женится на какой-нибудь зажиточной вдовѣ и навсегда останется въ Россіи; или онъ наживется лѣтъ черезъ десять самъ и поѣдетъ за море, въ свое отечество; или наконецъ онъ

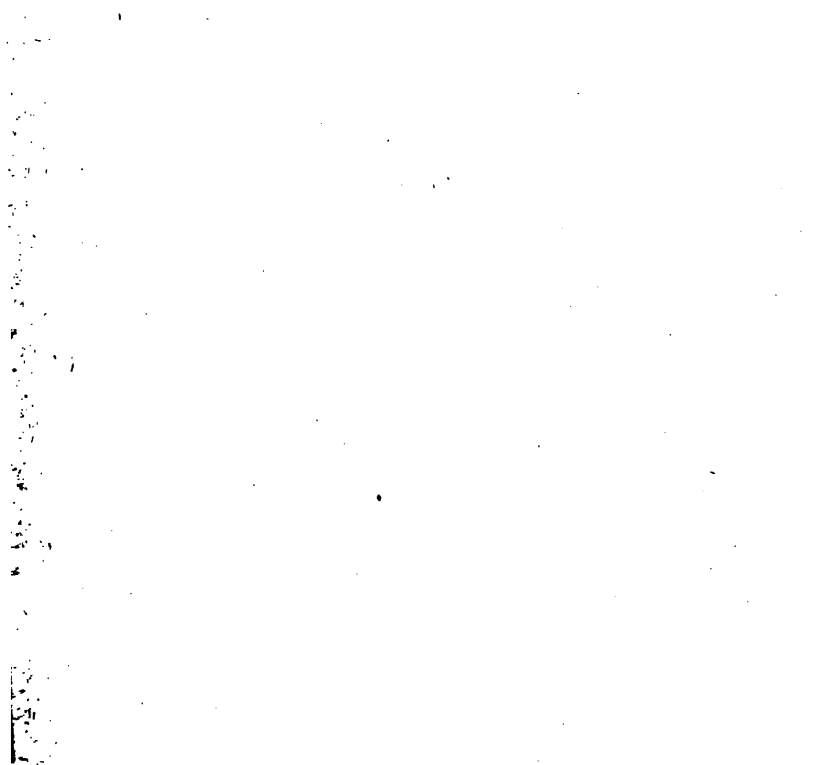
состарѣтся у насъ такимъ же бобылемъ, и будетъ разъѣзжать, подъ названіемъ нѣмца или француза, круглый годъ по всему околодку, гостить поочередно у помѣщиковъ, разнообразить скучную деревенскую жизнь ихъ покорнымъ появленіемъ своимъ, исправляя нѣкоторымъ образомъ, за насущный хлѣбъ, должность уѣзднаго шута. Последнее тѣмъ вѣроятнѣе, что онъ на всѣхъ деревенскихъ сѣздахъ своего околодка составляетъ уже необходимое лицо; надъ нимъ удачно трунать, и онъ, къ общему удовольствію, удачно отшучивается и никогда не сердится.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

| | стр. |
|--|------|
| I. Ракита | 1 |
| II. Займы | 9 |
| III. Свѣтлый праздникъ | 24 |
| IV. Везчестье. | 31 |
| V. Петруша съ Параней | 45 |
| VI. Кто кого одурачилъ? | 62 |
| VII. Четыре брака и одинъ разводъ | 80 |
| VIII. Любовь по гробъ | 92 |
| IX. Братецъ и сестрица | 107 |
| X. Мнимоумершіе | 125 |
| XI. Боярыня | 139 |
| XII. Фокусникъ | 152 |
| XIII. Невольные соперники | 168 |
| Колбасники и бородачи | 189 |
| Жизнь человѣка или прогулка по Невскому проспекту. | 285 |
| Петербургскій дворникъ | 325 |
| Деньщикъ | 344 |
| Чухонцы въ Питерѣ | 361 |
| Находчивое поколѣніе | 379 |





To  to the desk.

TWO WEEK BOOK

DO NOT RETURN BOOKS ON SUNDAY

DATE DUE

~~001 13 1993~~

SEP 22 1993

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 02718 3816

